ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[12] 2008

РОМАН КОРМАКА МАККАРТИ "ДОРОГА" / СТИХИ КЛОДА ЭСТЕБАНА / РАССКАЗ ИТАЛО КАЛЬВИНО "ЗЕРКАЛО-МИШЕНЬ" / ЖОРЖ НИВА И СЕРГЕЙ ЗЕНКИН В РУБРИКЕ "№" / СТАТЬЯ ЭЛИСОН ЛУРИ "ПОТТЕРИАНА" / ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО: СТАТЬЯ АЛЕКСАНДРА МЕЛИХОВА / ИГОРЬ ПОМЕРАНЦЕВ В РУБРИКЕ "ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА"

Основан в 1891 году

[12]
2008

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

3 Кормак Маккарти *Дорога.* Роман. Перевод с английского Юлии Степаненко

129 Клод Эстебан *Стихи из книги "Обрывки неба, почти ничего".* Перевод с французского и вступление Михаила Яснова

143 Итало Кальвино *Зеркало-мишень.* Перевод с итальянского Наталии Ставровской

148 Сержио Кокис *Полустанок.* Роман. [Окончание.] Перевод М. и Е. Кожевниковых

№: Роман Джонатана Литтелла "Благоволительницы"

198 А. Лешневская *"Казнить нельзя помиловать"*

200 Сергей Зенкин *Джонатан Литтелл как русский писатель*

212 Жорж Нива *Эринии Литтелла – судьи или судимые?* Перевод с французского Марии Аннинской

Статьи, эссе

221 Элисон Лури *Поттериана, или Горшочек каши.* Перевод с английского Германа Власова

Писатель и общество

227 Александр Мелихов *Фабрика фальшивого золота*

Carte blanche

233 Александр Жолковский *Эссе*

Письма из-за рубежа

237 Игорь Померанцев *Моя революционная деятельность в 1968 году. Прага глазами русского поэта из Черновцов*

Среди книг

242 Наталья Ванханен *"Если дали тетрадь в линейку, пиши поперек"*

245 Дмитрий Померанцев *Фобии, мании и фетиши*

248 Михаил Майков, Давид Гарт *О евреях, и не только*

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

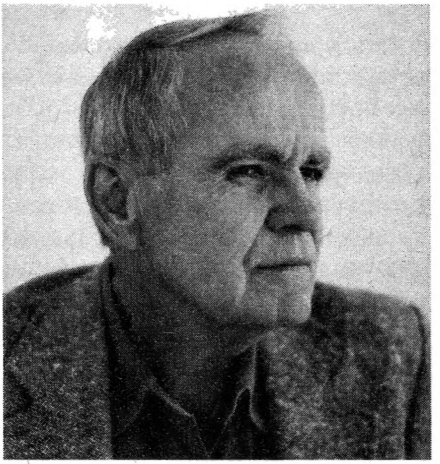
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Н. В. Елисеева
А. Ю. Лешневская
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Кормак Маккарти



Дорога

Роман

Перевод с английского Юлии Степаненко

Кормак Маккарти — по мнению критиков — один из наиболее интересных современных американских писателей, продолжающих традиции Эрнеста Хемингуэя и Сола Беллоу. Некоторые даже сравнивают его роман "Кровавый меридиан" с "Моби Диком". А по выходе "Дороги" о Маккарти заговорили как о "соратнике" Томаса Пинчона и Дона Делилло. "Ни один американский писатель со времен Фолкнера не забирался столь охотно в пучину дьявольской жестокости и греха", — пишет рецензент "Нью-Йорк таймс". С критиками и литературоведами согласны читатели: уже больше двух лет "Дорога" остается в списке бестселлеров, не сходит с прилавков книжных магазинов. По ней снят фильм, американская премьера которого назначена на 14 ноября 2008 года, а мировая — на 26 ноября (она уже пройдет в России к моменту выхода из печати этого номера). Фильм, правда, на наших экранах будет носить название "Путь" — вероятно, чтобы не возникло путаницы с великой "Дорогой" Федерико Феллини. В журнале роман назван "Дорогой" — переводчик и редакция считают это название более соответствующим его смыслу. Не случайно в оригинале оно звучит "The Road", а не "The Path": все действие происходит на неизвестно куда (скорее всего, в никуда) ведущей дороге, по которой бредут или едут разные персонажи, и у каждого свой путь, но объединяет их именно дорога.

© 2006 by M-71, Ltd
© Юлия Степаненко. Перевод, 2008
Отдельным изданием роман под названием "Путь" выйдет в издательстве "Иностранка".

ВСЯКИЙ раз, просыпаясь в лесу холодной темной ночью, он первым делом тянулся к спящему у него под боком ребенку – проверить, дышит ли. Ночи чернее преисподней, каждый новый день на толику мрачнее предыдущего. Словно безжалостная глаукома еще только-только зарождается, а мир вокруг уже начал тускнеть. Его рука мягко поднималась и опускалась в такт с драгоценным дыханием. Выбравшись из-под полиэтиленовой накидки, он сел в ворохе вонючей одежды и грязных одеял и поглядел на восток в поисках солнца, которого не было. Ночью ему снился сон. Во сне они бродили по пещере: ребенок вел его, держа за руку. Как пилигримы из сказки, проглоченные гранитным чудовищем и затерявшиеся в его чреве. Пламя их светильника отражалось в мокрых наростах на стенах. Вода негромко журчала в проточенных в камне отверстиях. Трудилась в тишине ежеминутно, час за часом, день за днем, год за годом. Без перерыва. Они ходили по пещере, пока не очутились в каменном зале с черным древним озером. На дальнем берегу сидело какое-то непонятное существо. Оно оторвало морду от воды, так что стала видна мокрая пасть, и уставилось на свет невидящими белесыми, словно паучьи яйца, глазами. Потом повело головой, будто стараясь унюхать то, чего не могло увидеть. Бледное, голое, полупрозрачное, припало к земле – алебастровые ребра отбрасывали гигантскую тень на камни позади. Его кишки, его бьющееся сердце. Мозги, пульсирующие в стеклянной колоколообразной черепной коробке. Повертело головой, затем глухо завыло, повернулось к ним спиной и беззвучно и неуклюже ускакало в темноту.

С первым проблеском света он поднялся и, оставив мальчика досыпать, вышел на дорогу, и сел на корточки, и стал изучать местность к югу от них. Ни души, ни звука, ни следа Божьего присутствия. Решил, что сейчас октябрь, но не был твердо уверен. Очень давно уже не вел календарь. Они двигались на юг. Еще одну зиму здесь не пережить.

Когда стало достаточно светло, он смог в бинокль рассмотреть долину внизу. Все меркло в тумане. Пепел закручивался спиралями на черной поверхности земли. Он внимательно изучал все, что попадало в поле зрения. Участки дороги посреди мертвого леса. Старался не пропустить хоть какое-нибудь цветовое пятно, какое-нибудь движение, малейший намек на дым. Опустил бинокль, стянул марлевую маску с лица, и вытер запястьем нос, и опять начал рассматривать окрестности. А потом просто сидел с биноклем в руке и наблюдал, как серый день разливается над землей. Он знал одно – ребенок был его спасением. Сказал себе: “Если он не творение Господне, значит, Бога никогда не было”.

Когда он вернулся, мальчик еще спал. Стащил с него полиэтиленовую накидку, сложил и отнес в тележку и возвратился с тарелками, кукурузными лепешками и сиропом в пластиковой бутылке. Потом расстелил на земле кусок брезента, который служил им столом, расставил еду и тарелки. Достал из-за пояса револьвер, положил его рядом на тряпки и долго сидел, наблюдая за спящим ребенком. Во сне мальчик стянул с лица маску, она затерялась среди одеял. Смотрел на сына и поглядывал на

дорогу сквозь деревья. Место было далеко не безопасным. При дневном свете их можно легко увидеть с дороги. Мальчик заворочался в одеялах. Потом открыл глаза.

– Привет, пап.

– Я здесь.

– Я знаю.

Примерно час спустя они уже шагали по дороге. Он толкал тележку. У обоих за спиной рюкзаки с самыми необходимыми вещами. На тот случай, если придется бросить тележку и спасаться бегством. На ручку тележки прицепил хромированное зеркало от мотоцикла, чтобы видеть дорогу за спиной. Подтянул рюкзак повыше и осмотрел вымершую местность. Дорога пуста, в маленькой долине внизу только неподвижный серый серпантин реки. Сухое русло и четкие очертания берегов с зарослями сухого камыша. "Ты как?" Мальчик кивнул: все в порядке. Пошли. По выжженной земле, взбивая ногами пепел, полагаясь только друг на друга.

Реку перешли по старому бетонному мосту и через несколько миль наткнулись на придорожную автозаправочную станцию. Стояли посреди дороги и внимательно ее изучали. "Думаю, надо ее проверить. Все осмотреть". Трава под ногами рассыпáлась в прах. Пересекли разбитую асфальтовую площадку и обнаружили в земле резервуар. Крышки не было: он согнулся, упершись локтями в землю, пытаясь по запаху определить, есть ли там бензин. Запах горючего был едва ощутим. Поднялся и оглядел автозаправку. Шланги колонок, как ни странно, на своих местах. Все окна целы. Дверь в мастерскую техремонта была приоткрыта, и он зашел внутрь. Металлический шкаф с инструментами около стены. Покопался в ящиках, но ничего, что могло бы пригодиться, не нашел. Полудюймовые торцевые ключи в хорошем состоянии. Храповик. Продолжал разглядывать помещение. Железная бочка с мусором. Перешел в соседнюю комнату. Повсюду пыль и пепел. Мальчик появился в дверях. Металлический стол, касса. Старые автомобильные справочники, разбухшие от сырости. Линолеум весь в пятнах, задравшийся там, где капало сквозь дырявую крышу. Он подошел к столу, постоял перед ним. Затем снял телефонную трубку и набрал номер отца из той, прошлой жизни. Мальчик наблюдал за ним: "Что ты делаешь?"

Отойдя уже на четверть мили от этого места, он остановился и оглянулся: "Мы как-то не подумали. Надо вернуться". Столкнул тележку с дороги и упрятал ее подальше от чужих глаз. Оставив рюкзаки, они пошли назад к автозаправке. В мастерской выдвинул из угла железную бочку и вытряхнул из нее мусор. Выудил из кучи пластиковые бутылки из-под машинного масла. Потом они сидели на полу и методично сливали остатки масла из бутылок. Перевертывали их горлышками вниз и оставляли стоять в тазике, пока не набралось с четверть литра. Слил масло в одну бутылку, закрутил пластмассовую пробку, вытер бутылку тряпкой и прикинул на вес. Вот и масло для их крошечного ночника, хватит на долгие серые рассветы и на долгие серые закаты.

– Теперь ты сможешь почитать мне сказку. Верно, пап?

– Да, смогу.

В дальнем конце долины дорога шла по выжженной местности. Обугленные, без единой ветки стволы деревьев подступали с обеих сторон. Ветер гнал по дороге пепел, провисшие оголенные провода между почерневших электрических столбов тихо поскуливали под порывами ветра. Сожженный дом на поляне, за ним — бесплодные бесцветные луга и крутые красноватые речные берега с брошенной где попало строительной техникой. На вершине холма какое-то время постояли на пронизывающем холодном ветру, переводя дыхание. Он вопросительно посмотрел на мальчика. "Я нормально", — сказал тот. Он положил ему руку на плечо и кивнул в сторону расстилающейся внизу долины. Достал из тележки бинокль и, не сходя с дороги, поглядел туда, где просматривался силуэт города, темный, словно рисунок углем, на фоне бесцветной выжженной равнины. Глазу не за что зацепиться. Ни струйки дыма.

— А можно я посмотрю? — спросил мальчик.

— Да-да, конечно.

Мальчик облокотился на тележку и настроил бинокль.

— Что ты видишь?

— Ничего. — Сын опустил бинокль. — Дождь пошел.

— Да. Вижу.

Они накрыли тележку полиэтиленом и оставили ее в овраге. Сами, огибая черные лесины, поднялись по склону к каменному выступу, который он раньше приметил, спрятались там и стали смотреть, как серые струи дождя секут долину. Холод пробирал до костей. Сидели, тесно прижавшись друг к другу, завернувшись в одеяла поверх курток. Вскоре дождь прекратился, только капли со стуком падали с деревьев.

Когда ветер окончательно разогнал тучи, они пошли к тележке, и скинули полиэтилен, и взяли одеяла и все необходимое для сна. Затем поднялись на вершину холма и устроились на сухой земле под выступом, а потом он сидел, обняв мальчика, стараясь его согреть. Закутавшись в одеяла, смотрели, как надвигается непроницаемая темнота. Силуэт города растворился в ней, будто привидение, и он зажег маленький ночник и поставил его с подветренной стороны. Потом они спустились к дороге, и он взял мальчика за руку, и они пошли на другой склон холма, где дорога добиралась до самого верха, откуда еще можно было разглядеть погружающуюся во мглу местность к югу. Долго стояли в своих одеялах на ветру в надежде увидеть отблеск костра или лампы. Ничего. Только тусклое пятно света их ночника. Потом вернулись обратно. Костер не разжечь, все отсырело. Пришлось съесть скудный ужин холодным и улечься, пристроив лампу между собой. Он захватил книжку для мальчика, но тот слишком устал.

— А можно лампа погорит, пока я не усну?

— Конечно можно.

Мальчик никак не мог заснуть. Повернулся и посмотрел на отца. В тусклом свете ночника его лицо с темными разводами от дождя напоминало старинную маску трагика.

— Можно я у тебя кое-что спрошу? — сказал мальчик.

— Да. Конечно.

— Мы умрем?

— Когда-нибудь. Не сейчас.
— Но мы и дальше будем идти на юг.
— Да.
— Там будет тепло.
— Да.
— Хорошо.
— Что хорошо?
— Ничего. Просто хорошо.
— Спи.
— Хорошо.
— Я сейчас задую ночник, ладно?
— Да, ладно.
А затем из темноты:
— Можно я еще кое-что спрошу?
— Да. Конечно.
— Что ты будешь делать, если я умру?
— Если ты умрешь, я хотел бы тоже умереть.
— Чтобы не расставаться со мной?
— Да. Чтобы не расставаться с тобой.
— Хорошо.

Лежал и слушал стук капель в лесу. Голые скалы вокруг. Холод и тишина. В пустоте унылый переменчивый ветер гоняет туда-сюда прах погибшего мира. Перенесет, рассыплет, опять перенесет. Все в этом мире вырвано с корнем, зависло в безжизненно-сером воздухе, все держится на одном дыхании, коротком и слабом. Почему мое сердце не из камня?

Проснулся и наблюдал за наступлением серого дня. Медленного, туманного. Поднялся, пока мальчик спал, надел ботинки и, закутавшись в одеяло, пошел между деревьями. Спустился в расщелину в скале и там присел, скорчившись, долго, непрерывно кашляя. Потом сел прямо на пепел. Поднял голову навстречу сумрачному дню. Прошептал: "Ты там? Когда мы наконец встретимся? У тебя есть горло, чтоб я мог тебя задушить? У тебя есть сердце? А душа? Будь ты проклят! О Боже, — прошептал он. — О Боже".

Город они пересекли на следующий день пополудни. Револьвер, чтобы был под рукой, он положил поверх свернутого полиэтилена в тележке. Мальчика не отпускал от себя ни на шаг. Город был почти полностью сожжен. Никаких признаков жизни. Машины на дороге засыпаны пеплом, все покрыто толстым слоем сажи и пыли. Окаменевшие следы в засохшей глине. Труп в дверях — сухой как пергамент. С застывшей гримасой. Он притянул к себе мальчика:

— Все, что ты сейчас запомнишь, останется с тобой навсегда. Хорошенько об этом подумай.

— Но что-то иногда забывается?

— Да, ты забудешь то, что хочешь помнить, и будешь помнить то, что хотел бы забыть.

В миле от фермы его дяди лежало озеро, куда они осенью вдвоем отправлялись за дровами. Он сидит на корме лодки, опустив руку по запястье в

холодную волну, а дядя гребет. Дядины ноги в детских черных ботинках упираются в перекладины. Соломенная шляпа. Трубка из кукурузного початка в зубах, тонкая струйка слюны в уголке губ. Дядя оборачивается, чтобы разглядеть дальний берег, поднимает над водой весла, вынимает трубку изо рта и тыльной стороной ладони вытирает подбородок. Березы подступают к воде, их белоснежные стволы резко выделяются на фоне темного ельника. По краю озера сплошь потемневшие от времени и непогоды вывернутые пни, все, что осталось от поваленных когда-то ураганом деревьев. Сами деревья давным-давно распилены на дрова и вывезены. Дядя разворачивает лодку, складывает весла, лодку несет течением по мелководью, пока днище не начинает скрести по песку. Дохлый окунь покачивается вверх брюхом в прозрачной воде. Желтые листья. Они оставляют ботинки на прогретых крашеных досках кормы, вытаскивают лодку на берег и бросают якорь. Их якорь — заполненная цементом железная банка из-под топленого сала с крюком посередине. Идут вдоль берега, дядя рассматривает пни, попыхивает трубкой, на плече у него — свернутая кольцом грубая пеньковая веревка. Находит подходящий пень. Они его переворачивают и, держа за корни, волокут к воде. Завернутые по колено штаны все равно промокают. Привязывают веревку к поперечине на корме и плывут через озеро; пень медленно тащится за лодкой. Темнеет. Только и слышно, что размеренный скрип уключин. Темное зеркало озера и отблески света, загорающегося в домах на берегу. Звук радио где-то вдалеке. Плывут, не произнося ни слова. Идеальный день. Из детства. Один из тысячи.

Много недель они упорно двигались на юг. Одни. Гористая суровая местность. Дома из алюминия. Временами сквозь редкую поросль удавалось разглядеть отрезки хайвея внизу. Становилось все холоднее. Стоя в ущелье высоко в горах, они смотрели вперед, туда, где у подножия хребта, насколько было видно, лежала выгоревшая дотла страна. Почерневшие массивы скал среди гор пепла, волны пепла, устремляющиеся вверх и летящие над пустыней. След тусклого солнца, неприметно скользящего в полумраке.

Долго преодолевали этот неприветливый край. Мальчик нашел цветные карандаши и нарисовал на маске клыки. Ни разу не пожаловался, хотя еле передвигал ноги. Одно из передних колесиков тележки расшаталось. Что делать? Ничего. Огонь выжег землю, про костер можно было забыть, наступили долгие темные холодные ночи — таких еще не бывало. Холод, от которого трескаются камни. Который отнимает жизнь. По ночам прижимал к себе дрожащего ребенка и в темноте считал каждый его слабый вдох и выдох.

Его разбудили далекие раскаты грома. Сел. Слабые вспышки непонятного происхождения в пелене перемешанного с сажей дождя. Повыше натянул полиэтилен и долго лежал прислушиваясь. Если они промокнут, просушиться будет негде, и их, скорее всего, ждет смерть.

Ночами он просыпался в непроницаемой темноте. В темноте, от которой болели уши, так напряженно он вслушивался. Довольно часто приходилось вставать. Никаких звуков, кроме свиста ветра в голых обуглен-

ных деревьях. Он поднимался и, пошатываясь, стоял в холодном беззвучном мраке, расставив для равновесия руки, прислушиваясь к командам, которые мозг давал телу. Все по заведенному порядку: держаться прямо, не падать, даже если пошатнешься. Широко шагая навстречу пустоте, считал в уме шаги, прежде чем повернуть назад. Глаза закрыты, руки загребают в воздухе. Выпрямился — навстречу чему? Чему-то безымянному в ночи, прародительнице всего живого, а может, самой утробе земли. По сравнению с ней и он, и звезды просто песчинки. Как огромный маятник качается в такт с движением вселенной, о существовании которой даже и не подозревает. А вселенная тем не менее существует.

Им понадобилось два дня, чтобы пересечь это мертвое пространство. Дальше дорога шла по гребню горного хребта, окруженного со всех сторон вымершим лесом. "Снег идет", — сказал ему мальчик. Он посмотрел на небо. Одна-единственная сероватая снежинка планировала вниз. Поймал ее и наблюдал, как она тает на ладони. Будто прощался с последним защитником христианского мира.

Продолжали идти вперед, накрывшись с головой полиэтиленом. Влажные серые хлопья летели из пустоты и кружились в воздухе. Талый снег на обочине. Черная жижа, сочащаяся из-под наносов мокрого пепла. Никаких тебе ритуальных костров на отдаленных вершинах. Скорее всего, приверженцы жертвоприношений уже поубивали друг друга. Никто не проходил этой дорогой. Ни разведчики, ни мародеры. Вскоре они наткнулись на придорожную автомастерскую. Постояли в дверном проеме, глядя, как со стороны гор несутся потоки дождя со снегом.

В мастерской нашлось несколько старых коробок, из которых они разожгли на полу костер. Он отыскал кое-какие инструменты, и вывалил вещи из тележки, и принялся за ремонт колесика. Выкрутил болт и высверлил дрелью старую втулку, а на ее место вставил кусочек трубы нужной длины. Вкрутил болт и покатал тележку по полу. Едет неплохо. Мальчик следил за ним не сводя глаз.

Утром двинулись дальше. Пустынная местность. На двери сарая прибита кабанья шкура. Жалкое зрелище. Пучок щетины вместо хвоста. В сарае, в узкой полоске тусклого света, висят на стропилах три трупа, сухие и пыльные.

— Внутри может быть какая-нибудь еда. Кукуруза или еще что-нибудь, — сказал мальчик.

— Пошли отсюда, — ответил он.

Больше всего его беспокоила их обувь. Обувь и еда. Еда — постоянно. В какой-то старой коптильне нашли забытый в дальнем углу окорок. Можно было подумать, черт-те сколько пролежавший в могиле. Окаменевший от времени. Взрезал его ножом. Под жесткой коркой — темно-красное соленое мясо. Вроде есть можно. Питательное. В тот же вечер поджарили над костром толстые куски окорока и добавили их в банку тушеных бобов. Позже он очнулся в темноте, почудилось, будто слышит барабанную дробь где-то внизу, среди темных холмов. Потом ветер поменял направление, и звуки поглотила тишина.

Во сне бледная невеста выходит ему навстречу из-под зеленого полога ветвей. Соски обмазаны белой глиной, на теле — белые полосы. Газовое прозрачное платье, темные волосы собраны в пучок и заколоты перламутровыми гребешками цвета слоновой кости. Ее улыбка, потупивший ся взгляд. Утром опять пошел снег. Крохотные бусинки серого льда нанизаны на электрические провода над головой.

Ничему этому он не верил. Сказал себе, что у человека в опасности и сны должны быть соответствующие — про опасные испытания, а если нет таких снов, то это признак бессилия и близкой смерти. Спал недолго и беспокойно. Снилось, что они с сыном гуляют в весеннем саду, под куполом ослепительно синего неба порхают птицы, но он знал, как заставить себя проснуться, вырваться из этих манящих миров. Лежал в темноте, пока не пропал давно забытый вкус персика из призрачного сада во сне. Подумал, проживи он еще хоть сколько-то, мир в конце концов полностью исчезнет. Так у ослепшего человека стираются из памяти детали потонувшего в вечной темноте мира.

Видения преследовали его в пути. Но он продолжал двигаться вперед. Помнил все за исключением ее запаха. Помнил, как в театре сидела рядом, подавшись вперед, захваченная музыкой. Золотая роспись, настенные светильники, тяжелые складки занавеса по обеим сторонам сцены. Она положила его руку к себе на колени, и он мог нащупать резинки ее чулок сквозь тонкое полотно летнего платья. Останови это мгновение. А теперь всколыхни со дна души все темное и ледяное и отправляйся в ад.

Смастерил из двух найденных старых веников щетки и прикрутил их к тележке так, чтобы они сметали сучки и ветки перед колесиками, и посадил мальчика в тележку, а сам пристроился на поперечной железке как погонщик собачьей упряжки, и они покатили вниз с холма, регулируя скольжение наклонами тела, словно заправские бобслеисты. Впервые за долгое время он увидел на лице сына улыбку.

У основания холма дорога делала петлю. Деревья там расступались, образуя просвет. Старая просека в лесу. Они сели на скамейку на обочине и стали смотреть на впадину, теряющуюся в плотном тумане. Внизу виднелось озеро. Холодное, серое, неподвижное посреди изувеченной чаши долины.

— Что это, пап?

— Дамба.

— Зачем она нужна?

— Без дамбы не было бы озера. Раньше в этом месте была река. Вода, падая с дамбы, крутила громадные вентиляторы — они называются турбины, — которые вырабатывали электричество.

— Чтобы лампочки горели?

— Да, чтобы лампочки горели.

— Мы можем спуститься и посмотреть?

— Нет. До нее слишком далеко.

— Она долго простоит?

— Думаю, да. Она из бетона. Скорее всего, простоит несколько веков. А то и тысячелетий.

– Как ты думаешь, рыба там водится?
– Нет, ничего в этом озере нет.

В том далеком-далеком прошлом где-то поблизости от этого места он видел, как сокол камнем падал с голубой скалы, и врезался в стаю аистов, и хватал одного, и тащил вниз к реке. Долговязый нескладный аист безжизненно болтался в когтистых лапах и все ронял, ронял в холодном осеннем воздухе свои белоснежные перья.

Зернистый воздух, вкус которого навсегда остается во рту. Они стояли под дождем, как стоит стадо, застигнутое непогодой. Затем двинулись дальше, растянув полиэтилен над головой, под монотонный шум дождя. Ноги насквозь промокли и замерзли, а обувь скоро совсем развалится. На склонах – мертвые втоптанные в грязь стебли пшеницы. В пелене дождя – черные силуэты обугленных деревьев на гребнях холмов.

Зато в его снах бушевали яркие цвета. А как еще может заявить о себе смерть? Сразу после пробуждения все моментально обращалось в пепел. Так от дневного света разрушаются фрески, столетиями сохранявшиеся в замурованных гробницах.

Дождь прекратился, потеплело, и они наконец-то спустились в долину. Кое-где еще проступают очертания фермерских участков. Нигде ни травинки, все сухое и мертвое до самых корней. Высокие обшитые вагонкой дома. Одинаковые железные крыши. Длинный сарай посреди поля с рекламой по скату крыши: десятифутовые выцветшие буквы приглашают посетить Рок-Сити.

Придорожные кусты разрослись и превратились в непроходимую стену перепутанных черных колючек. Никаких признаков жизни. Он оставил мальчика посреди дороги с револьвером наготове, а сам поднялся по истертым каменным ступенькам на открытую веранду старого фермерского дома и, приставив руку к глазам, заглянул в окно. В дом вошел через кухонную дверь. Мусор на полу, старые газеты. Посуда в шкафу, кружки на крючках. Прошел по коридору и остановился в дверях гостиной: старинная фисгармония в углу, телевизор, дешевые диваны, а рядом – ручной работы шкаф из вишневого дерева. Поднялся на второй этаж. Спальни. Все покрыто пеплом. Детская комната, на подоконнике мягкая игрушка – собака, будто выглядывающая в сад. Покопался в стенных шкафах. Сбросил покрывала с кроватей и обнаружил два совсем неплохих шерстяных одеяла. Потом спустился в кухню. В кладовке нашлись три банки консервированных помидоров домашнего приготовления. Сдул пыль с крышек и осмотрел со всех сторон. Кто-то до него не рискнул взять банки, и он тоже не решился. Вышел из дома с перекинутыми через плечо одеялами. Зашагали дальше.

На окраине города наткнулись на супермаркет. Несколько старых машин посреди захламленной парковки. Там оставили свою тележку. Прошли по заваленным мусором рядам. В овощном отделе на дне ящиков нашлось несколько окаменевших фасолин да мумифицированные останки

того, что когда-то было абрикосами. Мальчик не отставал ни на шаг. Через заднюю дверь вышли наружу, где ничего, кроме пары заржавевших тележек, не было. Вернулись назад в магазин — искали тележку поновее, но безуспешно. Рядом с входной дверью — опрокинутые на пол и разбитые монтировкой два автомата для продажи кока-колы. В пыли — разбросанные по полу монеты. Он сел, запустил руку внутрь: во втором автомате пальцы наткнулись на холодный металлический цилиндр. Медленно вытащил руку с добычей и уставился на банку кока-колы.

— Что это, пап?

— Кое-что вкусненькое, для тебя.

— Что это?

— Подожди. Садись.

Ослабил узлы, помог мальчику снять рюкзак и поставил его так, чтобы можно было спиной на него опереться. Просунул большой палец под ушко, дернул кверху и открыл банку. Поднеся кока-колу поближе к носу, уловил шипение лопающихся пузырьков и протянул банку мальчику.

— На-ка, пробуй.

Мальчик взял банку.

— Там пузыри.

— Ну же, не бойся.

Мальчик посмотрел на отца, наклонил банку и сделал один глоток. Задумчиво посидел, решая, нравится ему или нет, а потом сказал:

— Ужасно вкусно.

— Ну видишь.

— Пап, ты тоже глотни.

— Я хочу, чтобы ты все выпил сам.

— Пап, ну пожалуйста.

Он взял банку, чуть-чуть отхлебнул и вернул мальчику.

— Допивай. Давай посидим здесь немного.

— Потому что мне никогда больше не придется такое попробовать, да?

— Кто знает, что нас ждет впереди.

— Понятно.

День уже подходил к концу, когда они вошли в город. Длинные бетонные щупальца хайвеев и переплетенья шоссейных развязок, словно развалины гигантского парка аттракционов, маячили в сгущающемся сумраке. Засунул пистолет за пояс, куртку оставил незастегнутой. Повсюду лежали мумифицированные тела: кожа потрескалась и прорвалась на стыках костей, сухие и перекрученные как проволока сухожилия, сморщенные изможденные лица мучеников серее савана, оскаленные желтоватые зубы. Обувь давным-давно украдена, так они и лежали — босоногие, будто паломники.

Пошли дальше. Он постоянно смотрел в зеркальце, проверял обстановку у себя за спиной. Никакого движения, только пепел летит по улицам. Перешли реку по высокому бетонному мосту. Причал внизу. В серой воде — полузатопленные маленькие катера, ниже по течению катеров еще больше, целое кладбище увязших в жирной саже суденышек.

В тот же день, пройдя еще миль пять на юг и чуть не заблудившись в зарослях мертвого кустарника, на очередном повороте дороги набрели на ветхий дом с трубами, треугольниками мансард и каменной оградой. Он резко остановился. Потом повернул к дому, толкая перед собой тележку.

— Что это за место, пап?

— В этом доме прошло мое детство.

Мальчик стоял и рассматривал дом. Деревянная обшивка нижней части почти полностью отсутствовала — пошла на костер, — так что обнажились балки и куски утеплителя. Негодная москитная сетка с заднего крыльца валялась на цементном полу террасы.

— Ты что, хочешь зайти?

— А почему бы нет?

— Я боюсь.

— Неужели не хочешь посмотреть, где я жил?

— Нет.

— Ничего страшного ты не увидишь, не бойся.

— А вдруг там кто-то есть?

— Не думаю.

— А вдруг?!

Стоял и смотрел на окно своей комнаты. Перевел взгляд на мальчика.

— Если хочешь, подожди здесь.

— Не хочу. Ты всегда так говоришь.

— Извини.

— Я не обижаюсь. Но ты всегда так говоришь.

Они скинули рюкзаки, и оставили их на веранде, и, раскидывая мусор ногами, вошли в дом через кухонную дверь. Мальчик не отпускал его руку. Внутри ничего не изменилось. Пустые комнаты. В небольшой комнате рядом со столовой — голая панцирная сетка, складной металлический стол. Все та же чугунная решетка небольшого камина. Исчезли сосновые панели со стен, остались только рейки. Он продолжал осматривать комнату. В деревянной каминной полке нащупал большим пальцем дырочки от гвоздиков, на которых сорок лет назад висели чулки с подарками. "Когда я был маленьким, мы в этой комнате праздновали Рождество". Повернулся и посмотрел в окно на безжизненный двор. Заросли мертвой сирени. Остатки "живой" изгороди. "Холодными зимними вечерами, когда из-за бури гасло электричество, сидели с сестрами здесь, перед огнем, и делали домашние задания". Мальчик наблюдал за ним. Смотрел, как невидимые тени из прошлого обступают отца.

— Давай пойдем, пап. Пора.

— Да-да.

Но с места не сдвинулся.

Пересекли столовую с ее девственно чистым очагом — мать не допускала, чтобы копоть зачернила желтые кирпичи. Пол вспучился от дождя. В гостиной аккуратная кучка — косточки какого-то небольшого животного, вероятнее всего кошки. Стеклянный бокал около двери. Мальчик вцепился в его руку. Поднялись по лестнице на второй этаж, повернули

и пошли по коридору. Пирамидки влажной известки на полу, оголенная обрешетка крыши. Он стоял на пороге своей комнаты. Тесное пространство под скатом крыши. "Я здесь спал. У этой стены стояла кровать". Сколько снов ему приснилось в этой комнате за те бессчетные ночи! Сны, рожденные воображением ребенка, переносили в прекрасные или страшные миры. Ни тем, ни другим не суждено было стать реальностью. Распахнул дверцу стенного шкафа, втайне надеясь увидеть вещи из детства. Ничего, только холодный дневной свет, пробивающийся из пролома крыши. Мрачный, как его душа.

— Пойдем отсюда, пап. Пойдем, а?

— Да, пошли.

— Мне страшно.

— Я вижу. Прости.

— Мне очень страшно.

— Все в порядке. Не надо было сюда приходить.

Три ночи спустя у подножия гор, тянущихся на восток, его разбудили непонятные звуки. Он лежал в темноте, вытянув руки вдоль тела. Земля дрожала. Что-то двигалось прямо на них.

— Папа?! Папа?!

— Тс-с-с. Не волнуйся.

— Что это, пап?

Гул приближался, нарастал, все вокруг тряслось. А потом волна прокатилась под ними, как поезд в тоннеле под землей, и бесследно канула в темноту. Мальчик — весь в слезах — прижался к нему и спрятал лицо у него на груди.

— Ш-ш-ш. Все прошло.

— Я боюсь...

— Я знаю. Не бойся. Все в порядке.

— Что это было, пап?

— Землетрясение. Все позади. Обошлось. Ш-ш-ш.

В самые первые годы дороги были забиты беженцами. Закутанные с ног до головы, в масках, в защитных очках, они брели по дороге или сидели на обочине, как потерпевшие аварию авиаторы. Горы тряпья на тачках. Тянут за собой повозки или тележки. Ярким блеском горят глаза. Безучастные коконы, ковыляющие по тракту, словно переселенцы в лихорадочном бреду. Бренность мира наконец-то становится очевидной. Давние проблемы остаются нерешенными, растворяются в ночи. Были — и нет их. Выключен свет, пусто. Оглянись вокруг. "Вечность" занимает много времени. Но мальчик знал всему цену: "вечность" — безвременна.

Пока ребенок спал, он сидел около мутного окна в заброшенном доме и при тусклом предзакатном свете читал старую газету. Курьезы. Забытые тревоги. В восемь часов первоцвет закрывает лепестки. Время от времени он смотрел на спящего сына. "Ты сможешь это сделать, когда наступит час? Сможешь?"

Они расположились прямо на дороге и съели холодные рис и бобы, которые приготовили еще два дня назад. Уже забродившие. Не нашлось

места, где можно было бы, оставшись незамеченными, разжечь огонь. Спали в обнимку, закутавшись в зловонные одеяла, в темноте, на холоде. Он прижал мальчика к себе. Кожа да кости. "Сердце мое, — сказал он. — Сердце мое". Он понимал, что оказался хорошим отцом. Но понимал также, что она во многом была права. Говорила, что он цепляется за мальчика, чтобы не умереть самому. Это правда.

А потом он утратил счет месяцам. Решил, что у них достаточно еды для перехода через горы, но наверняка сказать невозможно. Преодолеть перевал на высоте в пять тысяч футов, да еще в такой холод... Повторял, что спасение ждет их на побережье, и в то же время, шагая в ночи, знал, что выдавал желаемое за действительное. С большей вероятностью они просто погибнут в горах, и на этом все закончится.

Дорога привела их к руинам курортного городка. Они продолжали двигаться строго на юг. Сожженные леса по склонам гор тянулись на многие мили, а на земле, чего он никак не ожидал, уже лежал снег. Никаких следов на дороге, ни одного живого существа. Закопченные валуны среди деревьев, по форме и размеру похожие на медведей. Он остановился на каменном мосту в том месте, где вода не торопясь разливалась и, лениво крутясь, превращалась в серую пену. В том месте, где когда-то наблюдал, как стайка форели резвилась в воде, как на каменистом дне мелькали тени рыб. Пошли дальше, мальчик устало тащился позади. Всем телом налегая на тележку, отец толкал ее зигзагами вверх по склону. Высоко в горах продолжались лесные пожары, и по ночам они видели яркие оранжевые всполохи там, где огонь отражался в носящихся в воздухе хлопьях сажи. Становилось все холоднее, приходилось ночь напролет жечь костер. По утрам, отправляясь в путь, и не думали его тушить. Обернули ноги кусками дерюги и перевязали бечевкой. Земля была только-только присыпана снегом, но он понимал, что, если начнется настоящий снегопад, тележку придется бросить. Уже и так стало трудно ее толкать, он часто останавливался перевести дух. Доковыляв до обочины, повернувшись спиной к сыну, стоял, упираясь руками в колени, и кашлял. Выпрямлялся, из глаз текли слезы. От крови снег превратился из серого в грязно-розовый.

Устроились на привал под боком огромного валуна: воткнули палки в землю и натянули на них полиэтилен. Он разжег костер, и они стали таскать ветки, чтобы хватило на всю ночь. Бросили на снег подстилку из сухих стеблей болиголова и устроились на ней, завернувшись в одеяла и допивая остатки какао из старых запасов. Опять пошел снег, мягкие снежинки падали из темноты. От тепла его разморило. Мальчик вернулся с новой охапкой веток, его тень промелькнула над отцом. Сквозь полуопущенные веки он наблюдал, как мальчик подбросил веток в костер. Огнедышащий дракон, ниспосланный Богом. Искры взвились в небо и погасли в беззвездной черноте. Не всем предсмертным словам можно верить. Благословен огонь, хоть и недолговечен.

Проснулся незадолго до наступления рассвета. Костер потух, остались только угли. Вышел на дорогу. Все вокруг было освещено. Будто заблу-

дившееся солнце наконец-то вернулось домой. Снег оранжевый, весь в блестках. Лесной пожар двигался по сухостою у них над головами, взвиваясь и переливаясь на фоне туч, будто северное сияние. Он простоял так довольно долго, не обращая внимания на стужу. Что-то давно забытое всколыхнулось в груди при виде этого цвета. Прочти литанию. Запомни.

Наступили настоящие холода. В этом заоблачном мире все застыло в неподвижности. Над дорогой повис густой запах дыма. Толкал тележку по снегу. Несколько миль в день. Не представлял, далеко ли до перевала. Ели по чуть-чуть, постоянно мучил голод. Стоял и смотрел на раскинувшиеся внизу дали. На ленту реки. Как высоко они уже забрались?

Ему приснилось, что она заболела, а он за ней ухаживает. Во сне это смахивало на акт самопожертвования, но он отогнал эту мысль. Не помог он ей, и она умерла в одиночестве, во тьме. Нет никаких других снов, нет пробуждения, и не о чем рассказывать.

На этой дороге не встретить Божьих избранников. Пропали, остался я один, и мир исчез вместе с ними. Загадка: чем отличается "никогда" в настоящем от "никогда" в прошлом?

Темное пятно невидимой луны. Ночи стали немного светлее. Днем солнце обходит землю, как скорбящая мать со свечой.

На рассвете на обочинах сидели люди — полуживые, в дымящейся одежде. Будто несостоявшиеся фанатики-самоубийцы. Другие старались им помочь. Год спустя на мостах жгли костры и раздавались безумные песнопения. Крики жертв. Днем вдоль дороги стояли стеной колья с телами. В чем их вина? Подумал, что за всю историю человечества наказаний было больше, чем преступлений. Слабое утешение.

Дышать становилось все труднее, решил, что до перевала рукой подать. Может, завтра доберутся. Завтра наступило и закончилось, а до перевала они так и не дошли. Снегопад прекратился, но волочь тележку по глубокому, дюймов шесть, снегу сил не было. Он сказал себе, что придется, наверно, ее бросить. Интересно, сколько они смогут на себе унести? Остановился, посмотрел вдаль. Пепел падал на снег, пока все не почернело.

За каждым поворотом ему чудилось, что они у цели. Однажды вечером он остановился, огляделся и понял: вот и перевал. Расстегнул куртку на шее, и опустил капюшон, и стал вслушиваться. Шум ветра в стеблях сухого болиголова. Пустая парковка рядом с обзорной площадкой. Мальчик стоял сбоку. Он сам однажды зимой там стоял, только со своим отцом, много лет назад.

— Что это, пап?

— Перевал. Мы дошли.

Утром они продолжили путь. Жуткий холод. В середине дня опять пошел снег. Привал устроили раньше обычного, и залегли под навесом

из полиэтилена, и смотрели, как падают снежинки в костер. К утру снега навалило по колено, но небо расчистилось, и стало так тихо, что можно было различить биение собственных сердец. Навалил сучьев на угли, раздул огонь и поковылял по сугробам выкапывать тележку. Перебрал банки, пошел назад. Потом они с мальчиком сидели у костра и доедали последние крекеры с сосисками из алюминиевой банки. В кармане своего рюкзака он обнаружил ополовиненный пакетик с порошком какао, развел его для сына, а себе налил кипятку, сел и стал дуть на край кружки.

— Ты ведь обещал так не делать, пап.

— Чего не делать?

— Сам знаешь.

Вылил кипяток обратно в кастрюлю, забрал у сына кружку, отлил себе чуть-чуть какао и вернул кружку.

— Все время приходится за тобой следить.

— Да, нехорошо.

— Если ты не держишь слово в мелочах, то обязательно нарушишь в главном. Ты сам так сказал.

— Знаю, знаю. Больше не буду.

Преодолев перевал, весь день с трудом спускались по южному склону. Несколько раз тележка застревала в глубоком снегу. Тогда он, одной рукой таща ее за собой и размахивая для равновесия другой, прокладывал дорогу по сугробам. Где угодно, но только не здесь, в горах, можно найти что-нибудь подходящее, чтобы сделать санки, будь то старый придорожный знак или лист кровельного железа. Обернутые кусками дерюги ноги промокли насквозь, высушить их или согреть возможности не было. Время от времени он опирался на тележку отдышаться, а мальчик стоял и терпеливо ждал. Откуда-то сверху донесся громкий треск. Потом еще раз. "Дерево упало, всего навсего. Не бойся", — успокоил он мальчика. Тот всматривался в мертвые деревья по краям дороги.

— Не бойся. Все деревья свалятся рано или поздно, но не на нас.

— Откуда ты знаешь?

— Знаю, и все.

Один раз наткнулись на огромный завал из деревьев. Пришлось все из тележки вытряхивать и по отдельности перетаскивать и ее, и вещи через поваленные деревья, а потом укладывать все обратно. Мальчик нашел игрушки, про которые уже давно забыл. Достал желтую машинку, примостил ее поверх узла, так и тронулись в путь.

Вблизи дороги на противоположной стороне замерзшего ручья увидели пригорок. Расположились там на ночлег. Ветер унес весь пепел с черного как уголь льда, и ручей напоминал высеченную в базальте дорогу, вьющуюся в лесу. Дрова для костра собирали на северном склоне — там было посуше. Валили целые деревья и затем оттаскивали к месту привала. Развели огонь, натянули полиэтилен и развесили на кольях вокруг костра одежду, от которой скоро пошел пар и вонь. Сами сидели голышом, завернувшись в одеяла, согревались, он упер ноги мальчика себе в живот и грел их теплом своего тела.

Ночью ребенок проснулся весь в слезах, отец крепко прижал его к себе.

— Ш-ш-ш. Все хорошо.

— Мне приснился плохой сон.

— Я так и подумал.

— Рассказать?

— Если хочешь.

— У меня был заводной пингвин. Такой, знаешь, который машет крыльями и смешно переваливается. Мы сидели в нашем старом доме, а он появился из-за угла. Но его ведь никто не заводил! Стало так страшно!

— Еще бы.

— Намного страшнее, чем я тебе рассказываю.

— Знаю, сны иногда бывают очень страшными.

— А почему он мне приснился?

— Этого я не знаю. Но теперь уже нечего бояться. Я подкину веток в костер, а ты постарайся уснуть.

Мальчик помолчал, а потом сказал:

— А у него даже заводной ключ не поворачивался.

Понадобилось четыре с лишним дня, чтобы преодолеть заснеженный склон горы. Да и потом еще кое-где попадались скопления снега на особенно крутых поворотах, а сама дорога была черная и мокрая из-за того, что сверху потоками сползала жидкая грязь; в некоторых местах она затопила полотно дороги и текла вниз по откосу. Вышли к узкой горловине ущелья, на дне которого в темноте шумела река. Стояли и слушали.

На противоположной стороне каньона — высокие скалы и тонюсенькие черные деревья, судорожно цепляющиеся за склоны. Шум реки стал тише. Потом опять усилился. Снизу повеяло холодом. До реки добирались целый день.

Оставили тележку на парковке и пошли по лесу. Со стороны реки доносились громоподобные звуки. Водопад. Вода устремлялась вниз с каменного обрыва и, падая с восьмидесятифутовой высоты, разбивалась о поверхность водоема. В воздухе висела пелена серой водяной пыли. Запах воды. Тянет холодом. Мокрая галька на берегу. Стоял и наблюдал за мальчиком. “Вот это да!” — воскликнул сын. Не мог оторвать глаз от реки.

Присел на корточки, и набрал пригоршню гальки, и понюхал камешки, и затем со стуком высыпал их на землю. Круглые, отполированные, похожие на стеклянные шарики или на леденцы, только каменные, с прожилками и полосками. Темные вкрапления и блестящие песчинки кварца, сверкающие во влажном от речного тумана воздухе. Мальчик подошел к реке, присел, умылся черной водой.

Водопад обрушивался в водоем почти посередине, образуя серую бурлящую воронку. Они стояли бок о бок и громко разговаривали, стараясь перекричать рев воды.

— Холодно?

— Вода ледяная.

— Хочешь искупнуться?
— Не знаю.
— Конечно, хочешь...
— А можно?
— Пошли.

Он расстегнул куртку, бросил ее на гравий; мальчик поднялся, они разделись и зашли в воду. Бледные как привидения, зуб на зуб не попадает. Ребенок какой худющий — ходячий скелет! От этого зрелища заныло сердце.

Нырнул, выплыл на поверхность, ловя ртом воздух, повернулся и встал, похлопывая себя по бедрам.

— Мне там с головкой?
— Нет. Залезай.

Повернулся и поплыл к водопаду, преодолевая встречное течение. Мальчик зашел в воду по пояс и, обхватив руками плечи, прыгал в воде вверх-вниз. Отец поплыл к нему и, затащив подальше на глубину, поддержал голову, чтобы тот поплавал. Мальчик прерывисто дышал и молотил по воде руками и ногами.

— У тебя получается. Здорово получается.

Дрожа от холода, оделись и по тропинке поднялись вдоль берега к тому месту, где река, казалось, вдруг обрывается и исчезает. Он помогал мальчику перелезать через камни. Подошел к самому краю. Вода неслась к обрыву и с грохотом падала вниз. Целиком исчезала в озере. Мальчик схватил отца за руку.

— Как высоко!
— Очень.
— Если упадешь, наверное, разобьешься насмерть?
— Скорее покалечишься. С такой высоты...
— Ух, как страшно.

Пошли по лесу. Свет угасал. Шли по ровным участкам берега в верховьях реки, огибая огромные мертвые деревья. Густой южный лес, в котором когда-то росли и подофил, и зимолюбка, и женьшень. Вокруг шершавые сухие ветки рододендрона — узловатые, перекрученные, черные. Он внезапно остановился. Под ногами в пепле и древесной трухе что-то было. Наклонился, разгреб мусор. Небольшая колония. Съежившиеся, сухие, морщинистые. Взял один, поднес поближе к лицу, понюхал. Откусил крохотный кусочек, пожевал.

— Что это, пап?
— Сморчки. Это сморчки.
— Что такое сморчки?
— Грибы такие.
— Их можно есть?
— Можно. Возьми, попробуй.
— Они вкусные?
— Попробуй.

Мальчик понюхал гриб, откусил чуть-чуть, разжевал. Посмотрел на отца:

— Очень даже ничего.

Выковыряли все грибы, такие необычные с виду, и сложили мальчику в капюшон куртки, и вернулись на дорогу, и пошли к тому месту, где оставили тележку. Разбили привал на краю озера. Отмыли грибы от земли и пепла и замочили в кастрюле. К тому времени, когда огонь разгорелся в полную силу, уже наступила ночь. На чурбаке нарезал грибы тонкими ломтиками, бросил на сковородку, добавил туда же свиной жир из банки тушеных бобов, поставил все это поджариваться на углях. Мальчик смотрел: "Мне это место нравится".

Поужинали жареными грибами и бобами, выпили чаю, а на десерт открыли баночку консервированных груш. С одной стороны костер был защищен обломком скалы, а с другой они натянули полиэтилен, чтобы жар не уходил. Получился теплый закуток. Он рассказывал мальчику истории из прошлого, какие еще не забыл, — про мужественных и справедливых людей, — пока тот не уснул в ворохе одеял. Потом подкинул в костер веток и лежал, сытый и согревшийся, слушая глухой грохот водопада где-то внизу, среди темного безжизненного леса.

Утром решил прогуляться, пошел вниз по течению. Мальчик был прав: место оказалось очень удобным. Надо проверить, не привлекло ли оно кого-нибудь еще. Не нашел никаких следов чужого присутствия. Стоял и наблюдал за рекой, как она стекала в затон, там кружилась, пенилась и клубилась в водовороте. Бросил в воду белый голыш, и он моментально исчез, как будто языком слизнули. Однажды он вот так стоял на берегу реки, рассматривал форелей, обычно невидимых в светло-коричневой воде. Разве что, когда рыба переворачивалась с боку на бок в погоне за кормом. В черной глубине солнце острыми лучиками отражалось от рыбьей чешуи — наверно, так блестят, попав в полосу солнечного света, лезвия ножей в пещере.

— Нам нельзя здесь оставаться. С каждым днем становится все холоднее. Водопад может кого-нибудь привлечь. Мы же пришли. И другие придут. Мы не знаем, что у них на уме, и не услышим, когда они сюда заявятся. Опасно.

— Еще один денек, пап.

— Опасно здесь оставаться.

— Может, поищем другое место на реке?

— Надо идти дальше. На юг.

— А река разве не течет на юг?

— Нет, не течет.

— А можно на карте посмотреть?

— Можно. Подожди, достану...

Потрепанная дорожная карта, изданная в свое время для работников нефтедобывающей компании, была когда-то склеена скотчем, но со временем распалась на отдельные листки. Он каждый пронумеровал фломастером в верхнем углу. Покопался в этих кусках, а затем расправил тот, который показывал, где они сейчас находятся.

— Здесь мы перейдем мост. Похоже, до него еще миль восемь или вроде того. Вот река. Течет на восток. Пойдем по дороге по восточному склону гор. Вот они — дороги, черные линии на карте. Штатные дороги.

— Почему "штатные"?

— Потому что раньше они принадлежали штатам. Тому, что когда-то называлось штатами.

— Штатов больше нет?

— Нет.

— Что с ними случилось?

— Точно не знаю. Хороший вопрос.

— Но дороги сохранились.

— Да, пока.

— Сколько еще им ничего не сделается?

— Не знаю, может, и долго. Им пока ничто не угрожает, так что они еще на какое-то время останутся.

— Но не будет ни машин, ни грузовиков.

— Нет.

— Вот и хорошо.

— Ты готов?

Мальчик утвердительно кивнул, вытер нос рукавом, закинул на плечи рюкзак. Отец сложил карту, поднялся, сын последовал за ним сквозь серый частокол деревьев к дороге.

Внизу показался мост, поперек которого, полностью загораживая проход, застрял на боку тяжелый грузовик-фура, уткнувшийся в погнутые перила. Опять зарядил дождь, они стояли, накрывшись полиэтиленом, рассматривая мост из голубоватого марева своего убежища. Капли дождя тихо шуршали по пленке.

— Обойдем фуру?

— Вряд ли. Скорее всего, придется под ней пролезть, только надо будет разгрузить тележку.

Мост пересекал реку неподалеку от водопада. Его шум стал слышен на повороте дороги. Из ущелья налетел ветер, они затянули потуже края полиэтилена и вкатили тележку на мост. Сквозь металлическую арматуру просматривалась река внизу. Ниже по течению сразу за водопадом был железнодорожный мост. На его каменных опорах были хорошо видны следы в тех местах, докуда доходила вода во время наводнения, а в излучине реки громоздились завалы из веток, стволов и валежника.

Грузовик, похоже, стоял на мосту с незапамятных времен: обмякшая резина складками лежала под дисками колес, кабина водителя застряла в ограждении моста, кузов перекосился и врезался в кабину сзади. Грузовик развернуло, и зад уткнулся в перила на противоположной стороне моста, вывернув с корнем одну секцию, и она повисла на арматуре над водяным потоком. Он попытался затолкать тележку под грузовик, но мешала ручка. Придется тащить боком, пока же они накрыли тележку полиэтиленом и бросили под дождем. Согнувшись, залезли под фуру. Оставив мальчика сидеть на сухой земле под машиной, он взобрался на приступку рядом с бензобаком, смахнул воду со стекла и заглянул в кабину. Потом перепрыгнул на подножку, дотянулся до ручки, открыл дверь, пролез внутрь, захлопнул дверь. Посидел, осматриваясь. Позади сидений — спальное место. Пол завален бумагой. Бардачок не заперт, в нем

ничего нет. Перелез через сиденья. На лежанке — отсыревший матрас. Мини-холодильник с открытой дверцей. Откидной столик. Старые журналы на полу. Пустые фанерные полки. Под лежанкой — ящики, тоже пустые. Он все проверил, и все открыл, и выдвинул, и даже покопался в мусоре. Вернулся в кабину и сел на водительское место. Смотреть сквозь пелену дождя на реку внизу. Легкий стук капель по железной крыше. Всепоглощающая темнота.

Ночь провели в кабине, а утром дождь прекратился, и тогда они смогли разгрузить тележку, перенести ее и все вещи под грузовиком на ту сторону и сложить все обратно. Внизу в сотне футов от моста лежали почерневшие останки горелых покрышек. Он стоял и рассматривал фуру.

— Как ты думаешь, что там внутри?

— Не знаю.

— До нас кто-то тут побывал. Наверняка всё забрали.

— А как попасть внутрь?

Он прижался ухом к стенке фуры, а потом ударил ладонью по металлической поверхности.

— Судя по звуку, пусто. Можно, наверное, залезть через крышу. В боку было бы отверстие, сумей его кто-нибудь проделать.

— Чем?

— Нашли бы чем.

Снял куртку, бросил ее на тележку, залез на бампер, потом на капот и через лобовое стекло перемахнул на крышу кабины. Выпрямился, повернулся и посмотрел на реку внизу. Под ногами — скользкий мокрый металл. Посмотрел на сына. На его встревоженное лицо. Повернулся, схватился руками за верх фуры, подтянулся. Еще раз, еще. Иначе не взобраться. Спасибо хоть не толстый. Закинул ногу на ребро крыши, повисел так, отдыхая, потом сделал последний рывок и перекатился на крышу.

Разглядел люк посередине крыши, по-обезьяньи перебирая руками и ногами, добрался до него. Крышки на люке не было, из отверстия пахнуло мокрой фанерой и уже ставшим таким знакомым запахом кислятины. Вытащил из кармана брюк журнал и вырвал несколько страниц, скомкал и, достав зажигалку, поджег бумагу и бросил вниз в черноту. Слабый свист. Разогнал дым, заглянул внутрь. Такое ощущение, будто бумага горит на дне пропасти, а вовсе не в двух футах от крыши. Козырьком ладони прикрыл глаза и тогда смог хорошо разглядеть содержимое фуры. Трупы. Навалены как попало. Мумии в сгнившем тряпье. Бумажный комок, догорая, на мгновение ярко вспыхнул, как цветок, как расплавленная роза. А потом опять стало темным-темно.

Заночевали в лесу на гребне холма, с которого открывался вид на широкую долину, уходящую далеко на юг. Он развел костер под защитой скалы. Поужинали остатками грибов и банкой шпината. Ночью высоко в горах разразилась гроза, оглушительный грохот и треск обрушивались на равнину внизу. Серое небо то и дело освещалось вспышками молний. Мальчик прижался к отцу. Гроза закончилась, сменившись непродолжительным градом, потом зарядил холодный нудный дождь.

Проснулся в темноте. Дождь уже перестал. Долину заливает тусклый свет. Поднялся, прошелся по краю гребня. Зарево, растянувшееся на много миль. Сев на корточки, смотрел на огонь. Явственно различил запах дыма. Послюнявил палец, подставил его ветру. Когда поднялся и повернулся, чтобы идти обратно, увидел освещенный изнутри полиэтилен — значит, мальчик проснулся. Голубоватое свечение, казалось, висело над стартовой площадкой, с которой им предстоит отправиться в последнее путешествие на край света. Про которое некому будет рассказывать. Некому. Не надо себя обманывать.

Весь следующий день они шли, окутанные запахом гари. Все тонуло в клубах дыма, который как туман поднимался от земли. На фоне тонких черных деревьев, горящих по склонам, словно свечи язычников. Ближе к вечеру подошли к месту, где пламя только-только пересекло дорогу: щебеночное покрытие еще не остыло и чем дальше, тем больше проседало под ногами. К подошвам прилипал битум, его тонкие нити тянулись от ботинок к дороге, затрудняя каждый шаг. Остановились. "Придется переждать", — сказал он мальчику.

Вернулись на основную дорогу, там провели ночь и утром зашагали опять. Щебенка к тому времени остыла. Вскоре наткнулись на следы отпечатавшихся в битуме подошв. Непонятно, откуда взялись. Он присел и стал их изучать. Кто-то ночью вышел из леса и пошел по расплавленной дороге.

— Кто это может быть?

— Не знаю. Никто?

Они вскоре догнали его на дороге: незнакомец еле двигался, волочил одну ногу, периодически останавливался и стоял согнувшись, не решаясь тронуться дальше.

— Что будем делать, пап?

— Пока ничего. Пойдем следом и понаблюдаем.

— Последим за ним?

— Да-да, последим.

Плелись за ним довольно долго, теряя драгоценное время. Наконец он сел на дорогу и больше уже не поднимался. Мальчик вцепился в отцовскую куртку. Никто не промолвил ни слова. Незнакомец явно побывал в огне: опален под стать пейзажу вокруг, обуглившаяся одежда, один глаз обожжен и навеки закрыт, на почерневшем черепе — клочья пепла вместо волос. Когда они проходили мимо, он смотрел себе под ноги и даже не взглянул на них. Как будто чего-то стеснялся. Башмаки перевязаны проволокой, покрыты пятнами битума. Сидит в своих лохмотьях в полном молчании и не шевелится. Мальчик то и дело оглядывался.

— Пап, что с ним?

— В него ударила молния.

— Мы можем ему помочь? Пап?

— Нет. Не можем.

Мальчик продолжал дергать его за полу куртки.

— Пап...
— Перестань.
— Мы можем ему помочь?
— Нет. Не можем. Ему уже ничто не поможет.

Продолжали идти. Мальчик плакал. Постоянно оборачивался. Когда они спустились с холма, отец остановился, посмотрел на сына, посмотрел на дорогу у них за спиной. Незнакомец завалился на бок, на таком расстоянии уже трудно было понять, что́ там лежит. "Мне очень жаль этого человека, — сказал отец. — Но мы ничем не можем ему помочь. Нам нечего ему дать. С ним случилась ужасная беда, но мы не можем ничего изменить или исправить. Ты ведь это понимаешь?" Мальчик смотрел в землю. Кивнул. Пошли дальше, больше он уже не оборачивался.

Вечером небо осветилось тусклым зеленовато-желтым светом. В канавах вдоль дороги черная вода вперемешку с грязью от оползней. Горы, теряющиеся в дымке. Перешли реку по бетонному мосту. Речной поток медленно нес скопления пепла и комки глины. Обуглившиеся деревяшки. Пройдя еще немного, решили вернуться и заночевать под мостом.

Он таскал с собой бумажник, пока тот не протер дырку в углу кармана. Как-то раз сел на обочине, и достал бумажник, и вытряхнул содержимое. Немного денег, кредитные карты. Водительское удостоверение. Фотография жены. Разложил на земле. Как карточную колоду. Закинул в лес изрядно потертый кусок кожи и сел с фотографией в руках. Потом положил ее рядом с остальными вещичками, встал, и они пошли дальше.

Утром, лежа на спине, разглядывал глиняные гнезда ласточек в углах мостовых пролетов. Посмотрел на мальчика, но тот отвернулся: лежал, уставившись на реку.

— Мы ничем не могли ему помочь.

Мальчик продолжал молчать.

— Он скоро умрет. Если бы мы поделились с ним едой, нам самим бы не хватило, тогда умерли бы мы...
— Я понимаю.
— Ну и когда ты начнешь опять со мной разговаривать?
— Уже начал.
— Точно?
— Да.
— Ну хорошо.
— Хорошо.

Они стояли на дальнем берегу реки, звали его. Сгорбленные, в лохмотьях, боги, бредущие в безжизненном пространстве. Пересекают котлован исчезнувшего моря, весь в разломах и трещинах, как разбитая тарелка. Расплавившийся песок там, где промчался огненный смерч. Силуэты медленно растаяли вдали. Проснулся и лежал в темноте.

Часы остановились в 1.17. Долгая вспышка света, затем — серия глухих толчков. Он встал и подошел к окну. "Что это было?" — спросила она.

Он не ответил. Пошел в ванную, щелкнул выключателем, электричество уже отрубилось. Мутное розовое марево в окне. Опустился на колени, заткнул пробкой ванну, отвернул краны до упора. Она стояла в дверях ванной комнаты — ночная рубашка, одна рука придерживает живот, другая вцепилась в косяк. "Что это было? — спросила снова. — Что происходит?"

— Я не знаю.

— Почему ты решил помыться?

— Я не собираюсь мыться.

В том далеком прошлом однажды проснулся в пустом лесу и слушал в кромешной темноте крики перелетных птиц. Приглушенные расстоянием, высоко в облаках. Птицы бесцельно кружили над землей — так муравьи бессмысленно бегают кругами по краю тарелки. Он пожелал птицам счастливого пути. Они улетели, и больше он их никогда не слышал.

У него сохранилась колода карт — нашел ее в каком-то доме в ящике письменного стола, карты истрепанные, кое-где порвавшиеся, не хватает двух треф, но они все равно иногда играли, расположившись у костра и закутавшись в одеяла. Пытался вспомнить правила карточных игр своего детства. "Старая дева". Несколько вариантов виста. Был уверен, что перепутал все правила, и потому изобрел новые игры и придумал им названия. Вроде "Ненормальной указки" или "Кошачьей отрыжки". Время от времени мальчик спрашивал его про прошлую жизнь, про которую сам ничего не помнил, так как ее не застал. Долго думал, прежде чем ответить. Прошлое не вернешь. Про что ты хочешь узнать? Решил покончить с вымыслами. Стало противно, ведь фантазии — сплошной обман. Мальчик сам напридумывал: что будет на юге, про других детей. Не мешало бы обуздать детские фантазии, но он не мог себя заставить. А кто бы смог?

Нет списка неотложных дел. День предопределен. Час за часом. Не существует "позже". "Позже" — это уже сейчас. Красивые изящные вещи, дорогие чьему-то сердцу, одновременно источник страданий. Рождаются из горя и праха. "Так-то вот, — прошептал спящему мальчику. — А у меня есть ты".

Думал про снимок, брошенный на дороге, говорил себе, что должен постараться сделать так, чтобы они ее не забывали. Но не знал как. Проснулся от приступа кашля, отошел подальше, чтобы не разбудить сына. Шел вдоль каменной стены, завернувшись в одеяло, то и дело опускался на колени, как кающийся грешник. Кашлял, пока не ощутил вкус крови во рту. Произнес вслух ее имя. Решил, что, наверное, звал ее во сне. Вернулся и увидел, что мальчик не спит.

— Извини.

— Ничего.

— Постарайся уснуть.

— Как бы мне хотелось быть с мамой.

Он ничего не сказал. Сел рядом с маленькой фигуркой в ворохе одеял и чуть погодя заметил:

— Имеешь в виду, что тебе хотелось бы умереть.
— Да.
— Ты не должен так говорить.
— Но это правда.
— Не надо говорить о таких плохих вещах.
— Не могу не говорить.
— Я понимаю. Ты постарайся.
— Как?
— Не знаю.

— Мы остались в живых, — сказал он сидящей напротив жене. От светильника падал слабый свет.
— В живых?
— Да.
— О господи, да что ты несешь! Какие живые? Мы — ходячие мертвецы из фильма ужасов!
— Прошу тебя.
— Мне все равно. Даже если ты заплачешь. Все равно, слышишь?
— Пожалуйста.
— Перестань.
— Умоляю тебя. Я сделаю все, что в моих силах.
— Что, например? Давно надо было это сделать. Когда в обойме было три пули, а не две, как сейчас. Какая я была дура! Мы с тобой ведь тысячу раз обсуждали. Я бы сама не захотела. Меня вынудили. Больше не могу. Сначала даже не хотела тебе говорить. Так было бы лучше. У тебя осталось две пули, и что дальше? Защитить ты нас не можешь. Говоришь, что жизнь за нас отдашь, а какая от этого польза? Я бы взяла его с собой, если бы ты не мешал. Взяла бы, прекрасно знаешь. Самый разумный выход.
— Ты говоришь дикие вещи.
— Нет, я дело говорю. Рано или поздно они нас догонят, схватят и убьют. Сначала изнасилуют меня. Потом — его. Они нас изнасилуют, убьют и съедят, а ты не хочешь смотреть правде в лицо. Предпочитаешь ждать. А я не могу. Не могу.

Она сидела и курила обломок тонкой сухой лозы, словно это была дорогая манильская сигара, изящно зажав ее между пальцами. Другая рука бессильно лежала на коленях. Смотрела на мужа сквозь марево от горящего светильника.

— Раньше мы говорили о смерти. Теперь перестали. Не знаешь почему?
— Не знаю.
— А я знаю — она нас настигла. Больше не о чем говорить.
— Я тебя не оставлю.
— А мне все равно. Все бессмысленно. Если хочешь, можешь считать меня вероломной сукой. Я завела себе любовника. Он может дать мне то, что тебе и не снилось.
— Смерть — плохой любовник.
— Великолепный.
— Пожалуйста, не делай этого.
— Прости.

— Я не справлюсь один.

— Тогда брось все. Я тебе не помощница. Говорят, что женщинам снятся сны про несчастья, грозящие их близким, а мужчинам — про несчастья, грозящие им самим. А я не вижу больше снов. Говоришь, один не справишься? Тогда ничего не делай. Проще простого. У меня сердце давно не болит. Я с ним покончила, раз и навсегда. И уже давно. Ты все настаиваешь, что надо бороться. Не за что бороться. Во мне все умерло в ту ночь, когда он родился. Не проси сострадания, его нет. Может, ты окажешься хорошим отцом. Я в этом не уверена, но кто знает... Одно ясно — если ты останешься один, у тебя пропадет желание жить. Я по собственному опыту знаю. Тому, кто совсем одинок, можно только посоветовать придумать себе кого-нибудь. Вдохнуть в него жизнь, задобрить словами любви. Отдать последнюю крошку хлеба, защитить от опасности собственным телом. Что касается меня, то я ищу только вечного небытия. Это — моя последняя надежда.

Он ничего не ответил.

— Видишь, тебе нечего возразить.

— Ты попрощаешься с ним?

— Нет, не хочу.

— Подожди хотя бы до утра. Пожалуйста.

— Мне пора.

Она уже встала.

— Во имя всего святого! Что я ему скажу?

— Ничем не могу помочь.

— Куда ты пойдешь? В этой темноте...

— Какая разница...

Он вскочил:

— Я прошу тебя...

— Нет, я не останусь. Не могу.

Она ушла. Навсегда. Холод расставания стал ее прощальным подарком. Она сделает это осколком обсидиана. Сам ее научил. Тоньше лезвия, острее стали. Она была права. Без сомнения. Сколько ночей они провели в спорах "за" и "против" самоубийства с глубокомыслием философов, обряженных в смирительные рубашки! Утром мальчик не сказал ни слова и только, когда они собрались отправиться в путь, обернулся, посмотрел на место их стоянки и прошептал:

— Она не вернется?

— Нет, — ответил он.

Всегда такой предусмотрительный, готовый к любым неожиданным поворотам. Идеальное существо, не страшащееся собственного конца. Они сидели у окна в халатах, ели поздний ужин при свечах и наблюдали, как на горизонте горят города. Несколько ночей спустя она родила — в их кровати, при свете фонаря. Резиновые перчатки для мытья посуды. Происходило невероятное. Сначала появилась макушка. Вся в крови, реденькие темные волосики. Первое испражнение кишечника. Он как будто не слышал ее криков. За окном — надвигающийся холод да пламя вдали. Он держал на весу крохотное красное тельце, такое го-

ленькое и беззащитное, потом перерезал хозяйственными ножницами пуповину и завернул своего сына в полотенце.

– У тебя были друзья?
– Да, были.
– Много?
– Да.
– Ты их помнишь?
– Да. Я их помню.
– А где они сейчас?
– Умерли.
– Все?
– Все до единого.
– Ты по ним скучаешь?
– Да.
– Куда мы идем?
– На юг.
– Ладно.

Весь день они шагали по черной дороге, лишь под вечер устроили привал и немного перекусили. Берегли свои скудные запасы. Мальчик достал из тележки игрушечный грузовик и сучком прокладывал для него дорогу в пепле. Грузовик медленно катился. Мальчик изображал шум мотора. Было почти тепло, и они уснули прямо на земле, зарывшись в листья и подложив рюкзаки под голову.

Его разбудил какой-то звук. Повернулся на бок, прислушался. Медленно поднял голову, в руке – револьвер. Посмотрел на сына, а когда перевел взгляд обратно на дорогу, то ужаснулся: эти подошли так близко, что можно было легко разглядеть идущих в первом ряду. "О господи", – прошептал. Дотянулся до ребенка и легонько его потряс, не спуская глаз с дороги. Они приближались, шаркая ногами по пеплу, поводя из стороны в сторону головами в капюшонах. Некоторые – в противогазах. На одном – костюм биохимической защиты. Неимоверно грязный, весь в пятнах. Опущенные плечи, в руках длинные дубинки. Кашляют. Потом с дороги донесся звук, похожий на рев дизельного мотора. "Скорей, – прошептал он. – Скорей". Засунул револьвер за пояс, схватил мальчика за руку, поволок тележку среди деревьев и опрокинул там, где она бы меньше всего бросалась в глаза. Мальчик онемел от страха. Отец притянул его к себе: "Ничего, ничего. Надо бежать. Не оборачивайся. Бежим".

Перекинул оба рюкзака через плечо, и они понеслись по выжженному лесу. Мальчик помертвел от ужаса. "Беги, – прошептал ему отец. – Беги". Оглянулся назад: грузовик все ближе и ближе, в кузове стоят люди, озираются. Мальчик упал, он его поднял рывком: "Ничего, ничего. Бежим".

Он заметил просвет в лесу, решил, наверное, канава или просека, оказалось – старая заброшенная дорога за стеной бурьяна. Кое-где сквозь пе-

пел проступают участки потрескавшегося асфальта. Заставил мальчика пригнуться, упали плашмя, прислушиваясь, с трудом переводя дыхание. Различили тарахтенье дизельного мотора, непонятно на чем работающего. Приподнялся, увидел крышу кабины грузовика, ползущего по основной дороге. Мужские фигуры в кузове, у некоторых в руках ружья. Грузовик проехал, черные выхлопные газы клубились между деревьями. Мотор явно барахлил. Сбивался, чихал. Звук удалялся.

Присел, стукнул себя по лбу: "О боже". Слышно было, как мотор фырчит и глохнет. Потом тишина. В руке револьвер, не помнил, когда выхватил его из-за пояса. Услышал, как они переговариваются, открывают и поднимают капот. Сидел, обняв мальчика одной рукой. "Ш-ш-ш, – сказал ему, – ш-ш-ш". Через некоторое время мотор опять заработал, скрипя и потрескивая, как старый корабль. Чтобы грузовик завелся, людям пришлось его толкать. И скорость набрать оказалось не так-то легко, ведь дорога шла в гору. Пару минут спустя мотор зафыркал и опять заглох. Отец приподнялся и поглядел: прямо на них шел один из этой команды. Их разделяло футов двадцать, не больше. Они застыли от ужаса.

Он поднял револьвер, прицелился. Человек остановился, одна рука висит как плеть, на лице – замызганная мятая маска, какие раньше носили маляры. Сдувается и раздувается при каждом вдохе-выдохе.

– Иди вперед.

Человек посмотрел на дорогу.

– Не оглядывайся. Смотри на меня. Не вздумай кричать. Убью.

Тот сделал несколько шагов вперед, одной рукой придерживая штаны. Неровные дырки в ремне – хроника голода. Другой конец ремня лоснится – об него затачивают нож. Человек отступил к обочине, посмотрел на пистолет, посмотрел на мальчика. Черные круги вокруг запавших глаз. Будто из глазниц человеческого черепа смотрит дикий зверь. Аккуратно подстриженная квадратная борода, судя по всему – пользовался ножницами, на шее – татуировка, отдаленно напоминающая птицу. Тот, кто наносил татуировку, похоже, плохо представлял, как выглядят настоящие птицы. Жилистый, худой. Первые признаки истощения. Грязный синий комбинезон и черная кепка-бейсболка с вышитым названием какой-то давно исчезнувшей фирмы.

– Куда вы направляетесь?

– Я отошел посрать.

– Я говорю про грузовик.

– Не знаю.

– Как это не знаешь? Ну-ка, сними маску.

Человек стащил маску и стоял, держа ее в руке.

– Говорю же, не знаю.

– Не знаешь, куда вы едете?

– Нет.

– Что за топливо?

– Дизельное.

– Много его у вас?

– Три канистры по пятьдесят пять галлонов. В кузове.

– Патроны есть?

Человек снова оглянулся на дорогу.

– Я же велел не оборачиваться.

– Да, есть.

– Где вы их взяли?

– Нашли.

– Вранье. Чем вы питаетесь?

– Едим, что попадется.

– Что попадется, хм.

– Да.

Человек посмотрел на мальчика, сказал:

– Ты не выстрелишь.

– Надейся.

– У тебя в лучшем случае два патрона. Или даже один. И они услышат выстрел.

– Они-то услышат, а вот ты нет.

– Как это?

– Так. Пуля летит быстрее звука. Не успеешь оглянуться, как она очутится у тебя в мозгу. Чтобы услышать выстрел, нужны лобные доли и еще кое-что под названием "неокортекс" и "верхняя височная извилина". А их-то как раз у тебя и не будет. Одно месиво.

– Ты что, врач?

– Я никто.

– У нас есть раненый. Тебе зачтется, если ему поможешь.

– Я, по-твоему, похож на полного идиота?

– Кто тебя знает.

– Почему ты на него так смотришь?

– Куда хочу, туда и смотрю.

– Забудь. Еще раз на него глянешь, я тебя застрелю.

Мальчик сидел на земле, закрыв руками голову, выглядывал из-под локтей.

– Как пить дать, мальчишка голоден. Пошли-ка лучше со мной в машину. У нас покормят. А то уперся как баран...

– У вас есть нечего. А ну, вперед.

– Куда это?

– Двигай давай.

– И не подумаю.

– Нет?

– Не-а.

– Думаешь, не убью? Ошибаешься. Но я бы предпочел взять тебя с собой. Через милю-другую отпустим на все четыре стороны. Больше нам ничего не нужно. Тебе нас не найти. Даже не узнаешь, в какую сторону мы пошли.

– Сказать, что я думаю?

– Что?

– Что ты в штаны быстрее наложишь.

Пленник разжал пальцы, ремень упал на дорогу вместе со снаряжением: фляжка, старый армейский брезентовый патронташ, кожаный футляр для ножа. Когда отец поднял взгляд от этой кучи на дороге, подонок держал в руке нож. Всего два шага – и он между ним и мальчиком.

– Ну и что дальше?

Молчание в ответ. Внушительных размеров, но оказался на удивление проворный. Нырнул, схватил ребенка, перекатился, вскочил, прижимая мальчика к груди и приставив ему нож к горлу. Отец упал на колени, повернулся в их сторону, держа револьвер двумя руками, прицелился и с расстояния в шесть футов выстрелил. Человек опрокинулся навзничь, в дырке на лбу пузырилась кровь. Мальчик лежал у него в ногах, лицо его ничего не выражало. Отец молниеносно засунул револьвер за пояс, и закинул рюкзак на плечо, и рывком схватил сына, перевернул, и поднял, и усадил себе на плечи, и кинулся бежать по дороге, придерживая мальчика за коленки. Мальчик обхватил руками его голову. Весь в крови. Немой как рыба.

В глубине леса они наткнулись на старый железный мост, по которому почти исчезнувшая с лица земли дорога пересекала высохший ручей. Его мучили приступы кашля. Откашляться не получалось, какое там — не мог продохнуть. Свернул с дороги в лес. Повернулся и стоял, переводя дух, прислушиваясь. Ничего. Спотыкаясь, проковылял еще с полмили, под конец опустился на колени, положил сына прямо в листья и пепел. Стер кровь с его лица, прижал к себе: "Все хорошо, все хорошо".

В тот долгий холодный вечер в надвигающейся темноте он услышал их только еще один раз. Притянул мальчика к себе. Кашель застрял в горле. Куртка висит на ребенке как на вешалке. Трясется от холода. Подождали, пока затихнут шаги. Пошли дальше. Наученные горьким опытом, брели в полном молчании. Настала ночь и вместе с ней — могильный холод. Мальчика всего колотило. Лунный свет не пробивает мрак, идти некуда. В рюкзаке у них было одно-единственное одеяло. Он его достал, укутал сына. Расстегнул куртку, прижал мальчика к себе. Устроились на земле. Лежали довольно долго, никак не могли согреться. Тогда он сел и сказал: "Надо идти вперед. Нельзя просто так лежать". Посмотрел по сторонам, ничего не увидел. Слова повисли в бездонной, бескрайней темноте.

Держал сына за руку, пока блуждали по лесу. Другая рука вытянута вперед. С тем же успехом мог двигаться с закрытыми глазами. Укутал мальчика в одеяло поверх куртки. Велел следить, чтобы одеяло не сползло, потом им его не найти. Мальчик просился на руки, но отец заставлял его идти. Колесили по лесу большую часть ночи. До рассвета было еще далеко, когда мальчик упал и больше не смог подняться. Завернул его в свою куртку, потом в одеяло, сел на землю, держал его в объятиях, раскачиваясь взад-вперед. Одна пуля в барабане. Не хочешь смотреть правде в лицо. Не хочешь.

Наступал день, мало чем отличающийся от ночи. При его скупом свете положил мальчика в кучу листьев на земле и сидел, разглядывая деревья. Как только развиднелось, отошел подальше и прочесал лес по периметру вокруг их временного пристанища в поисках чужих следов. Кроме их собственных, едва заметных в пепле, ничего не обнаружил. Вернулся обратно и разбудил сына: "Пора идти". Мальчик сидел

сгорбившись, на лице — полное безразличие. Слипшиеся от крови волосы, грязь на щеках. "Скажи хоть слово", — умолял он сына, но тот молчал.

Шли на восток сквозь частокол мертвых деревьев. Прошли мимо остова бывшего дома, пересекли проселочную дорогу. Пустой участок посреди леса, наверное, в прошлом — стоянка полевой техники. Иногда останавливались, чтобы прислушаться. Неожиданно вышли на основную дорогу, он потянул мальчика за руку. Спрятались в придорожной канаве, как прокаженные. Опять слушали. Ни дуновения ветерка. Гробовая тишина. Немного погодя он поднялся и вышел на дорогу. Обернулся, поманил мальчика к себе:

— Пошли.

Ребенок подошел к отцу, тот указал на глубокие колеи в пепле, продавленные грузовиком. Мальчик стоял, закутавшись в одеяло, опустив глаза, и рассматривал дорогу.

Откуда ему знать, завели они мотор или нет? Устроили засаду или плюнули и ушли? Он скинул рюкзак, сел.

— Нужно поесть. Ты голодный?

Мальчик отрицательно покачал головой.

— Нет? Так я и думал.

Расстегнул рюкзак, достал пластиковую бутылку с водой. Отвернул пробку и протянул бутылку сыну. Тот припал к горлышку. Оторвался, и перевел дух, и сел на землю, скрестив ноги, и еще долго пил. Потом отдал бутылку отцу. Тот отпил немного, аккуратно завернул пробку и стал рыться в рюкзаке. Выудил банку белой фасоли. По очереди зачерпывая ложкой, все съели. Отец зашвырнул пустую банку в лес. Опять вперед.

Люди с грузовика стояли лагерем прямо на дороге. Жгли костер: обугленные ветки в расплавленном гудроне вперемешку с пеплом и костями. Он присел на корточки, вытянул руку над пепелищем. От углей поднималось слабое тепло. Распрямился, глянул на дорогу. Потом отвел мальчика в лес:

— Побудь здесь. Я буду недалеко и тебя услышу, если что.

— Я хочу с тобой. — Вот-вот заплачет.

— Нельзя, тебе надо подождать в лесу.

— Ну пожалуйста, пап.

— Прекрати. Делай, что я тебе говорю. Возьми револьвер.

— Я не хочу.

— Я не спрашиваю, хочешь ты или нет. Бери.

Лесом прошел туда, где оставил тележку. Нашел. Выпотрошили, и бросили, и раскидали ненужные им вещи. Осталось несколько детских игрушек и книжек. Его собственные старые ботинки и кое-какое тряпье. Поднял тележку, сложил вещички сына, выкатил тележку на дорогу. Вернулся. Пусто. Черные пятна засохшей крови на листьях. Рюкзак сына исчез. На обратном пути наткнулся на сложенные в кучу кости и куски кожи, придавленные булыжниками. Кишки в луже крови. Поковырял кости носком ботинка. Похоже, варили. Ни клочка

одежды. Приближалась ночь, становилось все холоднее. Он повернулся и пошел к сыну. Встал на колени, обхватил его руками. Долго не отпускал.

Они довезли тележку до конца старой дороги и оставили ее там. Сами пошли на юг, торопясь найти место для привала до наступления темноты. Мальчик все время спотыкался от усталости, и отец посадил его на плечи и понес. К тому времени, когда добрались до моста, стало темно как в преисподней. Поставил мальчика на землю, и они на ощупь начали спускаться по насыпи. Под мостом достал зажигалку, зажег и при слабом мерцании осмотрел берег. Песок и мелкая галька, намытые ручьем. Поставил рюкзак на землю, спрятал зажигалку, обнял сына за плечи. С трудом различал его силуэт в темноте.

— Я хочу, чтобы ты подождал меня здесь. Я схожу за дровами. Для костра.

— Я один боюсь.

— Знаю. Я буду недалеко и услышу, если ты вдруг испугаешься или вскрикнешь. Позовешь меня — я сразу же приду.

— Мне ужасно страшно.

— Чем быстрее я уйду, тем быстрее вернусь. Разожжем костер, и ты больше не будешь бояться. Только не ложись. Ляжешь — сразу уснешь. Я стану тебя звать, ты не откликнешься, а в этой темноте попробуй тебя найти... Понимаешь?

Мальчик не отвечал. Отец подумал: еще немного, и его терпение иссякнет. Но потом до него дошло, что мальчик в темноте мотает головой:

— Я не усну. Не усну.

В кромешной темноте, вытянув перед собой руки, поднялся по насыпи и углубился в лес. Дров вокруг навалом: сухие палки, ветки, валяющиеся на земле. На ходу сбивал их ногами в одно место, и, когда получилась довольно внушительная куча, наклонился и все подобрал. Потом позвал сына. Тот ответил, по звуку его голоса он нашел дорогу к мосту. Сидели в темноте, пока он ножом рубил ветки потолще, а тонкие переламывал руками. Вытащил из кармана зажигалку, большим пальцем покрутил колесико. Бензиновая зажигалка давала слабый голубоватый огонек. Согнулся, поднес зажигалку к сложенной куче. Смотрел, как пламя поползло вверх по переплетенью сучков и веток. Подкинул еще, наклонился и осторожно раздул огонь, а потом перекладывал с места на место сучья, чтоб не прогорали слишком быстро.

Еще дважды он возвращался в лес, каждый раз принося полные охапки веток и валежника, и сбрасывал их с моста вниз. Отойдя на небольшое расстояние, увидел огонь костра. Но не встревожился — вряд ли его можно заметить. Под мостом среди камней разглядел темную заводь с неподвижной водой. По краям — толстая корка льда. Встал на мосту, скинул вниз последнюю охапку. Выдох — в свете костра видно облачко белого пара.

Уселся на песок, стал проверять содержимое рюкзака. Бинокль. Почти полная четвертьлитровая бутылка бензина. Плоскогубцы. Две ложки.

Положил все рядком. Пять алюминиевых баночек со съестным. Выбрал банку сосисок и банку кукурузы, открыл армейской открывалкой, поставил банки поближе к огню. Сидели и смотрели, как тлеют и закручиваются от жара этикетки. Когда от кукурузы пошел пар, плоскогубцами вытащил банки. Сидели, склонившись, и медленно ели, мальчик то и дело клевал носом.

Потом он повел мальчика к отмели под мостом. Расколол палкой лед у края. Встали на колени, и он начал мыть сыну лицо и волосы. Вода была ледяная, и мальчик заплакал. Отошли подальше и нашли воду почище, он снова стал мыть мальчику голову. Не так тщательно, как хотелось бы, — ребенок стонал от холода. Вытер его одеялом, стоя на коленях в отблесках костра. В этом свете тень нижней решетки моста преломлялась на фоне частокола деревьев за ручьем. "Это мой сын. Я должен вымыть ему волосы, забрызганные мозгами того мерзавца. Это моя обязанность". Потом завернул его в одеяло и понес к костру.

Мальчик сидел и качался из стороны в сторону. Отец устраивал лежанку в песке: сюда — плечи, сюда — бедра; следил, чтобы не свалиться в огонь. Потом сел и, держа сына на коленях, над огнем просушивал ему волосы. Как соборование у древних. Пусть так. Восстанови в памяти образы из прошлого. Если нечего вспомнить, сам придумай новые ритуалы и неукоснительно их соблюдай.

Ночью проснулся от холода, поднялся, наломал побольше веток. Попадая на угли, они сразу же вспыхивали ярко-оранжевым пламенем. Раздул костер, добавил еще веток. Сидел, скрестив ноги, прислонившись спиной к каменной опоре моста. Здоровенные блоки известняка, один на другом, без капли цемента. Над головой — коричневая от ржавчины арматура, огромные заклепки, деревянные перекрытия и балки. Песок под ним был теплый на ощупь. Ночь за пределами освещенного костром круга — холодна как сталь. Поднялся, притащил еще сучьев из-под моста. Стоял и слушал. Мальчик спал как убитый. Присел рядом, погладил его спутанные светлые волосы. Драгоценная чаша, способная стать прибежищем Бога: "Пожалуйста, не говори мне, как такие истории обычно заканчиваются". Посмотрел в темноту над мостом: идет снег.

Веток, что он заготовил, хватило бы на час, может, чуть больше. Перетащил остатки валежника из-под моста и принялся его крушить: наступал на ветки, которые от его тяжести трескались, потом ломал их. Боялся, что шум разбудит ребенка. Нет, спит как ни в чем не бывало. Мокрые ветки шипели в огне, снег продолжал идти. Утром надо проверить, нет ли каких следов на дороге. Всякое может быть. За последний год это первое, если не считать мальчика, живое существо, с которым довелось поговорить. Мой брат. Холодный расчет, бегающие глаза. Гнилые черные зубы. С застрявшими частицами человеческой плоти. Каждое его слово — ложь. Все — сплошной обман.

Когда проснулся в следующий раз, снег прекратился. В мутном свете зарождающегося дня за мостом стал виден оголенный лесной мас-

сив, а на фоне снега — резкие черные силуэты деревьев. Полежал еще немного, зажав руки между коленями, встал, разжег костер посильнее, поставил подогреваться банку свеклы. Свернувшись калачиком на земле, мальчик лежал и смотрел на отца.

По всему лесу, на ветвях деревьев, в чашечках листьев, лежал свежевыпавший снег. Уже успевший посереть от пепла. Вернулись за тележкой, бросили в нее рюкзак, вышли на дорогу. Никаких следов. Постояли в полной тишине. И пошли по дороге месить серую грязь, мальчик — сбоку, руки в карманах.

Брели весь день. Мальчик не сказал ни слова. К полудню слякоть на дороге начала подсыхать, к вечеру исчезла совсем. Не останавливались. Сколько миль? Десять, двенадцать? Раньше играли с большими металлическими прокладками для труб — бросали их, как кольца, на дорогу. Когда-то нашли эти кольца в хозяйственном магазине, но теперь они пропали вместе с остальными вещами. Той ночью остановились на ночлег в ложбине. Развели огонь под скальным навесом и доели последнюю банку тушеной свинины с бобами. Он приберег ее напоследок, потому что это было любимое блюдо сына. Смотрели, как она греется в углях. Плоскогубцами вытащил банку из огня. Съели в полном молчании. Налил в банку воды, ополоснул, налил еще, дал мальчику выпить. Всё, продукты закончились.

— Мне бы проявить больше осторожности...

Мальчик ничего не сказал.

— Поговори со мной.

— Хорошо.

— Ты хотел узнать, как выглядят плохие люди. Теперь ты знаешь. Этот кошмар может повториться снова. Мой долг — заботиться о тебе, так предписано Богом. Я убью любого, кто вздумает тебя хоть пальцем тронуть. Понимаешь?

— Да.

Мальчик сидел, завернувшись в одеяло. Через какое-то время взглянул на отца, спросил:

— Мы ведь хорошие?

— Да, мы — хорошие.

— И будем хорошими?

— Да, всегда.

— Хорошо.

Утром вышли из ложбины и пошли, не сворачивая, по дороге. Когда-то давно он вырезал для мальчика дудочку из сухого тростника, теперь про нее вспомнил, достал из кармана и отдал. Мальчик молча ее взял. Сбавил шаг, немного погодя отстал, заиграл на дудочке. Что-то расплывчатое, совсем не похожее на мелодию. Или отныне это и будет считаться музыкой?! А может, он слышит последние на земле звуки музыки, вырвавшиеся из-под обломков уничтоженного мира? Оглянулся, посмотрел на сына — сама отрешенность, весь погружен в игру. Подумал, глядя на мальчика: "Вот он: печальный одинокий сиротка. Пришел в селение

сообщить людям о прибытии бродячих актеров. И сам не знает, что волчья стая утащила всю труппу".

Сидел, скрестив ноги, в куче листьев на вершине холма и рассматривал в бинокль долину внизу. Налитая до краев, застывшая река. Темные кирпичные трубы фабрики. Шифер крыш. Старая деревянная водонапорная башня. Огромный бак стянут металлическими обручами. Никакого дыма, никакого движения. Опустил бинокль, сидел, смотрел. Сын спросил:

– Что-нибудь увидел?

– Ничего.

Передал бинокль мальчику. Тот накинул ремешок на шею, поднес бинокль к глазам, настроил. Никакого движения.

– Я вижу дым.

– Где?

– За теми зданиями.

– Какими зданиями?

Мальчик вернул ему бинокль. Навел резкость. Тоненькая струйка дыма.

– Да, теперь и я вижу.

– Что будем делать, пап?

– Думаю, неплохо бы проверить. Только надо быть очень осторожными. Если это целая коммуна, то наткнемся на баррикады. А вдруг окажутся беженцы?!

– Вроде нас?

– Ну да.

– Что, если они плохие?

– Придется рискнуть. Нужно найти что-нибудь поесть.

Тележку оставили в лесу. Пересекли железную дорогу и спустились по крутому склону сквозь заросли черного сухого плюща. Отец держал револьвер в руке. Велел мальчику не отходить. Тот молча повиновался. Продвигались по городу как саперы – прочесывали улицу за улицей. В воздухе едва ощутимый запах дыма от костра. Зашли в магазин, постояли там. Никого. Покопались в мусоре и обломках. На полу валяются ящики от столов, бумага, бесформенные коробки. Ничего полезного. Магазины давным-давно были разграблены. Стекла разбиты. Внутри ничего не разглядеть – темно. Поднялись на второй этаж по рифленым стальным ступеням эскалатора. Мальчик крепко держал отца за руку. Несколько пыльных пальто на вешалке. Искали какую-нибудь обувь. Безрезультатно. Рылись в мусоре – ничего, что могло бы пригодиться. На обратном пути снял с вешалки все пальто, вытряс, повесил себе на руку.

– Пошли.

Надеялся, что где-нибудь завалялась хоть корка. Увы. В супермаркете расшвыривали ногами мусор в проходах: старые коробки, бумага, неизменный пепел. Шарил по полкам в поисках витаминов. Открыл дверь морозильной камеры, из темной глубины накатила волна кислого тошнотворного смрада тления, поспешно захлопнул дверь. Стояли на ули-

це. Смотрел на серое небо. Почти невидимый пар при выдохе. Мальчик чуть не падает от усталости. Взял его за руку.

— Надо дальше искать. Не сдаваться.

Ничего не нашли и в домах на окраине города. На заднем крыльце сохранились ступеньки, поднялись по ним в кухню, начали рыться в шкафчиках. Дверцы нараспашку. Баночка пищевой соды. Стоял и смотрел на нее. Проверили ящики буфета в столовой. Перешли в гостиную. На полу рулоны отклеившихся обоев, точь-в-точь древние манускрипты. Оставил мальчика сидеть на лестнице в обнимку с пальто, сам пошел на второй этаж. Все пропиталось запахом гнили и тления. В первой спальне — высохший труп на кровати, укрыт покрывалом по самую шею. Пряди истлевших волос на подушке. Взялся за края покрывала, сдернул, вытряхнул, свернул. Покопался в ящиках, заглянул в стенной шкаф. Летнее платье на металлической вешалке. Ничего. Спустился вниз. Надвигалась ночь. Взял мальчика за руку, и через парадную дверь они вышли на улицу.

На вершине холма обернулся, поглядел на город. Быстро темнело. Мрак и холод. Мальчику на плечи накинул два пальто, его из-под них совсем не стало видно.

— Пап, очень хочется есть.

— Знаю.

— Мы сможем найти наши вещи?

— Да, я помню, где мы их оставили.

— Что, если их кто-то найдет?

— Не найдут.

— Хорошо бы...

— Не найдут, не найдут. Пошли.

— Что это было?

— Я ничего не слышу.

— Ш-ш-ш.

— Ничего не слышу.

Прислушались. Где-то вдали — собачий лай. Повернулся, посмотрел на погружающийся во тьму город.

— Собака.

— Собака?

— Да.

— Откуда она взялась?

— Не знаю.

— Мы ведь ее не убьем, пап? Не убьем?

— Нет, не убьем.

Глянул на мальчика. Трясется под двумя пальто. Наклонился, поцеловал в мужественный лоб.

— Мы не тронем собаку. Я тебе обещаю.

Ночь провели в машине, припаркованной под мостом. Навалили на себя пальто и одеяла. В беззвучной тьме можно было разглядеть отдельные огоньки — пунктир электрической сети города. Правда, последние этажи небоскребов погружены в темноту. Людям приходится таскать

наверх воду. Выкурить их оттуда — проще простого. Что же они едят? Одному Богу известно.

Сидели, завернувшись в одеяла, смотрели в окно.

— Кто они, пап?

— Не знаю.

Проснулся ночью и какое-то время лежал, прислушиваясь. Не мог вспомнить, где находится. Забавно. Вслух произнес: "Где мы?"

— Что, пап?

— Ничего, все в порядке. Ты спи.

— У нас ведь все будет хорошо, правда?

— Да, обязательно.

— И с нами не случится ничего плохого?

— Нет, конечно.

— Потому что мы несем огонь?

— Да, потому что мы несем огонь.

Утром пошел холодный дождь. Даже машине под мостом досталось: дождь лупил по крыше и плясал на дороге. Сидели в машине и смотрели на улицу сквозь мокрое стекло. Дождь стал стихать только к концу дня. Оставили одеяла и пальто на заднем сиденье и пошли на разведку. Дым костра в сыром воздухе. Собаки больше не слышно.

Нашли несколько вилок и ложек, кое-что из одежды. Фуфайку. Кусок полиэтилена, чтобы укрываться. Чувствовал, что за ними следят, но никого так и не увидел. В кладовке нашли мешок кукурузной муки, бог знает когда попорченной крысами. Просеял муку через кусок оконной сетки от насекомых, набралась пригоршня сухого помета. Развели огонь на цементном полу веранды, он слепил из муки лепешки и испек их на куске жести. Медленно ели одну за другой. Оставшиеся завернул в бумагу и убрал в рюкзак.

Мальчик сидел на ступенях веранды, как вдруг увидел: что-то мелькнуло за домом по другой стороне улицы. Лицо. Мальчишка, приблизительно его же возраста, в драповом пальто, которое ему явно велико, с подвернутыми рукавами. Вскочил, пересек дорогу, побежал к дому по асфальтовой дорожке. Никого. Взглянул на дом, сквозь сухой бурьян понесся в конец двора, к черному неподвижному ручью. Крикнул:

— Вернись. Я не сделаю тебе ничего плохого!

Стоял там и плакал, пока отец не примчался и не схватил его за руку. Прошипел:

— Что ты делаешь? Что ты делаешь?

— Папа, здесь маленький мальчик. Мальчик.

— Нет тут никого, никакого мальчика. Что ты себе вообразил?

— Есть, я видел собственными глазами.

— Я тебе велел не сходить с места. Забыл? Так, нам пора. Пошли.

— Я хочу только на него взглянуть, пап. Краешком глаза.

Отец взял его за руку, пошли назад, мальчик не переставая плакал и без конца оборачивался. Отец сказал:

— Перестань. Нам надо идти.

– Я хочу на него посмотреть.

– Не на кого здесь смотреть. Хочешь умереть? Этого хочешь?

– Мне все равно, – сквозь слезы прошептал мальчик. – Пусть я умру.

Отец остановился. Присел на корточки и обнял сына.

– Прости меня. Не говори так. Ты не должен так говорить.

По мокрым улицам вернулись к виадуку, забрали из машины пальто и одеяла и пошли к железнодорожной насыпи. Поднялись наверх, пересекли пути, углубились в лес. Отыскали тележку и направились к главной дороге.

– А если у мальчика никого нет? Что, если у него нет папы?

– Тут есть люди. Просто они прячутся.

Вывез тележку на дорогу, остановился. С трудом, но все же смог различить полустертые отпечатки колес грузовика в мокром пепле. Почудилось, что пахнет резиной. Мальчик дергал его за полу куртки:

– Пап...

– Что еще?

– Мне за него страшно.

– Я понимаю, но с ним ничего не случится.

– Давай вернемся за ним, пап. Найдем и возьмем с собой. Можем забрать его и собаку. Собака сумеет поймать какую-нибудь зверюшку.

– Не можем.

– А я с ним поделюсь своей едой.

– Перестань. Нельзя нам так делать.

Мальчик опять заплакал:

– Что же с ним будет? Что же с ним будет?

На закате уселись на перекрестке. Разложили куски карты, принялись их изучать. Он ткнул пальцем в карту: "Мы здесь. Вот в этой точке". Мальчик даже не взглянул. Отец сидел, уставившись на паутину черных и красных дорог на карте, уперев палец в то место, где они, по его предположениям, находились. Словно видел внутренним взором их собственные крохотные фигурки, бредущие по карте.

– Мы можем вернуться, – сказал мальчик еле слышно. – Мы недалеко ушли. Еще не поздно.

В лесу, вблизи дороги, устроились на ночь. Костер не развести – заметят, – зато на сухом месте. Съели по две кукурузных лепешки, легли спать в обнимку прямо на земле, закутавшись в одеяла и пальто. Прижал к себе мальчика, немного погодя тот перестал дрожать, уснул.

"Собака, которую он помнит, шла за нами дня два. Я пробовал подозвать ее – без толку. Из проволоки сделал петлю, хотел поймать. Остались три пули, ни одной лишней. Мальчик посмотрел вслед собаке, удаляющейся от нас по дороге, посмотрел на меня, потом опять на собаку и горько заплакал. Умолял не убивать пса, и я ему пообещал, что не трону. Мешок с костями, а не собака. На следующий день она исчезла. Вот что он вспоминает. Никаких маленьких мальчиков он не помнит".

Завернул в тряпочку горсть изюма, положил изюм в карман, в полдень уселись на сухой траве на обочине, стали есть изюм. Мальчик взглянул на отца:

– Это все, что у нас осталось?
– Да.
– Мы скоро умрем?
– Нет.
– Что мы будем делать?
– Попьем воды и пойдем дальше.
– Хорошо.

Вечером прочесали поле – искали место, где можно незаметно разжечь костер. Волокли за собой тележку. Надежда еле теплится: "Завтра найдем что-нибудь поесть". Ночь застала их на раскисшей от дождей дороге. Поплелись по полю к купе деревьев, чьи резкие темные очертания выделялись на фоне освещенного последним светом мира. Когда дошли, стало так темно, хоть глаз коли. Держал мальчика за руку, ногами сбивал ветки и палки в кучу. Разжег костер. Дрова сырые. Соскреб ножом кору и поставил ветки в ряд перед огнем для просушки. Расстелил на земле полиэтилен, покидал на него пальто и одеяла из тележки. Сняли грязную обувь, уселись, протянули руки к огню и сидели в тишине, храня молчание. Задумался, что бы сказать, но ничего не приходило в голову. С ним и раньше бывало такое. Не просто чувство безысходности и пустоты, нет. Ощущение, что мир сокращается до размеров ядра атома. Названия предметов медленно испаряются из памяти вслед за самими предметами. Исчезают цвета. Породы птиц. Продукты. Последними ушли в небытие названия вещей, казавшихся незыблемыми. Он и предположить не мог, что они окажутся такими хрупкими. Сколько их уже безвозвратно исчезло? Даже неизреченные вечные истины лишаются смысла. Силятся сохранить тепло, мерцают недолго и исчезают. Навсегда.

Всю ночь проспали как убитые. К утру огонь совсем погас, одно черное пятно на земле. Он надел заляпанные грязью ботинки и пошел за дровами, согревая дыханием окоченевшие руки. Собачий холод. Наверное, сейчас ноябрь. Может, даже декабрь. Костер разгорелся. Вышел на край лесопосадки, стоял, рассматривал окрестности. Мертвые поля вокруг. Сарай вдалеке.

Грунтовая дорога привела их к холму, на вершине которого когда-то стоял дом. Сгоревший много лет назад. Ржавый корпус бойлера посреди залитого черной водой подвала. Потемневшие жестяные листы с крыши, раскиданные ветром по всему полю. В сарае на дне железного ларя горстка зерен неизвестного злака. Выгребли и съели все, до последней пылинки. После этого пересекли поле и вышли на дорогу.

Шли вдоль каменной стены, за которой виднелись остатки фруктового сада. Ровные, словно по линейке, ряды корявых черных деревьев, в промежутках толстый слой упавших веток. Остановился, посмотрел на поля вокруг. Ветер с востока. Гоняет пушистый пепел по бороздам. То за-

тихнет, то еще сильнее задует. Знакомая картина. На щетине травы — засохшие пятна крови и серые кольца кишок там, где жертву освежевали и откуда потом утащили. Дальше стена "украшена" бордюром из человеческих голов: все на одно лицо, усохшие, с дикими улыбками и крохотными глазками в провалившихся глазницах. В пергаментных ушах — золотые кольца, от каждого дуновения ветерка на черепе встают дыбом жалкие клочья волос. Зубы торчат из десен, как слепки зубных протезов. Грубые татуировки, нанесенные самодельной синькой, выгоревшие от беспощадного солнца. Пауки, мечи, мишени. Дракон. Руничесские символы, искаженные цитаты. Рубцы от старых ран, кружево швов по краям. С неповрежденных черепов сдирали кожу, черепа раскрашивали и каллиграфическим почерком расписывались на лбу, а на одном, белоснежном, тонкими чернильными линиями обозначили соединения костей, словно готовили чертеж сборки. Оглянулся, посмотрел на мальчика. Стоит на самом ветру. Не отходит от тележки. Посмотрел на траву, шевелящуюся от ветра. На ряды темных искореженных деревьев. Кое-где на стене развеваются клочья одежды, все серое под стать пеплу. Напоследок еще раз прошелся вдоль стены, мимо масок, перешагнул через каменную ограду и пошел туда, где ждал его сын. Обнял мальчика за плечи:

— Ну, все, — сказал, — можно идти дальше.

После череды таких происшествий он научился видеть в каждом из них предзнаменование. Этот случай не стал исключением. Проснулся поутру, и повернулся под одеялом, и поглядел сквозь деревья на дорогу, в ту сторону, откуда они сами пришли. И точно, уже показались первые четверо. Одетые кто во что горазд, зато на шее у всех красные повязки. Пунцовые или оранжевые, лишь бы похоже было на красный. Положил руку на голову мальчика: "Ш-ш-ш-ш".

— Что это, пап?

— Люди на дороге. Не поднимай голову. И не смотри.

Так, костер совсем потух, их не выдаст. Тележку вряд ли заметят. Он вжался в землю, смотрел из-под локтя. Армия в кедах, идут строем. Вооружены трехфутовыми кусками труб в кожаной обмотке. Шнуры на запястьях. У некоторых в трубах по всей длине продернуты цепи, закрепленные на концах. Не просто трубы, а настоящие костоломы. Толпа прогромыхала мимо. Маршируют в ногу, как заведенные механические игрушки. Заросли щетиной. Сквозь ткань масок пробивается пар дыхания.

— Ш-ш-ш-ш, — прошептал он. — Ш-ш-ш-ш.

Следующая фаланга несла копья, а может, пики, украшенные лентами. В какой-то примитивной кузнице взяли крепления автомобильных рессор и перековали их на клинки. Мальчик лежал, уткнувшись лицом в сплетенные руки, охваченный ужасом. Прошли мимо в двухстах футах. От их поступи земля слегка дрожала. Громко топали. Вслед за ними двигались телеги, набитые добычей. Телеги тащили рабы, впряженные вместо лошадей, за ними — женщины, человек двенадцать или около того, некоторые — беременные. Замыкала шествие резервная группа мальчиков-катамитов, практически обнаженных несмотря на холод. В

ошейниках, прикованные друг к другу. Прошли. Отец и сын лежали, слушали.

— Ушли, пап?

— Да.

— Ты их рассмотрел?

— Да.

— Это были плохие люди?

— Да, очень.

— Плохих много.

— Много, но они ушли.

Поднялись, отряхнулись, внимательно прислушиваясь к тишине вокруг.

— Куда они идут, папа?

— Не знаю. Кочуют. Это плохой знак.

— Почему это плохой знак?

— Плохой, и все. Не мешало бы свериться с картой.

Вытащили тележку из кустарника, отец поставил ее на колесики, сложили одеяла и пальто, вытолкали на дорогу. Постояли, глядя, как растворяется в дымке силуэт последнего кочевника потрепанной орды. Мираж в потревоженном воздухе.

Во второй половине дня опять пошел снег. Из угрюмой мути сыпались вниз серые снежинки. Потащились дальше. Сероватая грязь тонкой пленкой лежала на темной поверхности дороги. Мальчик постоянно отставал, приходилось останавливаться и его дожидаться.

— Не отставай.

— Ты слишком быстро идешь.

— Буду помедленнее.

Прошли еще.

— Опять молчишь.

— Не молчу.

— Хочешь остановиться?

— Я всегда хочу.

— Нам надо быть осторожнее. Мне, мне надо быть более осторожным.

— Знаю.

— Мы скоро остановимся и передохнем. Хорошо?

— Угу.

— Только найдем подходящее место.

— Хорошо.

Сплошной стеной падал снег. Ничего уже нельзя было разглядеть. Он опять зашелся в кашле, мальчик дрожал. Шли бок о бок, накрывшись куском полиэтилена, толкали по снегу тележку. В конце концов остановились. Ребенок дрожал не переставая.

— Пора остановиться.

— До чего же холодно!

— Знаю.

— Где мы, пап?

— Где мы?
— Ну да.
— Ни малейшего понятия.
— Ты мне скажешь, когда придет пора умирать?
— Не знаю. Мы не собираемся умирать.

Перевернули и оставили тележку в поле посреди зарослей осоки. Он завернул в полиэтилен пальто и одеяла. Пошли искать место для ночлега. "Держись за мою куртку, — сказал он сыну. — Ни в коем случае не отпускай". Пересекли бурьян, уткнулись в изгородь, перелезли на другую сторону, по очереди придерживая голыми руками колючую проволоку. Ледяная на ощупь, скрипит там, где прибита скрепами к столбам. Быстро темнело. Вышли к кедровнику. Деревья мертвые, черные, но кроны пока на месте — какая-никакая, а защита от снега. У корней дерева — спасительный круг черной земли и древесной трухи.

Расположились под деревом, расстелив пальто и одеяла на земле. Он укрыл мальчика, а сам принялся собирать в кучу сухие иголки. Расчистил от снега местечко поодаль от их кедра и натаскал дров: у соседних деревьев отламывал ветки и сучья и стряхивал с них снег. Огонек зажигалки мгновенно воспламенил гнилушки. С такими дровами долго не продержишься. Посмотрел на мальчика:
— Надо принести еще веток. Я недалеко, по соседству.
— Где это — по соседству?
— Я хотел сказать, что буду рядышком.
— А-а, хорошо.

А снега уже нападало прилично. С трудом ковыляя между деревьями, выдергивал торчащие из снега ветки. Когда набрал охапку и вернулся, костер успел прогореть, осталась только кучка потрескивающих угольков. Бросил ветки на угли, пошел за новыми. Такой темп — не угонишься: ветки сгорали быстрее, чем он успевал подтаскивать. В лесу быстро темнело, свет костра едва пробивал черноту ночи. Попытался ускорить шаг, но от усилия чуть не потерял сознание. Оглянулся: мальчик, увязая почти по колено в снегу, ходил между деревьями и собирал сучья.

Снег все шел и шел. То и дело он просыпался, вставал, заново разжигал костер. Развернул полиэтилен и прикрепил его одним краем к дереву, чтобы тепло не так быстро уходило. В оранжевых отблесках огня посмотрел на лицо спящего мальчика: провалившиеся щеки в грязных разводах. Попытался подавить поднимающуюся в душе звериную злобу. Бесполезно. Подумал: "Больше он не выдержит". Даже если снегопад закончится, дорога все равно останется непроходимой. Все замерло, только бесшумно валит снег да искры от костра взвиваются вверх, вспыхивают и гаснут в вечной темноте.

Сквозь дрему услышал непонятный грохот. Один раз, второй. Сел. Костер еле теплился. Прислушался. Громкий продолжительный треск ломающихся сучьев. Опять грохот. Дотянулся до мальчика, стал его трясти:

– Просыпайся. Надо идти.

Сын протер сонные глаза, спросил:

– Что это, пап? А?

– Давай, надо идти.

– Что это?

– Деревья валятся.

Мальчик резко привстал, начал ошеломленно озираться.

– Ничего страшного. Поторапливайся. Пошли.

Собрал вещи, завернул в полиэтилен. Глянул вверх. Снег попал в глаза. От костра остались одни угли, света никакого не дает, дрова на исходе, и вдобавок деревья падают со всех сторон. Мальчик приник к отцу. Отошли в сторону, он попробовал найти свободное место, но в темноте ничего не увидел, и тогда они просто расстелили на земле полиэтилен, сели, накрылись одеялами. Прижал мальчика к себе. Грохот падающих деревьев на фоне глухого шума обрушивающихся на землю снежных шапок сотрясал лес. Покрепче обнял мальчика, сказал, что все будет хорошо, что скоро все закончится. Так оно и вышло. Приглушенные расстоянием тревожные звуки замирали. Повторились пару раз. Затем – полная тишина. Сказал:

– Ну вот, похоже, все закончилось.

Вырыл яму под одним из упавших деревьев, разгребая снег голыми руками. Спрятал окоченевшие руки в рукава. Перетащили в углубление свои пожитки, легли спать. Быстро уснули, несмотря на пробирающую до костей стужу.

Поутру выбрался из укрытия. Полиэтилен провис под тяжестью снега. Встал, осмотрелся. Снегопад закончился, повсюду на снежных буграх лежат вперемешку целые деревья, ветки, сучья, только кое-где кедры остались стоять: голые стволы, без веток – резкие черные пятна на фоне блеклого серого пейзажа. Пробирался среди деревьев, искал, где снега поменьше, оставив мальчика спать под деревом – точь-в-точь зверек в зимней спячке. Снег доходил почти до колен. В поле из-под снега торчат только верхушки осоки, на проволоке изгороди остроконечные снежные наросты, от тишины звенит в ушах. Стоял, прислонившись к столбу, кашлял. Непонятно, как и где искать тележку. Подумал, что тупеет, что голова совсем не работает. "Сосредоточься! – сказал самому себе. – Думай!" Повернулся, чтобы идти обратно, и тут услышал, что мальчик его зовет.

– Надо идти. Здесь нельзя оставаться.

Мальчик угрюмо смотрел на снежные заносы.

– Пойдем.

Дошли до изгороди. Мальчик спросил:

– Куда мы идем?

– Надо найти тележку.

Он стоял не двигаясь, засунув руки под мышки. Отец упрашивал:

– Ну пойдем же. Ты должен...

С трудом пробирался по заснеженному полю. Глубокий серый снег. Снегопад только-только закончился, а пепел уже лежал повсюду тонким

слоем. Заставил себя пройти еще несколько футов, оглянулся. Мальчик упал. Бросил одеяла и пальто, рванулся к сыну. Поднял. Ребенка трясло в ознобе. Обнял его.

— Прости меня. Прости.

Времени на поиски тележки ушло очень много. Наконец выдернул ее из сугроба, достал рюкзак, вытряхнул и спрятал в него одно из одеял. Затем сложил кучей все вещи в тележку, поднял мальчика, усадил сверху, расшнуровал и снял с него ботинки. Вытащил нож, начал вырезать из пальто портянки. Обернул портянками ноги мальчика. Использовал пальто целиком и взялся за полиэтилен. Вырезал большие квадратные куски. Вот так: нога ровно посередине, края поднять и на лодыжке обвязать лентами, вырезанными из подкладки рукавов. Получились онучи. Отошел назад. Мальчик рассматривал обновку.

— Теперь твоя очередь, пап.

Накинул на мальчика еще одно пальто, сел на полиэтилен, обмотал свои ноги на тот же манер. Встал, спрятал руки под куртку, погрел немного, засунул ботинки в рюкзак. Туда же — бинокль и игрушечный грузовик. Встряхнул полиэтилен, и сложил вместе с оставшимися одеялами, и привязал сверху на рюкзак. Закинул рюкзак на плечо, внимательно осмотрел тележку, не забыл ли чего, скомандовал: "Пошли". Мальчик в последний раз посмотрел на тележку, а потом поплелся за ним к дороге.

Он и представить себе не мог, как трудно будет идти. За час преодолели, наверно, не больше одной мили. Остановился, оглянулся, посмотрел на мальчика, спросил:

— Чувствую, ты решил, пришла пора умирать?

— Я не знаю.

— Мы не умрем.

— Хорошо.

— Ты мне не веришь.

— Не знаю.

— С чего ты решил, что мы скоро умрем?

— Не знаю.

— Перестань повторять "не знаю".

— Хорошо.

— Почему ты думаешь, что мы скоро умрем?

— У нас нечего есть.

— Мы что-нибудь найдем.

— Хорошо.

— Как ты думаешь, сколько люди могут прожить без еды?

— Не знаю.

— Ну, а сам ты как думаешь?

— Несколько дней, наверное.

— И что потом? Падаешь замертво?

— Ну да.

— Представь себе, нет. Это долгий процесс. У нас есть вода. Это — самое главное. Без воды долго не продержишься.

— Хорошо.

— Ты мне все равно не веришь.

— Не знаю.

Он внимательно смотрел на сына. Стоит, засунув руки в карманы широченного пальто в тонкую полоску.

— Думаешь, я тебе вру?

— Нет.

— Но считаешь, могу обмануть — не сказать про близкую смерть?

— Да.

— Ладно. Наверное, могу. Только мы не умираем.

— Хорошо.

Он часто рассматривал небо. Бывали дни, когда тучи пепла редели, и тогда на снегу появлялись еле заметные тени от стоящих вдоль дороги деревьев. Продолжали двигаться вперед. Мальчик шагал с трудом, отставал. Отец подождал его, проверил онучи, покрепче затянул завязки. Как только снег начнет таять, ноги тут же промокнут. Часто останавливались перевести дух. Сил тащить сына на руках у него не было. Примостились на рюкзаке и съели по пригоршне грязного снега. К полудню снег начал таять. Миновали сгоревший дом, от которого осталась посреди двора одна кирпичная труба. На дороге провели весь день, те немногие часы, которые можно считать днем. Прошли мили три, не больше.

Решил, что никому в голову не придет отправиться в путь по такой погоде. Как потом выяснилось, ошибался. Остановились на ночь почти на самой дороге, развели огромный костер. Он выуживал из снега ветки и бросал их в языки пламени. Шипение, пар. Не согреться. Те немногие одеяла, что у них были, тоже не могли защитить от холода. Старался не уснуть. Вздрагивал, и просыпался, и искал на ощупь револьвер. Мальчик так исхудал. Изможденное лицо, ввалившиеся глаза. Странная красота. Поднялся, и натаскал побольше веток, и бросил в костер.

Утром вышли на дорогу, остановились. На снегу — колеи. Повозка. Что-то на колесах. Шины резиновые, судя по ширине отпечатков. Следы подошв между колеями. Кто-то прошел здесь ночью. На юг. Самое позднее — на рассвете. Двигаются по ночам. Стоял и размышлял. Внимательно рассматривал отпечатки: люди прошли в пятидесяти футах от костра и даже не притормозили. Стоял и смотрел на дорогу у себя за спиной. Мальчик не спускал с отца глаз.

— Надо уйти с дороги.

— Почему, пап?

— Сюда идут.

— Плохие люди?

— Боюсь, что да.

— А может, хорошие. Может ведь?

Он не ответил. По старой привычке посмотрел на небо, ничего там не увидел.

— Что нам теперь делать, пап?

— Пошли.

— Мы можем вернуться к костру?

– Нет. Пойдем. Скорее всего, у нас не так много времени.
– Очень хочется есть.
– Знаю.
– Что будем делать?
– Надо переждать. Уйти с дороги.
– Они заметят наши следы?
– Да.
– И что же тогда делать?
– Не знаю.
– Они поймут, кто мы?
– Что?
– Ну, когда увидят наши следы. Поймут, кто мы?
Посмотрел на их собственные отчетливые отпечатки ног на снегу.
– Догадаются.
Остановился.
– Надо подумать. Пошли к костру.

Сначала он решил, что надо найти участок дороги, где снег совсем растаял, но потом сообразил, что это не поможет. Наоборот, может вызвать подозрения: следы были и внезапно исчезли. Закидали костер снегом и отошли в лес, покружили там, вернулись назад. Торопились оставить после себя лабиринт следов и уйти лесом на север, не упуская из виду дорогу.

Место, что они выбрали, находилось на возвышении, оттуда хорошо было наблюдать за дорогой и ее окрестностями. Смотри хоть вперед, хоть назад. Расстелил полиэтилен на мокром снегу, укутал мальчика в одеяла.

– Тебе будет холодно. Но, надеюсь, долго мы тут не задержимся.

Меньше чем через час на дороге показались два человека. Мужчины. Идут быстрым шагом, почти бегут. Когда пронеслись мимо, он встал поглядеть, что они будут делать. Стоило ему выпрямиться, как они остановились и один обернулся. Отец замер. Закутан в серое одеяло, так что не особенно выделяется на фоне серого пейзажа, но кто его знает... Может, уловили запах дыма. Постояли, поговорили. Пошли дальше. Он сел.

– Все в порядке, – сказал сыну. – Только нужно подождать. Но, думаю, все обошлось.

Уже пять дней у них крошки во рту не было. И спали мало. Обессилевшие, голодные, на окраине небольшого городишка набрели на старинную усадьбу, расположившуюся на холме над дорогой. Мальчик стоял, не отпуская его руки. Снег на асфальтированной дороге почти весь растаял. Не было его ни в полях, ни в лесу на южной стороне. Стояли перед домом. Онучи давно прохудились, ноги стыли от холода и сырости. Дом – высокий, величественный, с белыми дорическими колоннами при входе. Крытая подъездная арка сбоку. Гравийная дорога вьется по полю среди мертвой травы. Удивительно, но все оконные стекла целы.

– Что это за дом, пап?

— Ш-ш-ш, давай помолчим и послушаем.

Ничего подозрительного. Только ветер шелестит сухими ветками придорожного кустарника да неподалеку что-то скрипит — может, дверь, а может, ставень.

— Пожалуй, надо войти.

— Папа, давай не пойдем.

— Не бойся.

— Нам не надо туда идти.

— Не бойся. Надо же посмотреть.

Медленно приближались к дому по подъездной дороге. Местами снег еще не успел полностью растаять. Но и там никаких следов, снег лежит нетронутый. Высокая изгородь из сухой бирючины. Древнее птичье гнездо в самой гуще веток. Стояли перед входом, разглядывая фасад. Кирпичная кладка. Похоже, в ход пошли кирпичи, вылепленные вручную. Глину брали прямо тут же, пока рыли котлован под дом. С колонн и покореженного навеса свисают закрученные спиралью завитки краски. Фонарь на длинной цепи при входе. Пока поднимались по ступеням, мальчик не отпускал его руку. Одно из окон чуть-чуть приоткрыто, через него протянута веревка: один конец уходит в дом, другой теряется в траве. Пересекли террасу. Он крепко держал сына за руку. Когда-то по этим доскам бегали рабы, приносили в дом кушанья и напитки на серебряных подносах. Подошли к окну и заглянули внутрь.

— А что, если там кто-нибудь есть?

— Никого здесь нет.

— Пошли отсюда, пап.

— Нужно найти что-нибудь съестное. У нас нет выбора.

— Можем в другом месте поискать.

— Все будет хорошо. Пошли.

Вытащил из-за пояса револьвер, толкнул дверь. Она медленно открылась, поворачиваясь на массивных медных петлях. Стояли и слушали. Затем прошли в огромный вестибюль с выложенным мраморными плитками полом: черная, белая, черная, белая, набор домино. Широкая лестница ведет на второй этаж. На стенах топорщатся дорогие обои, все в пятнах и разводах от сырости. На потолке разбухшая от воды известка местами выпячивается, как брюхо толстяка. Желтоватая лепнина с узором из треугольников под потолком изогнулась и отошла от стен. В соседней комнате слева большой ореховый буфет. Дверцы и ящики исчезли, сохранился только остов, слишком большой, не спалить. Наверное, когда-то это была столовая. Постояли в дверном проеме. В углу комнаты бесформенной кучей навалена одежда. Не только одежда. Обувь. Ремни. Пальто. Одеяла и старые спальные мешки. У него еще будет время обо всем этом подумать. Мальчик боится — вцепился в его руку. Пересекли вестибюль, вошли в комнату на противоположной стороне, остановились. Скорее не комната, а зал с высоченным потолком. Камин, облицованный обычными кирпичами, со следами каминной доски и окантовки очага, давным-давно отодранных и пущенных в дело. Перед камином на полу разложены матрасы и постельное белье.

— Папа, — прошептал мальчик.

— Ш-ш-ш.

Холодные угли. Вокруг камина несколько закопченных горшков. Он присел на корточки, поднял один, понюхал и поставил на место. Встал, выглянул в окно: серая вытоптанная трава, серый снег. Веревка, протянутая через окно, оказалась привязанной к медному колокольчику. Колокольчик в свою очередь закреплен в самодельном деревянном зажиме, прибитом к оконной раме. Взял мальчика за руку, и они пошли по узкому темному коридору на кухню. Повсюду валяется мусор, раковина в пятнах ржавчины, запах гнили и испражнений. Прошли в соседнюю небольшую комнату, которая, вероятно, раньше служила кладовкой.

В кладовке на полу увидели то ли дверь, то ли люк, закрытый на большой замок из стальных пластин. Мальчик попросил:

— Пап, пойдем отсюда.

— Интересно, почему ее заперли.

Мальчик потянул его за руку, вот-вот заплачет:

— Пап?!

— Нам нечего есть.

— Я не голоден, пап. Ни чуточки.

— Нам нужен лом или что-то в этом роде.

Вышли через заднюю дверь наружу, мальчик почти висел на отце. Засунул револьвер за пояс и остановился, рассматривая двор. Вымощенная кирпичом дорожка, вдоль которой торчат бесформенные колючие кусты самшита. На кирпичные столбики кто-то водрузил старую железную борону и сверху закрепил чугунный котел литров на сто пятьдесят, который раньше использовали для вытапливания свиного сала. Под котлом — пепел кострища и обуглившиеся деревяшки. Немного в стороне — повозка на резиновых шинах. Он как будто видел и одновременно не видел эту картину. В дальнем углу двора заметил старую коптильню и сарайчик для садового инвентаря. Пошел туда, почти волоком таща за собой мальчика. В сарае перебрал инструменты в бочке, остановил свой выбор на лопате на длинном черенке. Взвесил в руке и сказал сыну:

— Пошли.

В кладовой отколол дерево вокруг замка, только тогда смог просунуть острый край лопаты под скобу, сильно нажал. Замок был крепко прикручен болтами к люку, выдрать его не получилось. Зато удалось приподнять крышку люка и засунуть под нее лопату. Выпрямился, достал зажигалку. Встал на конец черенка, выше приподнял край люка, наклонился и схватился за него руками.

— Пап, — прошептал мальчик.

Остановился. Сказал:

— Послушай меня. Прекрати истерику. Мы голодаем. Тебе непонятно?

Поднял крышку люка и откинул ее до упора, так что она упала на пол.

— Жди меня здесь.

— Я с тобой.

— А не страшно?

— Страшно.

— Ну хорошо, иди за мной, только не отставай.

Начал спускаться по грубым деревянным ступенькам. Пригнул голову, щелкнул зажигалкой, поводил ею туда-сюда, будто в знак приветствия. Холодно и сыро. Невыносимый смрад. Мальчик цеплялся сзади за его куртку. Смог разглядеть кусок каменной стены. Глиняный пол. Старый матрас в темных пятнах. Согнулся и спустился еще на одну ступеньку. Вытянул руку с зажигалкой как можно дальше. Около задней стены, загораживая руками лица, пытаясь спрятаться, сбились в кучу голые люди, мужчины и женщины. На матрасе лежит мужчина, ноги отрезаны по самые бедра, концы культи — черные и обожженные. Ужасающая вонь.

— Боже! — прошептал он.

Один за другим они повернулись к нему, щурясь с непривычки от тусклого света.

— Помогите, — зашептали. — Спасите нас.

— О боже, — сказал он. — О боже.

Развернулся, схватил мальчика.

— Скорее, — крикнул. — Скорей.

Выронил зажигалку. Нет времени ее искать. Толкал мальчика наверх.

— Помогите нам, — призывали они.

— Быстрей.

У основания лестницы появилось бородатое лицо. Моргает.

— Пожалуйста, прошу вас, пожалуйста.

— Да быстрей же! Ради всего святого...

Протолкнул мальчика в лаз, тот вылетел в кладовую и растянулся на полу. Отец вылез, схватился за крышку, поднял и отпустил. Крышка с грохотом захлопнулась. Повернулся, чтобы поднять мальчика. Тот уже вскочил и приплясывал от страха. Разозлился:

— Умоляю, сейчас же перестань.

Но мальчик указывал на что-то в окне. Он взглянул туда и похолодел: через поле по направлению к дому шли четверо бородатых мужчин и две женщины. Схватил мальчика за руку.

— Боже! Бежим!

Вихрем понеслись к входной двери. Скорее, вниз, во двор! Пробежав половину подъездной дороги, свернули в поле. Оглянулся. Изгородь из бирючины частично их скрывала, но он знал — в лучшем случае в их распоряжении несколько минут. На краю поля они врезались в стену сухого тростника, выскочили на дорогу, пересекли ее и углубились в лес. Крепче сжал руку мальчика.

— Беги, — прошептал ему. — Надо бежать.

Повернулся, поискал глазами дом. Ничего не видно. Если люди свернули на подъездную дорогу, то наверняка видели, как он бежал с мальчиком среди деревьев. Сейчас решается их судьба. Сейчас решается их судьба. Бросился на землю, потянув мальчика за собой.

— Ш-ш-ш.

– Они нас не убьют, пап?

– Ш-ш-ш.

Лежали среди листьев и пепла. Сердца колотятся. Почувствовал приближение приступа кашля. Надо бы закрыть рот рукой, но в одну руку вцепился мертвой хваткой мальчик, а в другой – револьвер. Пришлось усилием воли подавить кашель. Не так-то просто, да еще нужно слушать, не идут ли те. Слегка приподнял голову, осторожно посмотрел по сторонам. Прошептал:

– Не поднимай голову.

– Идут сюда?

– Нет.

Медленно поползли по листьям в низину. Прижав к себе мальчика, лежал и слушал. С дороги долетали их голоса. Один – женский. Потом различил шорох листьев. Взял руку сына, вложил в нее револьвер.

– Держи.

Мальчик еще больше испугался. Обнял его, прижал к себе. Так лежали некоторое время. Какой худой! Сказал ему:

– Не бойся. Если они тебя найдут, тебе придется это сделать. Понял? Ш-ш-ш. Не плачь. Ты меня слушаешь? Ты уже все знаешь. Засовываешь в рот и направляешь вверх. Нажать на курок надо сильно и резко. Понял? Хватит реветь. Ты понимаешь, о чем я?

– Да, кажется.

– Нет, так не пойдет. Ты все понял?

– Да.

– Скажи: "Да, папа, я все понял".

– Да, папа, я все понял.

Посмотрел на мальчика: один ужас в глазах. Забрал у него револьвер.

– Нет, ты не понял.

– Я не знаю, что мне делать, папа. Не знаю, что делать. А где будешь ты?

– Ладно, не волнуйся.

– Я не знаю, что мне делать.

– Ш-ш-ш. Я же тут. И никогда тебя не оставлю.

– Обещаешь?

– Да. Обещаю. Я собирался побежать, попробовать отвлечь их на себя... Но не могу тебя оставить.

– Пап?

– Ш-ш-ш. Лежи, не поднимайся.

– Я ужасно боюсь.

– Ш-ш-ш.

Лежали, слушали. Сможешь это сделать? Когда наступит час? Когда придет время, времени на это не будет. Этот час уже пробил – сейчас или никогда. Прокляни Бога и умри. Что, если револьвер не выстрелит? Должен выстрелить. А если даст осечку? Сумеешь тогда разбить камнем эту, такую дорогую, голову? Неужели внутри тебя живет человек, про которого ты ничего не знаешь? А вдруг? Обхвати сына руками. Вот так. Душа не умеет лгать. Притяни к себе. Поцелуй. Быстро.

Он ждал. С маленьким блестящим револьвером в руке. Опять запершило в горле — кашель. Напрягся что было сил, стараясь загнать его внутрь. Мучительно вслушивался — ничего. Прошептал:

— Я никогда тебя не оставлю. Слышишь?

Лежал в куче листьев, держа в объятиях дрожащего ребенка. Сжимая пистолет. Не меняя позы. Весь вечер. Пока не наступила холодная беззвездная ночь. Их спасительница. Начал верить, что у них еще есть шанс. Прошептал:

— Надо ждать.

До чего же холодно! Попытался подумать, но уж слишком кружилась голова. Страшная слабость. Все эти разговоры про "побегу, отвлеку на себя..." Не может он бежать. Когда сгустилась непроницаемая темнота, развязал рюкзак, вытащил одеяла, укрыл сына. Вскоре мальчик уже спал.

Среди ночи из дома неслись душераздирающие крики. Старательно закрывал руками мальчику уши. Некоторое время спустя крики прекратились. Лежал, прислушивался. Когда продирался к дороге сквозь заросли тростника, видел короб. Что-то вроде домика с детской площадки. Догадался, что там они как раз и прячутся, следя за дорогой. Лежат в засаде, звонят в колокольчик, дают знать сообщникам, когда кто-то появляется. Задремал, внезапно проснулся. Кто-то идет? Шуршат под ногами листья? Нет, показалось. Просто ветер. Никого. Сел и посмотрел в сторону дома. Сплошная темень. Растолкал мальчика.

— Вставай, пора идти.

Мальчик ничего не ответил, но он знал, что сын проснулся. Собрал одеяла, прикрутил к рюкзаку. Прошептал:

— Ну пойдем. Пожалуйста.

В кромешной темноте брели по лесу. Где-то там, наверху, сквозь тучи пепла пробивается слабый свет луны, можно различить очертания деревьев. Шатались, как пьяные.

— Если они нас поймают, то убьют. Правда, пап?

— Ш-ш-ш, помолчи, пожалуйста.

— Ведь убьют?

— Ш-ш-ш. Да, убьют.

Он плохо представлял себе, в каком направлении они двигались, и опасался, что по ошибке пойдут по кругу и выйдут к дому. Попытался вспомнить: когда-то давно слышал про что-то подобное или это только байки? Будто, заблудившись, люди идут всегда в одну и ту же сторону. Кажется, не везде так. Или это зависит от того, правша ты или левша? Решил не ломать себе больше голову. Сам подумай, разве остались еще образцы для подражания?! Совсем мозги помутились! Фантомы, пребывавшие в спячке тысячи лет, начали пробуждаться. Вот это точно. Мальчик с трудом держался на ногах. Просился на руки, язык заплетался от усталости. Отец подумал-подумал и поднял сына, хотя знал, что скоро сам устанет и тащить его не сможет. Мальчик в ту же секунду уснул, уронив голову ему на плечо.

Очнулся в темноте, вокруг — лес. Лежал в куче листьев, все тело била крупная дрожь. Сел, стал на ощупь искать мальчика. Прижал руку к его костлявой груди: теплый, сердце бьется.

Проснулся, когда уже рассвело. Откинул одеяло, встал, распрямился. И чуть не упал. С трудом устоял на ногах, огляделся. Только серые деревья вокруг. Как далеко они забрались? Поднялся на пригорок, присел на корточки и стал смотреть, как наступает день. Неяркий восход, холодный обманчивый мир. Вдалеке сосновый лес или это ему только кажется? Черный, голый. Бесцветный мир колючей проволоки и траурных повязок. Вернулся, и разбудил сына, и заставил его сесть. Сонный, все время валится вперед. Сказал:

— Надо идти дальше. Надо идти дальше.

Тащил сына через поле, каждые пятьдесят шагов останавливаясь передохнуть. Добравшись до сосен, опустился на колени и положил его на песок, укрыл одеялами и сел, наблюдая за спящим ребенком. Похож на узника концлагеря. Кожа да кости, изможден, всего боится. Наклонился и поцеловал его. Поднялся, двинулся к опушке, затем обошел по периметру место их стоянки. Хотел убедиться, что им ничто не угрожает.

К югу, на краю поля различил очертания дома и хлева. Дорога сворачивает за деревьями, дальше — длинный, до самого дома, участок с мертвой травой по обеим сторонам. Сухой плющ на каменной стене, почтовый ящик, забор вдоль основной дороги, за ним — мертвые деревья. Холод и безмолвие. Все окутано непроницаемым туманом. Пошел назад и сел рядом с сыном. От безнадежности и отчаяния в тот раз потерял голову. Никогда так больше не делай. Что бы ни произошло.

Ребенок спит и спит, не просыпаясь. А проснется, опять напугается до смерти. Такое раньше уже случалось. Сначала подумал, что надо бы разбудить и предупредить, но решил, что в таком состоянии мальчик все равно ничего не запомнит. Он научил его скрываться в лесу не хуже фавна. Сколько еще сын проспит? В конце концов вытащил револьвер из-за пояса, положил ребенку под бок, встал и пошел.

Подобрался к хлеву со стороны холма, все время останавливаясь и прислушиваясь. Шел среди черных узловатых пней — это все, что осталось от яблоневого сада, — и сухой травы. Высокой, по колено. Стоял в дверях и слушал. Слабый свет пробивается сквозь рейки обшивки. Прошелся вдоль пыльного стойла. Стоял в центре, слушал. Ничего подозрительного. Полез на чердак по лестнице, одолевала слабость, боялся, что не доберется до верха. Подошел к высокому чердачному окну, посмотрел на расстилающиеся внизу мертвые серые квадраты полей, забор, дорогу.

На полу чердака свалены рулоны прессованного сена. Сел на корточки, насобирал пригоршню зерен, сидел, жевал. Жесткие, сухие, пыльные. Должно же в них остаться хоть что-то питательное! Встал, и подкатил два рулона к краю, и скинул вниз. Один тяжелый удар, потом второй.

Пыль столбом. Вернулся к окну и стал внимательно рассматривать дом, ту его часть, что виднелась за углом хлева. Затем спустился по лестнице вниз.

Трава между домом и хлевом нетронутая. Поднялся на веранду. Москитная сетка прогнила и еле держится. Детский велосипед. Дверь на кухню открыта. Пересек веранду и остановился при входе в дом. Стены отделаны дешевыми панелями под дерево, которые от сырости разбухли, во многих местах отвалились и попадали на пол. Стол с красной пластмассовой столешницей. Подошел к холодильнику и открыл дверцу: внутри сидело что-то серо-пушистое. Захлопнул дверь. Повсюду мусор. Нашел в углу метлу, потыкал ею там, сям. Влез на кухонную стойку, пошарил рукой по пыльным полкам: так, мышеловка, какой-то пакетик. Сдул пыль. Растворимый порошок для приготовления виноградного сока. Спрятал в карман куртки.

Осмотрел весь дом — комнату за комнатой. Ничего. В ящике прикроватной тумбочки нашлась ложка. Положил в карман. Может, завалялась какая-нибудь одежда в стенном шкафу или постельное белье? Нет, ничего. Вернулся в гараж. Покопался в инвентаре. Грабли. Совок. Банка с гвоздями и болтами на полке. Резак. Повернул — лезвие ржавое — положил обратно. Подумал, опять взял. В банке из-под кофе нашел отвертку, развинтил рукоять. Внутри в специальном отделении лежали четыре новехоньких лезвия. Вытащил негодное, положил на полку, вставил новое, свинтил рукоять и положил резак в карман. И отвертку туда же.

Вышел из дома и направился в хлев. Захватил с собой кусок чистой материи, чтобы сложить туда зерна, но, когда вошел внутрь, остановился и стал слушать, как завывает ветер. Скрип железа где-то наверху, на крыше, прямо над головой. В хлеву до сих пор пахло коровами, и он стоял и размышлял о них, и вдруг его осенило — они же все вымерли. Неужели это так? Возможно, какая-нибудь корова живет себе где-нибудь, жует сено? Как такое может быть! Какое сено? Кто ее сберег? За дверью шуршал в сухой траве ветер. Вышел наружу, стоял, смотрел на сосны, в корнях которых спит сын. Пошел по саду, опять остановился. На что-то наступил. Сделал шаг назад, наклонился и раздвинул траву. Яблоко. Схватил и стал рассматривать на свету. Жесткое, коричневое, съежившееся. Вытер его тряпкой и впился зубами: сухое, почти безвкусное. И все же яблоко. Съел целиком. С косточками. Подержал хвостик между большим и указательным пальцами, а потом бросил. Начал прочесывать траву. На ногах до сих пор доморощенные онучи из кусков пальто и лохмотьев полиэтилена. Сел, все это снял, распихал тряпье по карманам и пошел босиком по рядам среди пней. Дойдя до конца сада, нашел четыре яблока, засунул их в карман, пошел обратно. Так прочесал один за другим все ряды, оставляя на траве запутанную дорожку следов. Набрал яблок столько, что с трудом мог их нести. Искал вокруг пеньков и набил полные карманы, даже капюшон куртки, и целую охапку нес, скрестив руки на груди. Высыпал кучей в дверях хлева, сел и стал заворачивать озябшие ноги в тряпье.

В кладовой рядом с кухней заметил плетеную корзину, полную стеклянных банок под закрутку. Выволок ее на середину комнаты, вытащил банки и вытряхнул из корзины пыль и землю. Внезапно остановился. Что это? Водосточная труба. Решетка для вьющихся растений. Темная змейка мертвой лозы ползет по трубе — точь-в-точь график работы компании, которой грозит банкротство. Вышел во двор и стал рассматривать дом. В окнах отражается серый, ничем не примечательный день. Труба спускалась по углу веранды. Он все еще держал корзину, наконец опустил ее на траву и опять взобрался по ступеням. Труба тянулась вдоль колонны и уходила в цементную яму. Смахнул с крышки мусор и куски прогнившей сетки. Пошел на кухню за метлой, вернулся, начисто подмел, поставил метлу в угол и поднял крышку бака. Внутри оказался поддон, в нем — месиво из серой слизи и перегнивших листьев и веточек. Вытащил поддон и поставил на пол. Под поддоном — белая галька. Отгреб камушки. Следующий слой — древесный уголь, то, что было ветками и сучьями, прошедшими через горнило пламени. Олицетворение самих деревьев, только в угле. Вернул поддон на место. В полу обнаружил позеленевшее бронзовое кольцо. Дотянулся до метлы, смел пепел. В досках обозначились линии распила. Тщательно подмел доски, опустился на колени, просунул пальцы в кольцо и откинул крышку люка. Внизу в темноте разглядел бак, наполненный водой. Чистой и сладкой. Кажется, почувствовал ее аромат. Лег на живот, сумел дотянуться пальцами до поверхности воды. Придвинулся поближе, и зачерпнул, и понюхал, и попробовал на язык, а потом выпил. Долго лежал на краю, зачерпывая пригоршнями воду, пил и пил. Ничего вкуснее этой воды в жизни не пробовал.

Пошел назад и забрал из кладовки две стеклянные банки и старый синий эмалированный ковшик. Вернулся к баку. Тщательно вытер ковшик, зачерпнул им воды и ополоснул банки. Наклонился, и опустил банку в воду, и затем вытащил — с донышка капает вода, какая прозрачная! Поднял банку к свету: одна-единственная песчинка плавно опускается на дно. Обтер край, отпил. Пил медленно, пока не опорожнил почти всю банку. Живот раздулся. Мог бы еще столько же выпить. Перелил остатки воды в другую банку и еще раз ее ополоснул, обе наполнил доверху, опустил крышку люка, и поднялся, и с набитыми яблоками карманами и банками с водой зашагал через поле в сторону сосен.

Он отсутствовал дольше, чем рассчитывал, а потому на обратном пути торопился как мог. При каждом шаге вода бултыхалась и булькала в животе. Остановился перевести дух, тронулся дальше. Добрался до рощи: мальчик так и лежал, не меняя позы, спал. Отец поставил банки на землю, и взял револьвер, и сунул его за пояс, а потом просто сидел, смотрел на спящего сына.

Всю вторую половину дня провели, сидя в ворохе одеял: ели яблоки и запивали их водой. Вытащил пакетик с сухим соком и высыпал его в банку, размешал и дал мальчику. "Какой ты, пап, молодец!" Ребенок нес вахту, пока отец спал, а вечером они обулись, пошли к хлеву и собрали оставшиеся яблоки. Наполнили свежей водой три банки, на полке в

кладовке нашлись подходящие герметичные крышки. Потом он завернул банки в одно из одеял и упаковал в рюкзак. Сложил яблоки. Сверху прикрутил остальные вещи. Рюкзак на плечо, и вперед. Стояли в дверях, наблюдая, как меркнет свет на западе. Затем пошли вниз, к дороге.

Мальчик цеплялся за полу отцовской куртки. Держались поближе к краю дороги, стараясь нащупывать в темноте дорожное покрытие. Вдалеке раздавались раскаты грома, некоторое время спустя засверкали молнии. Достал из рюкзака кусок полиэтилена, но от того мало что осталось, а дождь уже зарядил. Спотыкаясь, шли бок о бок. Спрятаться от дождя негде. У каждого был капюшон на куртке, но какое там, сами куртки промокли почти насквозь и от влаги стали тяжеленными. Остановился и попытался получше растянуть полиэтилен. Мальчик дрожал как осиновый лист.

— Замерз? Да?
— Да.
— Если остановимся — совсем окоченеем.
— Я уже окоченел.
— Что будем делать?
— Мы можем здесь заночевать?
— Да, пожалуй. Давай остановимся здесь.

На его памяти из череды длинных ночей эта, пожалуй, самая длинная. Они расположились на мокрой земле в стороне от дороги: разложили одеяла и накрылись сверху куском полиэтилена, по которому барабанил дождь. Он обнял мальчика, немного погодя тот согрелся и уснул. Грозовые тучи, тяжело перекатываясь, уходили на север, пока не исчезли из виду, но дождь все не сдавался. Отец спал неспокойно, то и дело просыпался. В одно из его пробуждений дождь стал затихать и наконец полностью прекратился. Гадал, который час, вряд ли уже полночь. Раскашлялся, да так сильно, что разбудил мальчика. До рассвета еще далеко. То и дело приподнимался, чтобы посмотреть на восток. Наконец-то утро!

Чтобы отжать куртки, обернул их вокруг ствола невысокого деревца и туго закрутил: сначала одну, потом другую. Заставил мальчика раздеться догола, укутал его в одеяло и, пока тот трясся от холода, постарался как можно тщательнее выжать воду из его одежды. То же самое проделал со своей. Клочок земли, на котором они спали, был сухой. Там и уселись, завернувшись в одеяла, и позавтракали яблоками и водой. Вскоре опять зашагали по дороге: согнувшись, с надвинутыми на лица капюшонами, дрожа от холода в своем тряпье — вылитые нищенствующие монахи в поисках подаяния.

К вечеру просохли. Попробовал определить их местонахождение на карте, но совсем запутался. На закате стоял на взгорке и пытался сориентироваться на местности. Спустились с холма, и пошли по узкой проселочной дороге, и вышли к мосту над сухим ручьем, и сползли по откосу, и залезли под мост. Мальчик спросил:

— Разведем костер?
— У нас нет зажигалки.

Мальчик отвернулся.

– Прости. Я ее выронил. Не хотел тебе говорить.

– Ничего.

– Я найду кремень. Уже начал искать. К тому же у нас сохранилась бутылочка бензина.

– Хорошо, хорошо.

– Ты очень замерз?

– Нет, не очень.

Мальчик лежал, положив голову ему на колени. Через некоторое время:

– Они хотят тех людей убить, правда?

– Да.

– Почему они так делают?

– Не знаю.

– Собираются их съесть?

– Не знаю.

– Они ведь их съедят, я прав?

– Да.

– Мы не могли им помочь, потому что и нас бы тоже съели. Так?

– Да.

– Поэтому-то мы им не помогли.

– Правильно.

– Ну хорошо.

Проходили через городишки, в которых рекламные щиты надрывались, предупреждая об опасности. Щиты замазаны тонким слоем краски, чтобы можно было заново на них писать. Сквозь краску проступает текст старой рекламы исчезнувших без следа вещей. Сидели на обочине и приканчивали последние яблоки.

– Что с тобой?

– Ничего.

– Мы обязательно найдем что поесть. Всегда находили и теперь найдем.

Мальчик ничего не сказал. Отец внимательно на него смотрел.

– Тебя ведь не это беспокоит?

– Да ладно...

– Скажи мне.

Мальчик отвернулся, смотрел на дорогу.

– Я хочу, чтобы ты мне сказал. Не бойся.

Сын отрицательно помотал головой.

– Посмотри на меня.

Мальчик повернулся. Видно, что плакал.

– Скажи мне, пожалуйста.

– Мы ведь никого не съедим, правда?

– Нет, конечно нет.

– Даже если будем умирать с голоду?

– Мы и сейчас голодаем.

– А ты говорил, что нет.

– Я говорил, что мы еще не умираем. А что не голодаем, я не говорил.

– Все равно, мы никого не будем есть.
– Не будем.
– Ни за что.
– Ни за что.
– Потому что мы хорошие.
– Да.
– И еще мы несем огонь.
– Именно так.
– Ну хорошо.

В канаве нашел куски кремня, а может, сланца, но оказалось, что проще высечь искры, проводя плоскогубцами сверху вниз по валуну, только надо заранее сложить в кучу пропитанные бензином щепки прямо под валуном. Пролетели два дня. Еще три. По-настоящему голодали. Разграбленная, истерзанная местность. Все растащено. Все, до последней крошки. Студеными ночами темно как в гробу; предрассветная тишина звенит в ушах, хоть вешайся. Как утро перед битвой. У мальчика кожа на лице давно приобрела восковой оттенок и просвечивает. Огромные задумчивые глаза делают его похожим на инопланетянина.

Понимал, что смерть не за горами. Пора искать место для укрытия, где бы их никто не нашел. Бывали моменты, когда он, сидя рядом со спящим сыном, начинал безудержно рыдать. Смерть его не пугала. Не знал, отчего плакал. Может, от мыслей о красоте. Или о доброте. Про которые давно забыл и думать. Остановились в мрачном лесу, и процедили воду из лужи, и пили. Во сне привиделось, что мальчик лежит на специальной доске, на которую в прежние времена зимой клали умерших. Проснулся в холодном поту. В свете дня он легко мог справиться с этими страхами, но вот по ночам... Больше не засыпал, опасаясь, что этот ужасный сон повторится.

Прочесывали пепелища домов. А ведь раньше их избегали. В подвале среди мусора и ржавых отопительных труб покачивается в черной воде труп. Наполовину сгоревшая гостиная. Разбухшие от воды доски отошли от стен и выгибаются горбом. Пропитанные водой книги на полке. Вытащил одну, полистал, поставил обратно. Сырость. Гниль. В ящике нашел свечку. Не зажечь – нечем. Но положил свечку в карман. Вышел из развалин в сером полумраке, остановился, вдруг ясно осознал суть этого мира: неумолимое холодное движение планеты; Земля погибла, не оставив наследников; безжалостная темнота; слепые псы солнца в вечном движении; гнетущая черная пустота вселенной. И где-то там они – два загнанных зверя, дрожащих, как лисы в укрытии. Жизнь взаймы: время – в долг, мир – тоже, даже глаза, чтобы ужасаться и лить слезы, и те – в долг.

На окраине небольшого городка уселись в кабине грузовика, отдыхали, смотрели сквозь промытое недавними дождями стекло. Сами серые от пепла. Измученные. На обочине торчал еще один щит с предупреждением о смертельной опасности. Выцветшие от времени буквы. Он чуть не рассмеялся.

— Прочел?
— Да.
— Не бери в голову. Никого здесь нет.
— Умерли?
— Скорее всего.
— Жаль, что с нами нет того маленького мальчика.
— Пошли дальше.

Захватывающие сны. Так не хочется просыпаться! Снятся вещи, навсегда исчезнувшие с лица земли. Замерз, пришлось встать и заняться костром. В памяти сохранилась картинка, как она ранним утром идет по траве к дому в тончайшем розовом платье, обтягивающем грудь. Решил, что каждое такое воспоминание наносит вред оригиналу. Как раньше на вечеринках играли в "испорченный телефон": скажи слово и передай дальше. Но не слишком увлекайся. Учти: каждый раз, осознанно или нет, ты изменяешь то, что вспоминаешь.

Шли по улицам, завернувшись в вонючие грязные одеяла. Держал револьвер у пояса, другой рукой — мальчика. На самом краю города вышли к одиноко стоящему посреди поля дому. Пересекли поле, вошли в дом, переходили из комнаты в комнату. Увидели свои отражения в зеркале, и он инстинктивно приготовился стрелять. Мальчик прошептал:
— Это же мы, папа. Это наши отражения в зеркале.

Стоя на пороге задней двери, смотрел вдаль: поля, за ними — дорога, за дорогой — печальные просторы. На веранде гриль: бочка галлонов так на пятьдесят-пятьдесят пять автогеном разрезана пополам по горизонтали и установлена на железную подставку. Несколько сухих деревьев во дворе. Забор. Металлический сарайчик для инструментов. Стянул с себя одеяло и укутал мальчика.
— Подожди меня здесь.
— Я с тобой.
— Я только посмотрю. Я все время буду у тебя на виду. Обещаю.

Пересек двор, рывком открыл дверь сарая, револьвер — наготове. Оказалось, что-то вроде садовой будки: земляной пол, металлические полки с пластиковыми цветочными горшками. Все покрыто толстым слоем пепла. В углу лопаты и грабли. Газонокосилка. Под окном — скамейка, рядом — железный ящик. Открыл: старые каталоги, пакетики с семенами. Бегония. Вьюнки. Положил в карман. На кой черт они ему? На верхней полке заметил две банки машинного масла. Засунул револьвер за пояс и потянулся за банками, достал и поставил на скамейку. Банки — старого образца, из картона с металлическими крышками. Картонные стенки пропитались маслом, но, похоже, банки почти полные. Он пошел к двери и выглянул на улицу. Мальчик сидел на ступеньках, закутавшись в одеяла, и внимательно за ним наблюдал. Обернувшись, обнаружил стоящую за дверью канистру. Подумал, что наверняка пустая, но, когда поддел канистру ногой и опрокинул на пол, изнутри донесся плеск. Поднял канистру, и дотащил до скамейки, и попытался отвернуть пробку — как бы не так, не поддается. Достал плоскогубцы из кармана

куртки, как можно шире их развел, примерил — как раз. Отвернул пробку, и положил ее на скамейку, и понюхал канистру. Противный запах. Простояла много лет. И все же бензин есть бензин, будет гореть даже после стольких лет. Завинтил пробку и убрал плоскогубцы в карман. Огляделся, ища емкость поменьше, ничего не нашел. Зачем выбросил бутылку? Надо будет посмотреть в доме. Не забыть.

На обратном пути чуть не потерял сознание. Решил, что всему виной бензиновые пары. Мальчик не спускал с него глаз. Сколько дней осталось до смерти? Десять? Никак не больше. Не мог сосредоточиться. Почему он именно здесь остановился? Повернулся и посмотрел на траву. Пошарил ногой. Опять повернулся и вернулся в будку. Вышел с садовой лопатой и начал копать в том самом месте, где чуть не грохнулся без сознания. Воткнул лопату в землю, она вошла до середины, а потом раздался звук удара обо что-то деревянное и полое. Начал разгребать землю.

Дело идет с трудом. Боже, как он устал! Облокотился на черенок лопаты. Поднял голову и посмотрел на мальчика. Тот сидел неподвижно. Опять взялся за дело. Не прошло и получаса, как выбился из сил и стал отдыхать после каждого взмаха лопатой. Наконец показался кусок фанеры, обитой рубероидом. Отгреб землю по краям. Дверь размером приблизительно три на шесть футов, с краю — кольцо с замком, упрятаны в целлофановый пакет. Отдыхал, держась за рукоять лопаты, упершись лбом в треугольник согнутого локтя. Когда в очередной раз распрямился, увидел, что мальчик стоит рядом, всего в нескольких шагах. Испуган. Шепчет:

— Пап, не поднимай.

— Не волнуйся.

— Пожалуйста, пап. Ну пожалуйста.

— Ничего страшного.

— Нет, мне страшно.

Кулаки прижаты к груди, в страхе подпрыгивает. Отец бросил лопату, обнял его.

— Ну, ну, успокойся. Пошли посидим на крыльце, отдохнем.

— А потом пойдем дальше?

— Давай посидим.

— Хорошо.

Устроились в одеялах на крыльце и смотрели на улицу. Так сидели довольно долго. Пытался объяснить мальчику, что никаких трупов, закопанных во дворе, нет и быть не может, но тот не хотел слушать, заплакал. Чуть погодя сам начал верить, что страхи мальчика оправданны.

— Давай посидим. Даже говорить не будем.

— Хорошо.

Вошли в дом и заново его осмотрели. Нашел пивную бутылку и старую потрепанную занавеску, и оторвал от нее кусок, и пропихнул его в бутылку разогнутым крючком от вешалки.

— Ну вот, теперь у нас есть новая лампа.

— На чем она будет гореть?

— Я нашел немного бензина. В сарае. И масло. Я тебе покажу.

— Хорошо.

— Пошли. Все будет хорошо, клянусь.

Но когда наклонился к мальчику и заглянул под одеяло, то сильно испугался: что-то в сыне надломилось. Навсегда. И уже никак этого не исправить.

Вышли из дома и пошли к сараю. Поставил бутылку на скамейку и достал отвертку, и в одной из банок пробил отверткой дырку, а потом еще одну, чтобы масло лучше вытекало. Вытащил из бутылки фитиль и наполовину заполнил ее маслом, тяжелым, тягучим от холода и длительного хранения. Отвинтил крышку на канистре, и из пакетика с семенами свернул воронку, и долил бензина в бутылку. Пальцем ее закупорил и хорошенько встряхнул. Затем отлил немного в глиняную миску, и взял фитиль, и при помощи открывалки пропихнул его внутрь бутылки. Из кармана достал кусок кремня и плоскогубцы и стал кремнем ударять по зазубренным краям. Пару раз стукнул, а потом остановился и добавил бензина в плошку.

— Может вспыхнуть.

Мальчик кивнул.

Удалось высечь несколько искр, от них загорелся бензин — ш-ш-ш-у-у-у-х. Наклонился, и схватил бутылку, и слегка ее наклонил, и поджег фитиль, и затушил пламя в плошке, и протянул коптящую бутылку мальчику.

— На, держи.

— И что я должен с ней делать?

— Прикрывай ладонью огонь. Не дай потухнуть.

Он встал и вытащил револьвер из-за пояса. Сказал:

— Дверь в земле на первый взгляд ничем не отличается от остальных. Но это только на первый взгляд. Я знаю, тебе страшно. Это нормально. Там могут оказаться полезные вещи, поэтому надо взглянуть. Все остальные места мы проверили. Это — последнее. Мне нужна твоя помощь. Если не хочешь держать лампу, бери револьвер.

— Лучше подержу лампу.

— Пойми, хорошие люди поступают именно так. Они продолжают начатое и не сдаются.

— Я понимаю.

Пошли во двор, оставляя за собой черный шлейф дыма от коптящего светильника. Засунул револьвер за пояс, и взял лопату, и стал ковырять фанеру вокруг засова на двери. Подсунул острие лопаты под засов и наполовину его выдернул. Потом нагнулся, ухватился за замок и, хорошенько крутанув, выдернул и забросил его в траву. Глянул на сына и спросил: "Ты как, ничего?" Мальчик молча кивнул, держа светильник перед собой. Рывком поднял дверь и откинул ее на траву. Земля с шорохом посыпалась вниз по узким ступенькам из грубых неотесанных досок. Протянул руку и забрал у ребенка светильник. Начал спускаться, но вдруг развернулся, и потянулся к сыну, и поцеловал его в лоб.

Стены бункера сложены из цементных блоков. Бетонный пол выложен кафелем. Парочка кроватей с панцирными сетками — по одной у каж-

дой стены; в ногах свернутые по-армейски матрасы. Повернулся и посмотрел на сына, застывшего на верхней ступеньке, щурящегося из-за дыма светильника. Потом спустился ниже, сел, поднял светильник.

– Боже! О боже!

– Что там, пап?

– Спускайся. О боже! Спускайся скорей.

Коробки, одна на другой, до самого потолка. Банки помидоров, персиков, бобов, абрикосов. С ветчиной. С тушеной говядиной. Сотни галлонов питьевой воды в десятилитровых пластиковых канистрах. Бумажные полотенца, туалетная бумага, одноразовые тарелки. Полиэтиленовые мешки для мусора, забитые одеялами. Он сжал голову руками: "О господи!" Снова посмотрел на ребенка.

– Все в порядке. Спускайся сюда.

– Пап?

– Да спускайся же. Спускайся и посмотри сам.

Он поставил светильник на ступеньку, дотянулся до мальчика и взял его за руку.

– Давай. Все в порядке.

– Что ты нашел?

– Все. Абсолютно все. Посмотри, сам увидишь.

Помог мальчику спуститься по ступенькам, поднял повыше светильник, чтобы лучше видеть.

– Видишь? Ты видишь?

– Что это такое?

– Еда. Можешь прочесть?

– Груши, здесь написано "груши".

– Правильно, "груши". Здесь написано "груши"!

Он почти упирался головой в потолок. Пригнулся, чтобы не удариться о металлический зеленый фонарь, висящий на крюке у них над головами. Держа мальчика за руку, пошел вдоль рядов одинаковых коробок. Бобы в остром мясном соусе, кукуруза, тушенка, суп, соус к спагетти. Богатства исчезнувшего мира.

– Почему здесь столько всего? – спросил мальчик. – Это все настоящее?

– О да. Настоящее.

Выдвинул одну из коробок, надорвал и достал банку персиков.

– Кто-то на всякий случай делал запасы.

– Но не смогли воспользоваться?

– Не смогли.

– Умерли?

– Да.

– А нам можно что-нибудь из этого взять?

– Конечно, конечно. Эти люди хотели бы, чтобы мы воспользовались их продуктами. На их месте мы поступили бы точно так же.

– Они были хорошие?

– Да, хорошие.

– Как мы?

– Точно, как мы.

— Значит, нам можно взять.
— Да, да, можно.

В пластмассовом ящике нашлись ножи и вилки и многое другое. Открывалка. Неработающие электрические фонари. Нашел коробку батареек и стал их перебирать. Большинство испорченных — потекли, покрыты липкой кислотой. Выбрал несколько целых на вид. Наконец-то наладил один из фонарей, поставил его на столе и задул их доморощенный коптящий светильник. Оторвал от коробки кусок картона и стал разгонять дым. Потом поднялся наверх и опустил дверь на место. Обернулся, посмотрел на мальчика и спросил:

— Что желаете на ужин?
— Груши.
— Замечательный выбор. Подать груши!

Взял из стопки две бумажные тарелки и поставил на стол. На кроватях расстелил матрасы, чтобы удобнее было сидеть, и вскрыл коробку с консервированными грушами. Достал одну банку, поставил ее на стол, воткнул открывалку в край и повернул колесико. Посмотрел на мальчика: сидит тихо на кровати, смотрит, даже не скинул одеяло с плеч. Подумал: "Я так до сих пор и не осознал, что с нами происходит. А вдруг это только сон и мы сейчас проснемся в темном сыром лесу?" Вслух же сказал:

— Это будут самые вкусные груши из всех, что ты когда-либо пробовал. Самые лучшие. Вот увидишь.

Сидели рядышком и ели груши из банки. После груш достали банку персиков. Облизали ложки и через край выпили густой сладкий сироп. Посмотрели друг на друга.

— Давай еще одну.
— Заболит живот.
— Не заболит.
— Ты слишком долго голодал.
— Я знаю.
— Ну смотри.

Уложил мальчика в кровать, пригладил его грязные волосы, накрыл одеялами. Когда выбрался наружу, было почти темно. Пошел в гараж за рюкзаком, вернулся к бункеру и напоследок внимательно осмотрел все вокруг, а потом спустился по лестнице, и захлопнул дверь, и вставил в крепкое кольцо замка плоскогубцы. Свет фонаря становился все слабее, надо срочно что-то придумать, и он порылся на полках и нашел полутораллитровые канистры очищенного бензина. Поставил одну канистру на стол, отвинтил крышку и отверткой пробил дырку в кружочке фольги. Снял фонарь с крюка и наполнил его доверху бензином. Чиркнул зажигалкой — нашел раньше целую упаковку, — отрегулировал пламя и повесил фонарь на место. Затем сел на кровать.

Пока мальчик спал, решил по порядку перебрать припасы. Постельное белье, свитера, носки. Таз из нержавейки, тут же губки и куски мыла. Тюбики зубной пасты и зубные щетки. На дне большой пластмассовой

банки с болтами и винтиками и другими железяками в тряпичном мешочке обнаружил с десяток золотых крюгеррандов. Вытряхнул их, и покрутил, и посмотрел на них, а потом собрал и крюгерранды, и железки, и высыпал все вместе в банку, и поставил ее обратно на полку.

Он все-все осмотрел, передвигая коробки и ящики. В стене была небольшая стальная дверь, которая, как оказалось, вела в другую комнату. Там хранились бутылки с бензином. В углу — биотуалет. В стенах — ниши, закрытые проволочной сеткой, в них проходят вентиляционные трубы, а в полу — дренажные. В бункере стало жарковато, и он снял куртку. Перебрал все. Нашел одну упаковку патронов 45-го калибра и три коробки гильз для охотничьего ружья. Чего не нашел, так это самого ружья. Взял электрический фонарь и обшарил пол и стены в поисках тайника. Потом развалился на кровати, съел плитку шоколада. Оружия в бункере он не нашел и не найдет никогда.

Проснувшись, услышал шипение фонаря над головой. При его свете оглядел стены, коробки и ящики. Не понимал, где он. Лежит на кровати, укрыт пальто. Сел и посмотрел на сына, спящего на соседней кровати. Ботинки под кроватью, он не помнил, как и когда их снял. Достал из-под кровати, надел, поднялся по ступенькам, выдернул плоскогубцы из кольца и, приподняв дверь, выглянул наружу. Раннее утро. Посмотрел в сторону дома и на дорогу и уж было собрался захлопнуть дверь, как вдруг замер. Свет шел с запада. Значит, они проспали всю ночь и весь день. Опустил дверь, надежно запер, и спустился вниз, и сел на кровать. Оглядел коробки с продуктами. Еще пару дней назад он готовился к смерти, а теперь, когда забрезжила надежда, придется все хорошенько обдумать. Снаружи кто угодно заметит люк во дворе и сообразит, что это такое. Имей в виду. Это тебе не в лесу прятаться. Совсем наоборот. В конце концов он поднялся, подошел к столу, и наладил двухконфорочную газовую плитку, и зажег ее, и достал сковородку и чайник, и вскрыл пластиковую коробку с кухонными принадлежностями.

Мальчика разбудил шум ручной кофемолки. Он сел и стал оглядываться по сторонам:

— Папа?

— Привет. Есть хочешь?

— Мне в туалет. Писать.

Отец махнул лопаточкой в сторону низкой стальной двери. Биотуалет они оба видели впервые, и отец решил, что стоит разобраться, как им пользоваться. Надолго в бункере они не задержатся, но пока там сидят, наружную дверь лучше бы открывать пореже. Мальчик направился к двери, волосы слиплись от пота. Спросил:

— Что это?

— Кофе. Ветчина. Пресные булочки.

— Ух ты!

Поставил в промежутке между кроватями обувной шкафчик, постелил полотенце и расставил пластмассовые тарелки, чашки, разложил столовые приборы. Туда же — миску с хлебом, накрытую салфеткой, масло на

тарелке и баночку концентрированного молока. Соль и перец. Посмотрел на сына. Заспанный, двигается еле-еле. Принес с плиты сковородку и подцепил вилкой кусок обжаренной ветчины, положил его мальчику на тарелку вместе с омлетом, и добавил полную ложку тушеных бобов, и налил кофе в чашку. Мальчик вопросительно посмотрел на отца.

– Начинай, а то остынет.

– С чего начать?

– Что больше нравится.

– Это что, кофе?

– Да. Смотри, намажь масло на хлеб, вот так...

– Хорошо.

– Ты ничего?

– Не знаю.

– Плохо себя чувствуешь?

– Нет, хорошо.

– А что тогда?

– Как ты думаешь, нам не надо этих людей поблагодарить?

– Каких людей?

– Ну, тех, которые нам все это дали.

– М-м-м. Ну, наверное... Стоило бы.

– Ты поблагодаришь??

– А почему не ты сам?

– Я не знаю как.

– Э-э, нет. Ты ведь знаешь, как сказать "спасибо".

Мальчик сидел, уставившись в тарелку. Похоже, растерялся. Отец только собрался открыть рот, как сын вдруг заговорил:

– Уважаемые люди, спасибо за еду и за вещи. Мы знаем, что вы приберегали их для себя, и, будь вы здесь, мы никогда бы к ним не притронулись, как бы голодны ни были. Нам очень жаль, что вы не смогли ими воспользоваться, и надеемся, что вы нашли покой в раю у Бога.

Посмотрел на отца снизу вверх:

– Так пойдет?

– Да, пойдет.

Мальчик ни за что не хотел оставаться в бункере один. Так и ходил за отцом взад-вперед по двору, пока тот перетаскивал пластиковые бутылки с водой в ванную комнату в глубине дома. Прихватили с собой газовую плитку и пару кастрюль, вскипятили воду, и вылили ее в ванну, и добавили туда холодной из бутылок. На все приготовления ушло много времени, но отец хотел, чтобы получилось как надо. Когда ванна наполнилась почти до краев, мальчик разделся и, дрожа, переступил бортик и лег на дно. Тощий, грязный, голый. Обхватил плечи руками. Темень, только и видно, что голубоватый щербатый круг огня на горелке плитки.

– Ну как?

– Ну вот, согрелся душой и телом.

– Согрелся душой и телом?!

– Ага.

– Откуда ты знаешь это выражение?

– Я не знаю откуда.

– Ну ладно. Хм, согрелся душой и телом.

Отец вымыл его засаленные спутанные волосы и хорошенько поскреб всего намыленной губкой. Спустил грязную воду, полил из ковшика, завернул дрожащего ребенка в полотенце и затем еще в одеяло. Расчесал ему волосы, посмотрел. От мальчика шел густой пар, больше похожий на дым.

– Ты как, ничего?

– Очень ноги замерзли.

– Я сейчас, подожди.

– Побыстрее.

Отец вымылся сам, и вылез из ванны, и насыпал в воду стирального порошка, и бросил туда их вонючие джинсы. Помешал квачом.

– Ты готов?

– Да.

Медленно прикрутил огонь в плитке. Погас. Включил фонарь и положил его на пол. Сели на край ванны, обулись. Отдал сыну кастрюлю и мыло, сам взял плитку, бутылочку бензина и револьвер. Закутались в одеяла и двинулись к бункеру.

Устроились на кровати в новых свитерах и носках, укутавшись в чистые одеяла, между ними – шахматная доска. Он сумел разжечь небольшой газовый обогреватель, сидели, потягивали кока-колу из пластмассовых кружек, а потом он сходил в дом, выжал джинсы, и принес их, и развесил сушиться.

– Сколько мы можем здесь оставаться, пап?

– Недолго.

– Сколько недолго?

– Точно не знаю. Может, день, может, два.

– Потому что опасно?

– Да.

– Ты думаешь, они нас найдут?

– Нет, они нас не найдут.

– Но могут.

– Нет, они нас не найдут.

После того как мальчик уснул, вернулся в дом и вытащил во двор кое-какую мебель. Затем вынес матрас, бросил его на дверь в земле и осторожно, чтобы не дай бог не сдвинуть матрас, слез вниз и опустил дверь, упираясь в нее головой. Вряд ли кого-то можно обмануть, но все же лучше, чем ничего. Пока сын спал, сидел на кровати и при свете фонаря строгал ножом из сучков фальшивые пули, примеряя то и дело, входят ли они в барабан. Ножом заточил кончик каждой пули, солью отполировал и так зачернил все сажей, что не отличишь от настоящих, свинцовых. Изготовил пять штук, и вставил в барабан, и защелкнул его, и повертел револьвер в руках, внимательно осматривая со всех сторон. Даже вблизи выглядит заряженным. Отложил и поднялся, чтобы проверить, как сохнут джинсы, развешанные над обогревателем.

Помнится, сберег несколько пустых гильз, но они пропали вместе со всеми остальными вещами. Надо было бы ему сообразить и держать их в кармане. Мало этого, он и последнюю потерял. Решил, что, пожалуй,

сможет воспользоваться гильзами сорок пятого калибра. Капсюли наверняка подойдут, если, конечно, удастся их вытащить, не испортив. А пули подогнать по размеру. Поднялся и обошел бункер с последней инспекцией. Затем прикрутил фитиль, лампа погасла, поцеловал мальчика и лег — на чистое белье! — на соседней кровати, и еще раз обвел взглядом их крохотный райский уголок, освещаемый подрагивающим светом обогревателя, и провалился в сон.

Городок давно опустел, и все же они с осторожностью шагали по грязным улицам, крепко держась за руки. Прошли мимо железного мусорного контейнера, приспособленного для сжигания трупов. Обугленные мясо и кости под слоем влажного пепла, не подумаешь, что человеческие, если бы не черепа. Запах давно исчез. В конце улицы набрели на магазин и в одном из проходов нашли три металлические тележки, забитые доверху пустыми коробками. Отец внимательно их осмотрел и, выбрав одну, наклонился, и осмотрел колеса, перевернув тележку, и вернул в нормальное положение, и прокатил туда-сюда по проходу. Мальчик сказал:

— Можем взять две.

— Не надо.

— Я тоже могу одну везти.

— Ты разведчик. Мне нужно, чтобы ты смотрел по сторонам и был начеку.

— Что же тогда делать со всеми припасами?

— Возьмем столько, сколько можем увезти.

— Думаешь, сюда кто-то придет?

— Иногда мне так кажется.

— Но ведь ты говорил, что никто не придет.

— Я не говорил, что никогда.

— Жаль, что мы не можем здесь остаться.

— Мне тоже.

— Если ты всегда начеку, это значит, что ты все время напуган?

— Ну, начнем с того, что именно страх заставляет человека быть бдительным. Осторожным. И подозрительным.

— Но в остальное время ты не боишься?

— В остальное время...

— Ага.

— Я не знаю. Может, надо ежесекундно быть начеку. Не растеряться, когда тебя настигнет беда, а, наоборот, быть к ней готовым.

— Ты всегда ждешь неприятностей, пап?

— Да, но иногда теряю бдительность.

Усадив сына на ящик для обуви точно под фонарем, достал пластмассовый гребешок и ножницы и принялся за стрижку. Старался изо всех сил, а потому потратил много времени. Закончив, снял с плеч мальчика полотенце, и собрал с пола золотистые прядки, и обтер ему лицо и плечи влажной тряпкой, и поднес зеркало, чтобы тот мог на себя поглядеть.

— Просто замечательно, пап.

— Ну и хорошо.

— Я выгляжу очень худым.

— Ты и есть худой.

Он и себе подстриг волосы, но получилось не очень. Пока подогревалась вода, состриг ножницами бороду, а потом побрился безопасной пластмассовой бритвой. Мальчик наблюдал за его действиями. Закончив, посмотрел на себя в зеркало. Невыразительный подбородок. Сам удивился. Повернулся к сыну:

— Ну, как я выгляжу?

Мальчик вскинул голову:

— Не знаю... А тебе не будет холодно?

Приготовили роскошный ужин и уселись за стол при свечах: ветчина, и тушеная фасоль, и картофельное пюре с подливкой, и сдобные булочки. Нашел четыре литровых бутылки марочного виски — так и не распакованных, в бумажных пакетах из магазина, — плеснул немного в стакан, разбавил водой и выпил. Почувствовал головокружение, еще даже не успев ополовинить стакан, и больше пить не стал. На десерт поели консервированные персики с булочками и выпили кофе. Выкинули тарелки и пластмассовые приборы в мусорный пакет, а потом уселись играть в шашки, и вскоре мальчику пришло время ложиться спать.

Ночью его разбудил приглушенный стук дождевых капель по матрасу, которым он замаскировал дверь. Должно быть, настоящий ливень, раз смог услышать. Встал, с фонариком поднялся по ступенькам и приподнял дверь и посветил вокруг: весь двор уже затопило, дождь лил как из ведра. Захлопнул дверь. По краям просочилась вода и капала по ступенькам, но бункер, надо думать, выстоит. Потрогал мальчика — весь потный; стащил с него одно одеяло и стал его обмахивать, затем уменьшил пламя в обогревателе и лег спать.

Когда проснулся в следующий раз, решил, что дождь перестал. Но проснулся от другого. Ему приснились ранее не виданные существа. Они не могли говорить. Привиделось, что они крались по бокам кровати, а как только он проснулся, сразу попрятались. Повернулся и посмотрел на мальчика. Тогда-то впервые до него дошло, что для сына он сам инопланетянин. С планеты, которой больше нет. Рассказы про которую рождают подозрения. Разве можно просто для развлечения воссоздать то, что он потерял, не испытав горечь утраты? И мальчик понимал это значительно лучше, чем он сам. Попытался вспомнить сон, но не смог. От сна остались только ощущения. Подумал: а что, если они пришли его предупредить? О чем? О том, что невозможно в душе ребенка разжечь интерес к тому, что его самого давным-давно перестало волновать. Даже сейчас в дальнем уголке сознания теплилась мысль, что лучше бы им не натыкаться на этот бункер. В глубине души он желал, чтобы всему настал конец.

Убедившись, что вентиль баллона надежно закрыт, все на том же ящике для обуви принялся разбирать плитку. Отсоединил нижнюю панель, и вытащил блок конфорок, и гаечным ключом открутил две из них. Вытряхнул из пластиковой банки болты и винтики, порылся и отыскал

болт подходящего размера, и вкрутил его в одно из отверстий и туго затянул. Подсоединил шланг от баллона: получилась металлическая портативная плитка — легкая, как пушинка. Положил ее на ящик, ненужные детали собрал и бросил в мусор и поднялся наверх — посмотреть, какая погода. Матрас пропитался водой, так что он еле смог приподнять дверь. Стоя на верхней ступеньке, дверца — на плечах, стал осматриваться. Моросит. Невозможно определить, какое время суток. Посмотрел на дом, посмотрел на мокрые поля вокруг, захлопнул дверь, спустился и принялся готовить завтрак.

Весь день только и делали, что ели да спали. Он планировал двинуться дальше, но в такой дождь... Хороший повод задержаться еще на какое-то время. Тележка из магазина спрятана в сарае. Вряд ли в такую погоду кому-нибудь захочется отправиться в путешествие. Они перебирали припасы, прикидывая, что можно взять с собой, откладывали нужные вещи в отдельную кучу в углу бункера. Короткий день промелькнул незаметно. К вечеру дождь стих, и тогда они вылезли наружу и стали перетаскивать в сарай коробки, и узлы, и пластиковые пакеты и укладывать все это на тележку. Слабо освещенный люк посреди темного двора с виду — точь-в-точь разверзшаяся могила со старого полотна, изображающего конец мира. Заполнив тележку доверху, отец укрыл ее куском полиэтилена и, пропустив веревки через кольца по краям получившейся накидки, крепко привязал к прутьям тележки. Отступили назад и в свете фонарика посмотрели, как получилось. Мысленно отругал себя за то, что не сообразил прихватить из магазина парочку запасных колесиков. Поздно. Зеркало со старой тележки тоже бы пригодилось, да что теперь говорить... Поужинали и легли спать. Ранним утром по очереди выкупались в ванной, помыли голову, позавтракали и с первыми лучами уже шли по дороге, в чистых масках, вырезанных из простыни. Мальчик впереди, сметает веником на обочину сучки и ветки, отец склонился над ручкой тележки и всматривается в теряющуюся вдали дорогу.

По сырому лесу перегруженную тележку не провезти. В обед остановились прямо на дороге, и вскипятили чай, и доели последнюю ветчину из банки с крекерами и горчицей. Яблочное пюре на десерт. Сидели спина к спине, следили за дорогой.

— Пап, ты знаешь, где мы?

— Приблизительно.

— Это как?

— Ну, думаю, до побережья еще миль двести. Если по прямой, как летит стая ворон.

— Стая ворон?

— Ну да, если не сворачивать и не блуждать.

— Мы скоро туда доберемся?

— Не так чтобы очень скоро, но уже немного осталось. Мы же не птицы.

— Потому что птицам не надо держаться дороги?

— Да.

— И они могут лететь куда хотят?

— Да.

— Как ты думаешь, есть еще где-нибудь вороны?

— Не знаю.

— Ну скажи, как ты думаешь?

— Думаю, вряд ли.

— А они могли улететь куда-нибудь, например, на Марс?

— Нет, не могли.

— Слишком далеко?

— Да.

— Даже если бы хотели.

— Даже тогда.

— А что, если они пробовали и на полпути устали. Они что, упадут вниз?

— Знаешь, не могли они так высоко забраться, лететь-то надо в космосе, а там воздуха нет. К тому же в космосе холодно, и они бы просто замерзли насмерть.

— А-а-а.

— Да и потом, откуда им знать, где Марс.

— А мы знаем, где Марс?

— Приблизительно знаем.

— А если бы у нас был космический корабль, мы могли бы туда отправиться?

— Ну, если бы это был действительно хороший корабль и нашлись люди, чтобы тебе помочь, то, думаю, ты бы смог.

— А на Марсе есть вода и продукты?

— Нет, там ничего нет.

— А-а-а.

Сидели долго, подстелив сложенные одеяла. Наблюдали за дорогой: один смотрел в одну сторону, второй — в другую. Тихо, безветренно. Никакого движения. Погодя мальчик пробормотал:

— Нет никаких ворон, да ведь?

— Нет.

— Только в книжках про них пишут.

— Только в книжках.

— Так я и думал.

— Ты готов идти?

— Да.

Поднялись, убрали кружки и остатки крекеров. Отец сложил одеяла на тележку, прикрыл полиэтиленом, а потом стоял, пристально смотря на мальчика.

— Что, пап?

— Я знаю: ты думал, что мы умираем.

— Ага.

— Но мы выжили.

— Ну да.

— Хорошо.

— Можно я кое-что у тебя спрошу?

— Конечно.

— Если бы превратиться в ворону, можно бы было полететь высоко и увидеть солнце?

— Да, можно.

– Я тоже так подумал. Вот было бы здорово.
– Да. Ну что, готов?
– Готов.
Отец остановился, спросил:
– Куда подевалась дудочка?
– Я ее выкинул.
– Выкинул?
– Да.
– Хм, ну ладно.
– Ладно.

В нескончаемых вечерних сумерках они пересекали реку и, опершись на парапет, разглядывали медленный поток мертвой воды под мостом. Сквозь завесу пепла ниже по течению, как черная бумажная декорация, маячил силуэт сгоревшего города. Увидели его еще раз уже в темноте, поднимаясь вверх по склону высокого холма. Толкали тяжелую тележку, остановились перевести дух, и отец развернул колесики так, чтобы тележка не покатилась вниз. Маски успели запачкаться, особенно около рта, вокруг глаз – черные круги. Сели в пепел на обочине и смотрели на восток, где силуэт города стал сливаться со сгущающейся темнотой. Не видно ни огонька.
– Как ты думаешь, там кто-нибудь есть, пап?
– Не знаю.
– Когда мы уже остановимся?
– Хочешь, прямо сейчас.
– На холме?
– Спустим тележку вон к тем камням и укроем ее ветками.
– А это хорошее место для стоянки?
– Ну, никто не любит останавливаться на вершине холма. А нам и не надо, чтобы они останавливались.
– Так что это место нам подойдет.
– Да, подойдет.
– Потому что мы не дураки.
– Ладно, ладно. Главное – не обдурить самих себя.
– Хорошо.
– Ты готов?
– Да.
Мальчик поднялся, взял веник и закинул его себе на плечо. Посмотрел на отца:
– Ну, какие у нас долгосрочные планы?
– Что?
– Долгосрочные планы.
– Где ты слышал это выражение?
– Не знаю.
– Ну правда, где?
– Ты сам так сказал.
– Когда?
– Давно.
– И каков был ответ?
– Я не знаю.

– И я тоже. Ладно, пошли. Темнеет.

На следующий день ближе к вечеру, когда они подошли к повороту дороги, мальчик вдруг остановился и положил руку на тележку. Прошептал: "Папа". Отец поднял голову. Впереди на дороге маячила фигура: человек шел, согнувшись, с трудом передвигая ноги.

Отец стоял, облокотившись на ручку тележки. Пробормотал:

– Ну, кого еще черти принесли?

– Что же нам делать, пап?

– Может, это западня.

– И что будем делать?

– Давай пойдем за ним. Посмотрим, обернется он или нет.

– Давай.

Путник явно не собирался оборачиваться. Какое-то время они просто шли за ним, а потом ускорили шаг и нагнали его. Старик, невысокого роста, сутулый. За плечами – армейский рюкзак с привязанным сверху одеялом. В руках очищенная от коры палка – нащупывает ей дорогу. Увидев их, отошел к самой обочине и повернулся к ним лицом. Смотрит опасливо. Челюсть подвязана грязнущим полотенцем, будто зубная боль его замучила. Воняет невыносимо. Не то чтобы от них самих уж очень хорошо пахло, и все же...

– У меня ничего нет. Хотите, проверьте.

– Мы не грабители.

Повернул голову так, чтобы лучше слышать:

– Что?

– Говорю, мы не грабители.

– Кто же вы тогда?

Что они могли сказать ему в ответ? Старик вытер нос рукой и стоял в ожидании. Ноги обернуты в тряпки и куски картона и перевязаны зелеными веревками, сквозь дырки и прорехи в одежде видны слои отвратительных лохмотьев. Как-то вдруг сник. Оперся на палку, и опустился на дорогу, и сел прямо в кучу пепла, закрыв одной рукой голову. Стал похож на ворох тряпья, упавший с тележки. Они подошли поближе и остановились.

– Эй, послушайте!

Мальчик нагнулся к старику и прикоснулся рукой к его плечу:

– Пап, он напуган. Он очень боится.

Отец оглядел дорогу:

– Если это засада, убью его первым.

– Пап, он просто боится.

– Скажи ему, что мы его не обидим.

Старик качал головой из стороны в сторону, вцепившись пальцами в грязные волосы. Мальчик посмотрел на отца:

– Может, он думает, что мы ему привиделись.

– И кто же мы тогда, по его мнению?

– Я не знаю.

– Нам нельзя здесь задерживаться. Надо идти дальше.

– Он боится, папа.

– Не советую тебе прикасаться к нему.

— А может, дадим ему поесть?

Стоял, смотрел на дорогу. Прошептал: "Черт побери". Посмотрел на старика. Ну что, он превратится в бога, а они — в деревья? Сказал:

— Ну хорошо, хорошо.

Развязал полиэтилен на тележке, откинул его в сторону и, порывшись в банках, выудил одну — с фруктовым салатом, достал открывалку из кармана, открыл банку, отогнул крышку, пошел обратно и, присев, передал банку сыну.

— А ложка?

— Ложка ему не положена.

Мальчик взял банку и протянул ее старику, прошептав:

— Возьмите. Вот.

Старик поднял глаза и посмотрел на мальчика. Тот совал ему банку. Похоже, будто на дороге кто-то наткнулся на раненого стервятника и пытается его накормить. Мальчик повторял:

— Не бойтесь.

Старик опустил руки. Заморгал. Серо-голубые глаза. Глубоко спрятаны в мешочках между тонких забитых грязью морщин.

— Да берите же.

Старик протянул костлявую скрюченную руку, взял банку, прижал к груди.

— Ешьте, это вкусно.

Мальчик поднес к губам воображаемый сосуд и сделал глотательное движение. Старик посмотрел на банку. Перехватил покрепче и поднял, поводя носом. Длинные желтоватые паучьи пальцы поскребли по металлу. Потом наклонил банку и отпил. Жидкость потекла вниз по немытой бороде. Опустил банку, долго, с трудом жевал. С усилием проглотил, так что голова дернулась. Ребенок прошептал:

— Пап, смотри, ест.

— Да, вижу.

Мальчик повернулся к отцу. Тот сказал:

— Я догадываюсь, о чем ты хочешь попросить. Сразу говорю: "Нет!"

— Ну и что я хотел спросить?

— Не можем ли мы его взять с собой? Нет, не можем.

— Я знаю.

— Ты знаешь?

— Да.

— Ну хорошо.

— Мы можем ему еще что-нибудь дать?

— Сначала убедимся, что он с этим справится.

Смотрели, как он ест. Закончив, уставился на пустую банку, может, в надежде, что она как по волшебству наполнится!

— Что ты хочешь ему дать?

— А ты как думаешь?

— Я-то думаю, что ничего ему давать не надо. Что бы ты хотел?

— Могли бы приготовить что-нибудь на плитке. А он бы с нами поел.

— На ночлеге?

— Ну да.

Отец посмотрел на старика и на дорогу. Сказал:

– Ладно. Но завтра мы идем дальше.

Мальчик промолчал.

– Это все, на что я согласен.

– Хорошо.

– "Хорошо" означает "договорились раз и навсегда". Означает, что завтра ты не начнешь канючить.

– Это как – канючить?

– Это значит, что завтра ты не заведешь об этом разговор и не примешься меня переубеждать. Никаких переговоров. Договорились, и точка.

– Хорошо.

– Вот и отлично.

Они помогли старику встать и подали ему палку. Едва ли весит больше ста фунтов. Стоит и неуверенно оглядывается. Отец забрал у него пустую банку и закинул подальше в лес. Старик попытался отдать ему палку, но отец оттолкнул его руку. Спросил:

– Когда вы в последний раз ели?

– Я не знаю.

– Вы не помните?

– Только что ел.

– Хотите поесть с нами?

– Не знаю.

– Не знаете?

– Что поесть?

– Может, тушеную говядину. С крекерами. Выпить кофе.

– Что я должен за это сделать?

– Сказать нам, что произошло с миром.

– Что?

– Ничего нам от вас не надо. Вы идти можете?

– Я могу идти.

Посмотрел на мальчика:

– Ты ведь маленький мальчик?

Мальчик вопросительно поглядел на отца.

– А на кого он похож, по-вашему?

– Не знаю. Я плохо вижу.

– А меня вы видите?

– Я вижу только силуэт.

– И то хорошо. Надо двигаться. – Посмотрел на сына: – Не держи его за руку.

– Он же не видит.

– Не держи его за руку. Пошли.

Старик спросил:

– Куда мы идем?

– Мы идем есть.

Старик кивнул, и выставил вперед палку, и начал ощупывать ею дорогу впереди себя.

– Сколько вам лет?

– Девяносто.

– Неправда.

— Пусть.
— Вы всем говорите, что вам девяносто?
— Кому всем?
— Кого встречаете.
— Ну да.
— Чтобы они вас не тронули?
— Да.
— Ну и как, помогает?
— Нет.
— Что в рюкзаке?
— Ничего. Можешь посмотреть.
— Посмотреть-то я могу... Что там?
— Ничего интересного. Барахло.
— Еды нет?
— Нет.
— Как вас зовут?
— Илай.
— Илай. А фамилия?
— Просто Илай нельзя?
— Можно. Пошли.

Остановились в лесу, слишком, пожалуй, близко от дороги. Пришлось волоком тащить тележку, мальчик подталкивал ее сзади. Развели костер, чтобы старик мог согреться, хотя и не стоило бы: костер мог их выдать. Ужинали. Старик, завернувшись в свое единственное одеяло, сидел у огня, держал ложку по-детски неловко. У них было всего две кружки, и гостю пришлось пить кофе из суповой миски, крепко вцепившись в края пальцами. Сидит, как изможденный оборванный будда, уставился на угли. Отец сказал:

— Мы вас с собой не возьмем, вы, надеюсь, это понимаете.

Старик утвердительно кивнул.

— Сколько лет вы в пути?
— Давно. Нельзя оставаться на одном месте.
— Как же вы живете?
— Всегда в дороге. Я знал, к чему все идет.
— Знали, к чему все идет?
— Ну да. К этому или чему-то подобному. Всегда это знал.
— И пытались как-то подготовиться?
— Нет. А ты что бы стал делать?
— Не знаю.
— Люди всегда готовятся к будущему. Я же об этом никогда не заботился. Будущее их не ждет. Оно даже не подозревает об их существовании.
— Пожалуй, что так.
— Пусть ты даже когда-то знал, что делать, но теперь-то не знаешь. Не знаешь, хочешь ты это делать или нет. Представь, что ты единственный оставшийся в живых человек. Представь теперь, что это был твой выбор.
— Хотите умереть?

– Нет. Но, может быть, когда-нибудь пожалею, что еще не умер. Пока мы живы, смерть маячит впереди.

– А может, думаем: "Лучше бы я вообще не родился"?

– Ты разве не знаешь, что просители не имеют свободы выбора?

– Думаете, чересчур много просят?

– Того, что случилось, уже не изменить. И вообще, глупо в такие времена чего-то желать. Желания – слишком большая роскошь.

– Пожалуй, что так.

– Сегодня никто не желает жить и никто не хочет умирать.

Старик поднял голову и посмотрел на мальчика, сидящего напротив. Затем посмотрел на отца. Маленькие старческие глазки, внимательно следящие за собеседником в свете костра. Одному Богу известно, что́ этим глазам привелось видеть на своем веку. Отец встал, чтобы подкинуть дров. Сгреб угли к центру, подальше от сухих листьев. Красные искры взметнулись и погасли под черным куполом неба. Старик допил кофе, и поставил миску на землю, и подвинулся к огню, вытянув вперед руки. Отец наблюдал за ним. Спросил:

– Как вы узнаете, что остались один на свете?

– Вряд ли я это пойму. Просто один, и все.

– И никто не узнает.

– А какая разница? Когда ты умираешь, все вокруг умирают вместе с тобой.

– Думаю, Бог это будет знать. Согласны?

– Бога нет.

– Нет?

– Бога нет, а мы его пророки.

– Не понимаю, как вы выжили. Чем вы питаетесь?

– Не знаю.

– Не знаете?

– Люди со мной делятся.

– Люди делятся...

– Да.

– Едой?

– Едой, ну да.

– Неправда.

– Вы же поделились.

– Я – нет, это мальчик.

– На дороге встречаются разные люди. Не вы одни.

– А вы-то сами как, совсем один?

Старик посмотрел с недоумением:

– Что ты имеешь в виду?

– С вами есть кто-нибудь?

– Кто?

– Какие-нибудь люди?

– Никого нет. О чем ты?

– Я о вас говорю. Вы на самом деле чем занимаетесь?

Старик промолчал.

– Думаю, вы хотели бы к нам присоединиться.

– Присоединиться?

– Да.

— Вы меня с собой не возьмете.

— Вы сами не хотите идти.

— Я бы так далеко не зашел, если бы не голод.

— Ну а люди, которые поделились с вами едой, где они?

— Нет никаких людей, я все придумал.

— Что вы еще придумали?

— Я просто иду по дороге, как вы. Никакой разницы.

— Вас правда Илай зовут?

— Нет.

— Не хотите назвать свое настоящее имя?

— Не хочу.

— Почему?

— Потому что тебе не доверяю. Вдруг ты решишь его как-то использовать? А я не хочу, чтобы про меня пошли разговоры. Где я был, да что сказал, когда там был... Конечно, ты можешь обо мне поговорить. Но никто не поймет, что ты про меня рассказываешь. На моем месте может быть кто угодно. В наше время чем меньше говоришь, тем лучше. Вот если бы что-то произошло, а мы оба выжили и встретились на дороге, тогда бы у нас было что обсудить. Но мы не выживем. А на нет и суда нет.

— А может, выживем.

— Ты самому себе врешь и мальчика обманываешь.

— А вы часом не шестерка из банды разведчиков?

— Я — никто. Хочешь, я уйду. Дорогу и сам найду.

— Я вас не гоню.

— Понимаешь, я сто лет не видел костра. Живу, как дикий зверь. Тебе лучше не знать, что́ мне случается есть. Когда я увидел мальчика, то решил, что я умер.

— Подумали, что встретили ангела?

— Не знаю, за кого я его принял. Не верил, что еще раз приведется увидеть ребенка. Не знал, что такое произойдет.

— А если я скажу, что он бог?

Но старик покачал головой:

— С этими иллюзиями я распрощался. Давно. Там, где людям не выжить, богам делать нечего. Вот увидишь. Лучше всего быть одному. Так что я надеюсь, что ты ошибся, назвав его богом. Иметь в попутчиках последнего бога на земле — это ужасно. Вот почему я и надеюсь, что ты заблуждаешься на этот счет. Будет намного спокойнее, когда никого на земле не останется.

— Уверен?

— Не сомневайся.

— Кому спокойнее?

— Всем.

— Всем?!

— Да-да. Нам всем. Станет легче дышать.

— Приятно слышать.

— Точно. Когда мы все умрем, никого не останется, кроме смерти, да и ее дни будут сочтены. Она пойдет по дороге, а вокруг пусто, никого нет. Что ей тогда делать? Вот она и спросит: "Где все?" Так всё и будет. Ну, разве плохо?

Утром они стояли на дороге и спорили, что из еды дать старику на прощание. Договорились, что много он не получит. Несколько банок овощей и фруктов. Потом мальчик отошел на обочину и уселся прямо в пепел. Старик уложил банки к себе в рюкзак и затянул лямки.

– Вы ему хоть спасибо скажите, – пробормотал отец. – Моя воля, я бы ничего не дал.

– Может, скажу, а может, и нет.

– Почему нет?

– Я бы ему свою еду не отдал.

– Вас не волнует, что вы его этим обидите?

– Он расстроится?

– Нет. Он не ищет благодарности.

– Тогда почему он так поступил?

Отец оглянулся на мальчика, затем посмотрел на старика:

– Вам не понять. Не уверен, что я сам это понимаю.

– Может, он верит в Бога.

– Не знаю, во что он верит.

– Вырастет – изменится.

– Сомневаюсь.

Старик ничего не сказал, только стоял и вглядывался в наступающий день.

– Удачи вы нам тоже не пожелаете?

– Я не знаю, что такое удача. На что она похожа. Есть кто-то, кому повезло?

Дальше все пошло своим чередом. Оглянувшись, увидел, что старик зашагал по дороге, стучит своей палкой, медленно бредет у них за спиной, словно нищий из старой сказки, мрачный, сгорбленный, на тоненьких, паучьих ножках, идет еле-еле, чтобы вскоре навсегда исчезнуть. Мальчик ни разу не оглянулся.

Пополудни они расстелили полиэтилен на дороге, и сели, и съели холодный обед. Отец не сводил с мальчика глаз.

– Ты на меня не злишься?

– Нет.

– Но ты недоволен.

– Да нет, я нормально.

– Как только у нас закончатся продукты, у тебя будет больше времени все хорошенько обдумать.

Сын промолчал. Сидели, ели. Мальчик обернулся назад, на дорогу. Погодя сказал:

– Знаю. Но я буду вспоминать это иначе, чем ты.

– Скорее всего.

– Я ж не сказал, что ты был не прав.

– Хотя и подумал?

– Не-е-ет.

– Да ладно. Разве встретишь что-нибудь хорошее на дороге?! В такие-то времена...

– Не насмехайся над ним.

– Ладно.

— Он ведь скоро умрет.
— Да, я знаю.
— Пойдем дальше? Можно?
— Да, конечно. Пошли.

Ночью проснулся — опять кашель. Кашлял долго, пока не заболело в груди. Наклонился к огню, и подул на угли, и подложил веток. А потом встал и ушел в лес, но не очень далеко, чтобы не потерять из виду слабый отсвет костра. Встал на колени в куче сухих листьев и пепла, кутаясь в одеяло, через некоторое время кашель унялся. Подумал: "Как он там, старик?" Посмотрел на костер, виднеющийся сквозь частокол черных деревьев. Хорошо бы мальчик уснул. Так и сидел, упершись руками в колени, хрипло дыша. Сказал: "Я скоро умру. Научи меня, как это лучше сделать".

Весь следующий день провели в пути. Шли, пока не стало совсем темно. Не мог отыскать защищенное место, чтобы разжечь костер. Достал плитку из тележки — что-то она слишком уж легкая. Сел и повернул вентиль. Оказалось, он уже открыт. Покрутил маленький рычажок на горелке. Ничего. Наклонился и послушал. Поворачивал оба вентиля то поочередно, то одновременно. Баллончик — пустой. Сидел на корточках, сцепив обе руки будто в кулак и упершись в него лбом, глаза закрыты. Потом поднял голову и просто сидел, вглядываясь в темнеющий лес.

Съели холодный ужин: кукурузная лепешка, бобы и сосиски из банки. Мальчик спросил, как могло получиться, что баллончик так быстро опустел. Ответил, что, мол, опустел, и все.

— Ты же говорил, что газу нам хватит на несколько недель.
— Говорил.
— Но ведь прошло только несколько дней!
— Я ошибся.

Ели в молчании. Затем мальчик сказал:

— Это я забыл завернуть вентиль, да?
— Не твоя вина. Я сам должен был проверить.

Мальчик поставил тарелку на полиэтилен. Отвернулся.

— Ты не виноват. Надо всегда закрывать оба вентиля. И внутри надо было сделать тефлоновую прокладку, чтобы газ не утекал. А я не сделал. Так что моя вина. Я ведь тебя не предупредил.
— Про тефлон ты только сейчас придумал, да?
— Ты не виноват.

С трудом шли вперед, отощавшие грязные бродяги. От холода закутались с головой в одеяла, пар дыхания поднимается вверх, еле передвигают ноги по черным блестящим лужам. Пересекали широкую прибрежную равнину, где извечный ветер с воем окутывал их облаками пепла и вынуждал искать хоть какое-нибудь убежище. В домах, или в сараях, или в придорожной канаве. Одеяла поверх голов, днем — темнота чернее преисподней. Прижимал промерзшего до костей мальчика к себе. Говорил: "Не теряй надежду. Все у нас будет в порядке".

Куда ни глянь, сплошные овраги, да оползни, да следы эрозии, да бесплодная земля. Там и тут валяются кости животных. Кучки непонятного мусора. Фермерские дома в полях, дожди смыли всю краску, щиты на стенах изогнулись и отошли от балок. Не отбрасывают тени. Не отличить один от другого. Дорога понижалась и прорезала заросли мертвой пуэрарии. В болоте сухой тростник склонился над водой. Вдали, где поля сливаются с горизонтом, висит угрюмое марево. Во второй половине дня пошел снег, и они накрылись полиэтиленом, только и слышно, как мокрый снег шуршит по накидке.

За последние недели спал очень мало. Однажды проснулся утром, а мальчик исчез. Сел, держа револьвер в руке, потом встал и посмотрел по сторонам — сына нет. Натянул ботинки и пошел к краю леса. Тусклый рассвет на востоке. Неприветливое солнце начинает свой холодный путь. Увидел бегущего по полю сына. Тот кричит ему:

— Папа! Я нашел в лесу поезд!

— Поезд?

— Да!

— Настоящий поезд?

— Да! Пойдем покажу!

— Надеюсь, ты к нему близко не подходил?

— Нет. Издали рассматривал. Ну, пошли же.

— Там никого нет?

— Нет. Не думаю. Я за тобой вернулся.

— А локомотив есть?

— Да. Большой, дизельный.

Пересекли поле и вошли в лес с противоположной стороны. Рельсы, уложенные на насыпи, уходили в глубь леса. Поезд состоял из дизельно-электрического локомотива с семью пассажирскими вагонами. Отец схватил мальчика за руку:

— Давай-ка посидим и понаблюдаем.

Сидели на пригорке, наблюдали. Все спокойно. Протянул револьвер мальчику.

— Папа, возьми с собой.

— Нет, так не пойдет. Держи.

Мальчик взял и сел, положив револьвер на колени, а отец спустился с пригорка, остановился и стал разглядывать поезд. Пересек рельсы и пошел вдоль вагонов. Обойдя состав, вынырнул из-за последнего вагона и махнул мальчику, чтобы тот шел к нему. Сын вскочил и заткнул револьвер за пояс.

Все покрыто толстым слоем пепла. Мусор в проходах. Чемоданы, снятые с верхних полок, распотрошенные, лежат на сиденьях бог весть с каких времен. За исключением стопки бумажных тарелок, что он нашел в вагоне-ресторане, и сдул с них пыль, и засунул за пазуху, ничего нужного больше в поезде не осталось.

— Как он сюда попал, пап?

— Не знаю. Наверное, кто-то решил двинуть на нем на юг. Группа людей. Здесь у них кончилось горючее.

— Давно он здесь?

— Да, думаю, что давно. Очень давно.

Они закончили осматривать последний вагон и, пройдя вдоль насыпи, подошли к локомотиву и взобрались на узкий мостик. Ржавчина. Облупившаяся краска. Протиснулись в кабину и сдули пепел с кресла машиниста, и он усадил мальчика перед рычагами управления. Все очень просто. Голову ломать не надо, двигаешь себе рычаг взад-вперед. Сымитировал стук колес и свисток паровоза, задумался: а знакомы ли мальчику эти звуки? Поиграли, а затем смотрели сквозь заросшее грязью стекло, как рельсы сворачивают и исчезают в бурьяне. Хоть и глядели на мир каждый по-своему, но воспринимали его одинаково: знали, что состав так и будет год за годом разрушаться на этом месте. Знали, что поезда никогда больше ходить не будут.

— Можем идти, пап?

— Да. Конечно.

Иногда на дороге стали попадаться пирамидки из камушков. Условные знаки на языке кочевников, непригодившиеся зарубки на память. Впервые он их заметил еще на севере, на окраинах разграбленных и опустошенных городов. Полные отчаянья послания любимым. Пропавшим или погибшим. К тому времени продуктовые запасы истощились, и убийство вступило в свои права. Вскоре дошло до того, что по земле стали рыскать толпы людей, готовых сожрать твоих детей у тебя на глазах. В городах бесчинствовали банды заросших грязью грабителей, они рыли тоннели в развалинах, вылезали из-под обломков — на черных лицах сверкают зубы и белки глаз, — тащили за собой в нейлоновых сетках обгоревшие банки с неизвестной едой, будто нахватали их в распределителях в преисподней. Пушистый черный порошок закручивался на улицах, как на океанском дне спиралью закручиваются выпущенные осьминогом чернила. И пришел холод, и рано стало темнеть, и оборванные бродяги, при свете факелов спускаясь по крутым склонам в ущелья, оставляли за собой неглубокие следы в пепле, и следы исчезали быстро и беззвучно, словно над ними сомкнулись веки. На дорогах странники валились наземь и умирали, а унылая, покрытая саваном Земля продолжала равнодушно вращаться вокруг Солнца. Ее движение неприметно, как путь любой другой безымянной планеты в дремучем космосе.

Продукты у них закончились задолго до того, как они достигли побережья. Шли по местности, опустошенной и разграбленной много лет назад. Ничего не осталось ни в жилых домах, ни в зданиях вдоль дороги. Из телефонного справочника на бензоколонке узнал, как называется городок, в который они забрели, и записал название карандашом на полях карты. Сели на бордюр, ели крекеры и искали это место на карте. Не нашли. Перебрал куски карты и посмотрел еще раз. Наконец-то! Показал мальчику. Миль на пятьдесят отклонились на запад от того места, где, как он считал, должны были оказаться. Нарисовал на карте две фи-

гурки. Сказал: "Это мы". Мальчик провел пальцем оттуда до побережья. Спросил:

– Сколько еще идти?

– Недели две. Три.

– Он синий?

– Океан? Не знаю. Раньше был синий.

Мальчик кивнул. Сидел и рассматривал карту. Отец наблюдал за ним. Догадался, о чем он думает. Сам в детстве обожал путешествовать по картам, не убирая пальца с той точки, которой был обозначен их городишко. Это как искать родных в телефонной книге. Каждый сам по себе и в то же время часть целого. Все на своих местах. Но у каждого свое место.

– Ну, пошли. Пора.

Ближе к вечеру зарядил дождь. Свернули с дороги, и по тропинке в поле вышли к маленькому сарайчику, и в нем провели ночь. На бетонном полу в дальнем углу стояли жестяные бочки. Он припер ими дверь, разжег костер на полу, а из сплющенных картонных коробок устроил себе и сыну подстилки. Всю ночь по железной крыше барабанил дождь. Проснулся: дрова прогорели, холодище. Мальчик не спит, сидит, закутавшись в одеяло.

– Что случилось?

– Ничего особенного. Плохой сон приснился.

– Что тебе приснилось?

– Неважно.

– Ты как?

– Так себе.

Он обнял его и прижал к себе. Сказал:

– Ладно, забудь.

– Я плакал, а ты не проснулся.

– Прости, свалился от усталости.

– Да нет же, я про сон говорю.

К утру дождь перестал. Проснулся и слушал ленивый перестук капель. Поерзал на твердом бетонном полу и посмотрел сквозь доски наружу, на серые окрестности. Мальчик пока спит. Лужицы дождевой воды на полу, от каждой упавшей капли вспухают пузыри, и разбегаются, и лопаются. И так без конца. Однажды в городишке у подножия гор они тоже ночевали в похожем месте. Слушали дождь. Там же наткнулись на старомодное заведение: тут тебе и аптека, и закусочная, и магазин. Прилавок из черного мрамора, высокие хромированные табуреты с видавшими виды сиденьями, кое-как заклеенными изоляционной лентой. Аптечный ларек разграбили, а сам магазин, как ни странно, не тронули. Полки заставлены дорогой электронной техникой. Стоял, рассматривал магазин. Большой выбор. Галантерея. А это что? Схватил сына за руку и потащил к выходу, но было уже поздно – ребенок успел увидеть. В конце прилавка под стеклянным колпаком для торта – человеческая голова. Отрубленная. В кепке. Высохшие глаза глубоко запали в глазницы. Выражение глубокой грусти. Или ему это приснилось? Нет. Поднялся, и наклонился,

и подул на угли, и продвинул в середину полуобгоревшие доски, и костер тогда хорошо занялся.

– Где-то же есть хорошие люди. Ты сам говорил.
– Говорил.
– Ну и где же они?
– Прячутся.
– От кого?
– Друг от друга.
– Их много?
– Этого мы не знаем.
– Но сколько-то есть, да?
– Сколько-то, конечно, есть.
– Это правда?
– Да, правда.
– А может, и нет.
– Думаю, что правда.
– Ну хорошо.
– Ты мне не веришь.
– Верю.
– Вот и отлично.
– Я всегда тебе верю.
– Сомневаюсь.
– Всегда. Я должен тебе верить.

Возвращались по грязи назад на дорогу. После дождя пахнет землей и мокрым пеплом. Придорожная канава с черной водой. Хлещет из железной дренажной трубы. Пластмассовый олень во дворе. Чуть позже в тот же день вошли в небольшой городок. Им навстречу из-за грузовика вышли трое мужчин, загородили дорогу. Истощенные, в каком-то тряпье. В руках – куски труб. Спросили: "Что у тебя в тележке?" Он направил на них револьвер. Не двигаются. Сын вцепился в его куртку. Все молчат. Начал толкать тележку, отступили к обочине. Отдал тележку мальчику, а сам шел пятясь, направив на них револьвер. С таким видом, будто он разбойник с большой дороги, а у самого сердце почти выскакивало из груди и вот-вот начнется приступ кашля. Те трое вернулись на прежнее место, не спуская с них глаз. Засунул револьвер за пояс, и повернулся к ним спиной, и взялся за тележку. Взобравшись на пригорок, оглянулись: стоят. Велел мальчику везти тележку, сам пересек какой-то двор и вышел на пятачок, откуда дорога хорошо просматривалась: испарились. Мальчик был сильно напуган. Отец бросил револьвер поверх вещей, забрал у мальчика тележку, и они пошли дальше.

Залегли в поле и до самой темноты наблюдали за дорогой. Никто не проходил. Холодно. Когда совсем стемнело, вытащили тележку на дорогу, он выдернул одеяла, закутались и пошли. Вслепую. Одно колесико стало периодически попискивать, придется с этим мириться. Так они брели несколько часов, а потом, с трудом пробравшись сквозь придорожный кустарник, дрожащие и обессиленные, улеглись на холодной земле и проспали до наступления дня. Проснувшись, понял, что заболел.

У него начался жар, пришлось отлеживаться в лесу. Словно беглецам. Негде разжечь костер. Небезопасно. Мальчик сидел в ворохе листьев, смотрел на отца. Черные круги под глазами.

– Ты не умираешь, папа? Не умираешь?

– Нет, просто сильно заболел.

– Мне очень страшно.

– Я понимаю. Ничего-ничего. Я поправлюсь, вот увидишь.

Его сны преобразились. Вернулся исчезнувший мир. Видел свою семью, все давно умершие, искоса, по-чудному на него смотрят. Никто ни слова. Стал вспоминать свою жизнь. Эпизод из далекого прошлого. Мрачный день в городе в какой-то чужой стране. Он стоит у окна и смотрит вниз на улицу. У него за спиной – деревянный столик с погасшей лампой. На столе – книги и бумаги. Начался дождь, и тогда кот, сидящий на противоположной стороне улицы, встал, и перешел дорогу, и, зевая, уселся под навесом кафе. За столиком сидела женщина, подперев голову руками. Много лет спустя он стоял в уничтоженной пожаром библиотеке с валяющимися в лужах на полу почерневшими книгами. Опрокинутые книжные полки. Вспыхнула злость на это собрание лжи, заключенной в тысячах и тысячах томов. Поднял один – тяжелый, разбухший от воды – и полистал страницы. Ему никогда не приходило в голову, сколь важны будут любые мелочи, о которых говорилось в книгах. Поразился: ведь ничего похожего на сегодняшний мир не существовало. Выронил книгу, и бросил последний взгляд, и вышел навстречу холодному серому свету.

Прошло три дня. Четыре. Спал отвратительно. Проснулся от мучительного кашля. Хриплое дыхание.

– Извини, – прошептал в безучастную темноту.

– Ничего, – откликнулся мальчик.

Зажег крохотный масляный светильник и оставил его на камне, встал и поковылял по сухим листьям, закутавшись в одеяло. Мальчик прошептал ему в спину, чтобы он не уходил.

– Я чуть-чуть. Совсем недалеко. Услышу, если крикнешь.

Если ветер задует светильник, обратной дороги ему не найти. Сидел в листьях на вершине холма и всматривался в черноту. Смотреть не на что. Ветра нет. В прошлом, когда он так же подымался на гору, и сидел, и разглядывал едва различимые очертания местности, где заблудившаяся луна прокладывала себе дорогу посреди отравленной пустыни, иногда видел мерцание света. Расплывчатое и тусклое в густом мраке. На другом берегу реки или далеко в темных кварталах сожженного города. По утрам он возвращался на то же место с биноклем и изучал окрестности в надежде увидеть дымок костра, но ни разу так и не увидел.

Стоит на краю зимнего поля в толпе суровых мужчин. Лет ему приблизительно столько же, сколько сейчас сыну. Ну, может, чуть постарше. Смотрит, как взрослые ухают кирками и мотыгами по каменистой почве. Наконец вытащили на свет огромный клубок змей, сотню, не меньше. Змеи, извиваясь, прильнули друг к другу, чтобы согреться. Поти-

хоньку их вялые тела начинают шевелиться в лучах холодного бьющего в глаза света. Словно кишки какого-то огромного чудовища, вываленные на всеобщее обозрение. Люди обрызгали их бензином и подожгли. Не будучи в силах справиться с самим злом, жгли змей заживо, считая их олицетворением зла. Охваченные огнем, змеи извивались от боли, некоторые уползли вглубь грота, освещая пламенем дальние углы. Они ведь немые, а потому не было криков, и люди смотрели на их мучения молча, а потом в лучах зимнего заката, не говоря ни слова, разошлись по домам, чтобы не пропустить ужин.

Как-то мальчик пробудился от ночного кошмара и не захотел рассказывать отцу, что ему снилось.

— Не хочешь, не говори. Это нормально.

— Я боюсь.

— Все хорошо.

— А вот и нет.

— Это ведь был всего-навсего сон.

— Мне очень страшно.

— Знаю.

Мальчик отвернулся. Отец крепко обнял его. Сказал:

— Послушай меня.

— Что?

— Если тебе снится мир, которого раньше не было или которого никогда не будет, и тебя переполняет радость, то это как раз означает, что ты сдался. Понимаешь? Но ты не имеешь права сдаваться. Я тебе не позволю.

Когда они наконец пошли дальше, его все еще одолевала слабость, и сколько бы он себя ни обманывал, отчаяние овладело им как никогда раньше. Понос не прекращается, мерзость какая, совсем нету сил, приходится крепко держаться за ручку тележки. Глянул на мальчика ввалившимися глазами. Холодок отчуждения. Сердце не обманешь — сразу почувствовало. Через пару дней добрели до участка дороги, где пожары уничтожили все. Спекшийся слой пепла толщиной в несколько дюймов, тележка идет с трудом. Под такой коркой дорога сначала вспучилась от жара. а потом просела. Облокотился на ручку тележки и посмотрел вдаль. Хилые деревья внизу. Ручьи, наполненные серой жижей. Потемневшая опустошенная земля.

Преодолев эту выжженную местность, они начали находить на дороге вещи, брошенные когда-то беженцами. Коробки и мешки. Полусгоревшие и черные. Старые чемоданы, искореженные огнем до неузнаваемости. Кое-где в пепле — пустые ямки, там, где мародерам удалось выковырять отдельные предметы. Пройдя еще милю, стали натыкаться на мертвецов. Тела, по пояс увязшие в пепле, цепляются друг за друга, рты открыты в немом крике. Положил руку на плечо сына, велел:

— Повернись ко мне. Тебе не нужно это видеть.

— Все, что ты сейчас запомнишь, останется с тобой навсегда? Так?

— Да.

— Все нормально, пап.

— Все нормально?

— Да. Я все запомнил.

— Я не хочу, чтобы ты на них смотрел.

— Они от этого не исчезнут.

Отец остановился и облокотился на тележку. Посмотрел на дорогу, потом на мальчика. Странное спокойствие. Ребенок сказал:

— Пошли-ка дальше.

— Да-да, пошли.

— Они ведь пытались спастись, папа?

— Да.

— Почему же они не сошли с дороги?

— А куда им было идти? Все полыхало в огне.

Пробирались среди мумифицированных тел. Пепел под ногами. Черная, туго натянутая кожа на телах, потрескавшаяся и съежившаяся — на черепах. Будто громадным насосом выкачали жизнь. В молчании шли по беззвучному коридору, мимо этих душ, обреченных на вечные муки в холодном пекле дороги.

Прошли через придорожное селение, сожженное дотла. Какие-то металлические цистерны, отдельные сохранившиеся трубы из закопченного кирпича. В канавах — серые шлакообразные скопления расплавленного стекла. Вдоль дороги на мили тянутся спирали оголенных электрических проводов. Непрерывно кашлял. Заметил, что мальчик внимательно за ним наблюдает. Только о нем и думает, бедняжка. А надо ли ему это?

Расположились на дороге, съели остатки жареных хлебцев, твердых как камень, и последнюю банку тунца. Открыл банку чернослива в сиропе, передавали друг другу. Мальчик наклонил банку, и допил последние капли сиропа, и зажал банку между колен, и провел указательным пальцем по стенкам внутри, и засунул палец в рот. Отец проворчал:

— Смотри не порежь палец.

— Ты всегда так говоришь.

— Знаю.

Наблюдал, как мальчик облизывает крышку: осторожно, похоже, будто кот вылизывает свое отражение в стекле. Мальчик сказал:

— Не смотри.

— Ладно.

Пригнул крышку и поставил банку перед собой на дороге.

— Что? — спросил мальчик. — Что-то не так?

— Нет-нет.

— Скажи мне.

— Мне кажется, кто-то идет за нами по пятам.

— Я так и думал.

— Ты так и думал?

— Да. Я подумал, ты что-то подобное скажешь. Что ты собираешься делать?

— Пока не знаю.

— Что-нибудь придумал?

– Давай-ка пойдем. Начнем с того, что будем убирать за собой мусор.

– Чтобы они не решили, будто у нас много еды.

– Да.

– И тогда они попытаются нас убить.

– Они нас не убьют.

– Попытаться могут.

– Нам пока нечего бояться.

– Это хорошо.

– Думаю, не мешало бы подождать в укрытии и посмотреть, кто они.

– И сколько их.

– Правильно, и сколько их.

– Хорошо.

– Если нам удастся перейти ручей, то можно взобраться вон на тот утес и оттуда следить за дорогой.

– Хорошо.

– Найдем местечко.

Поднялись и сложили одеяла в тележку.

– Подбери банку, – сказал отец.

Только в сумерках они добрались до того места, где дорога пересекала ручей. Прошли по мосту и затащили тележку в лес, ища, где бы ее незаметно припрятать. Стояли, смотрели на дорогу, освещенную закатным солнцем. Мальчик сказал:

– А что, если мы ее под мостом спрячем?

– А вдруг они захотят спуститься за водой?

– Как ты думаешь, они сильно отстали?

– Не знаю.

– Темнеет.

– Да.

– А что, если они и ночью не останавливаются?

– Знаешь, давай найдем, откуда можно следить за дорогой. Пока совсем не стемнело.

Спрятали тележку, и, прихватив одеяла, поднялись по каменистому откосу и устроили наблюдательный пункт, откуда дорога сквозь частокол деревьев просматривалась не меньше чем на полмили. Расположились с подветренной стороны, и закутались поплотнее в одеяла, и по очереди дежурили. Мальчик не выдержал, уснул. Отец и сам уже начал засыпать, как вдруг увидел фигуру человека, остановившегося на взгорке посреди дороги. Вскоре появились еще двое. И четвертый. Сбились в кучу, постояли. Потом пошли вперед. В сумерках он с трудом их различал. Испугался, что они решат встать поблизости на ночлег, пожалел, что не нашел место подальше от дороги. Если останутся на мосту, им с мальчиком предстоит долгая опасная ночь. Четверо спустились по дороге и перешли по мосту на другую сторону. Трое мужчин и одна женщина. Женщина идет по-утиному, вразвалку; когда подошла поближе, то он разглядел: беременна. У мужчин за плечами рюкзаки, женщина тащит небольшой чемоданчик. Опустившиеся, жалкие бродяги. Описать невозможно. Пар

изо рта. Нет, не остановились, продолжили свой путь и вскоре один за другим исчезли в ночи.

И что же? Ночь и вправду оказалась долгой. Как только стало светать, надел ботинки, поднялся, завернувшись в одно из одеял, подошел к краю утеса и стал всматриваться в дорогу внизу. Голые деревья стального цвета, по обеим сторонам дороги поля. Зубчатые очертания старых прицепов к боронам. Наверное, для сбора хлопка. Мальчик спал, и отец спустился к тележке, и вытащил карту, и бутылку воды, и банку фруктов из их оскудевших запасов, и вернулся назад, и сидел в одеялах, изучая карту.

– Ты всегда преувеличиваешь, столько мы не прошли.

Передвинул палец:

– Ну что же, тогда мы здесь.

– Еще нет.

– Здесь.

– Правильно.

Он собрал измятые ветхие куски карты. Сказал:

– Хорошо.

Сидели и сквозь деревья рассматривали дорогу.

Как думаешь, праотцы смотрят на нас сверху? Записывают в свой кондуит грехи и добродеяния? А судьи кто? Никакой учетной книги не существует, а праотцы все давно сгнили в земле.

Характер леса вокруг изменился: среди сосен все чаще стали попадаться вечнозеленые южные дубы. Магнолии. Мертвые, конечно. Он подобрал один мясистый лист, раскрошил в пальцах и высыпал порошок на землю.

Раннее утро следующего дня. Только вышли, как мальчик дернул его за рукав, и они остановились. Из лесу впереди поднимался тонкой струйкой дымок костра. Стояли, глядя на дым.

– Что делать, пап?

– Неплохо бы проверить, что там такое.

– Давай не будем останавливаться.

– А вдруг они тоже идут в ту сторону?

– И что?

– Тогда получится, что они следуют за нами по пятам. Хотелось бы знать, кто они.

– А вдруг их там целая армия?

– Что ты, костер совсем маленький.

– А просто подождать нельзя?

– Нельзя. У нас совсем не осталось еды. Надо идти вперед.

Оставили тележку в лесу, он проверил, хорошо ли поворачивается барабан с настоящим и поддельными патронами. Слушали. В неподвижном воздухе струйка дыма поднималась строго вверх. Ни звука. После недавнего дождя листья под ногами мягкие, не шуршат. Обернулся и глянул

на мальчика. Грязное лицо перекошено от страха. Не подходя слишком близко, обошли костер кругом, мальчик не отпускал его руку. Присел и обнял ребенка, и они долгое время внимательно слушали. Прошептал:

– Мне кажется, они сбежали.

– Что?

– Мне кажется, они убежали. Один сидел на стрёме и нас заметил.

– А вдруг это засада?

– Может быть. Давай подождем.

Подождали. Видели дым за деревьями. От поднявшегося ветра столбик начал заваливаться, а потом ветер подул в их сторону и принес с собой запах. Запах еды, готовящейся на костре. Отец сказал:

– Давай сделаем еще один круг.

– Можно я возьму тебя за руку?

– Конечно можно.

Вместо леса – обугленные стволы. Ничего и никого. Отец сказал:

– Думаю, они нас заметили. Заметили и убежали. Увидев, что мы вооружены. Даже еду бросили.

– Да.

– Давай посмотрим.

– Страшно, пап.

– Тут никого нет. Не бойся.

Подошли к небольшой полянке, мальчик изо всех сил цеплялся за его руку. Те люди забрали все свои пожитки, за исключением чего-то черного на вертеле над углями. Он стоял и осматривался, как вдруг мальчик развернулся и уткнулся лицом ему в живот. Быстро-быстро посмотрел по сторонам, стараясь понять, что произошло. Спросил:

– Что такое? Что случилось?

Мальчик покачал головой, прошептал:

– Ой, папа.

Обернулся и посмотрел повнимательнее. То, что увидел мальчик, оказалось обугленным телом новорожденного младенца, без головы, выпотрошенного, насаженного на жердь и поджаривающегося над костром. Отец наклонился, и взял сына на руки, и понес его к дороге, крепко прижимая к себе. Прошептал:

– Прости ради бога. Прости меня.

Не знал, заговорит мальчик когда-нибудь или нет. Ночевать остановились у реки, и он сидел у огня, прислушиваясь к шуму несущейся в темноте воды. Опасное место, грохот потока заглушает другие звуки, но он решил, что мальчика приободрит близость воды. Доели все, что у них к тому времени осталось, и он сел изучать карту. Обрывком веревки мерил расстояние. До побережья еще идти и идти. Не мог представить, что́ их там ждет. Сложил стопочкой куски карты, и убрал их в целлофановый пакет, и сидел, уставившись на угли.

На следующий день пересекли реку по узкому железному мосту и попали в старый фабричный городок. Прочесывали деревянные дома – ничего. На веранде восседает в кресле высохший труп. Одет в комбинезон. Сидит там с незапамятных времен. Похож на чучело из рекламы,

извещающее о предстоящих праздниках. Пошли вдоль длинной и темной стены фабрики, окна заложены кирпичом. Впереди по дороге ветер гонит тучи мельчайшей черной сажи.

На дороге иногда попадаются неожиданные вещи: электроприборы, мебель, инструменты. Пилигримы давно от них отказались и бросили на пути к своей общей смерти. Еще год назад мальчик бы поднял какую-нибудь чепуху и нес некоторое время, а сейчас его это не интересовало. Присели отдохнуть и выпить воды. Все, чистая вода закончилась. Пустую пластмассовую бутылку оставили на дороге. Мальчик сказал:

– Будь ребеночек жив, могли бы забрать его с собой.

– Да, могли бы.

– Откуда он взялся?

Отец промолчал.

– А еще где-нибудь есть дети?

– Не знаю. Возможно.

– Мне стыдно за то, что я сказал про тех людей.

– Каких людей?

– Ну, тех, которые сгорели. На дороге. Застряли и сгорели.

– Я не помню, чтобы ты что-то плохое про них говорил.

– Я плохого не говорил. Можем уже идти?

– Хорошо. Может, прокатишься в тележке?

– Нет, не хочется.

– Ну, давай, недолго.

– Не хочу. Не надо.

На ровной плоской равнине вода замедляет бег. Серые затопленные низины вдоль дороги. Никакого движения. Свинцовые извивы мелких речушек посреди мертвых полей. Текут в сторону океана. Отец с сыном продолжали идти. Дорога шла под уклон, и впереди виднелись заросли камыша.

– Думаю, там будет мост. Скорее всего, через ручей.

– Воду из него можно пить?

– У нас выбора нет.

– Не заболеем?

– Вряд ли. Может, и воды-то в нем никакой нет.

– Можно я первым пойду?

– Да, конечно.

Мальчик припустил по дороге. Давненько он не видел, чтобы сын бегал. Локти оттопырены, кеды великоваты, гулко хлопают по земле при беге. Отец остановился и наблюдал за мальчиком, кусая губы.

Воды в ключе – с гулькин нос. Присмотрелся: вроде движется, течет, уходя в бетонную трубу под дорогой. Плюнул в воду, чтобы убедиться, что она проточная. Из тележки принес кусок ткани и пластмассовую банку, и обмотал горлышко банки, и опустил ее в воду, и ждал, пока наполнится. Поднял мокрую банку вверх, посмотрел на свет. Вроде пить можно. Снял тряпку и дал банку мальчику:

– Пей.

Мальчик отхлебнул и протянул банку отцу.

— Ну что же ты, пей еще.
— Пап, твоя очередь.
— Ладно.

Сели и процедили воду от пепла. Пили, пока чуть не лопнули. Мальчик развалился на траве.

— Нам пора.
— Я так устал.
— Знаю.

Сидел и смотрел на сына. За последние три дня у них крошки во рту не было. Еще дня два, и совсем ослабеют. Взобрался по откосу прямиком через камыш проверить обстановку на дороге. Темная, черная, на открытом пространстве сливается с землей. Ветры унесли с собой пепел и пыль с поверхности дороги. В прошлом — плодородный край. А теперь — никаких признаков жизни. Эту часть страны он уже не знал. Названия городов и рек для него — пустой звук.

— Ну, пошли. Нам пора.

На обоих напала невероятная сонливость. Уже не раз такое случалось: засыпали прямо в пути, распластавшись на дороге, словно жертвы автомобильной катастрофы. Сон смерти. Так и сейчас. Сел, выпрямился, потянулся за револьвером. Встал. Стоял в свинцовом мареве, опершись локтями на ручку тележки, рассматривал дом в поле, приблизительно в миле от них. Мальчик его первым заметил. Сквозь занавес гари то появлялся, то пропадал из виду. Дом-призрак из страшных снов. Не отрываясь от тележки, посмотрел на сына. До дома не так-то просто добраться. Одеяла придется тащить на себе. Тележку спрятать в укромном месте. Дойти-то они дойдут, пока светло, а вот обратно...

— Надо бы его осмотреть. Ничего не поделаешь...
— Не хочу.
— Столько дней без еды...
— Я не голоден.
— Нет, ты просто умираешь с голоду.
— Я не хочу туда идти, папа.
— Там никого нет. Я уверен.
— Откуда ты знаешь, что там никого нет?
— Знаю, и все.
— Там может кто-нибудь быть.
— Никого нет. Все будет нормально.

Закутавшись в одеяла и прихватив с собой только револьвер и банку с водой, побрели по полю. Поле — вспаханное, с пучками соломы в бороздах, со следами пахоты. По бороздам видно — распашка шла с востока на запад. После недавнего дождя земля пружинила под подошвами, и он шел, внимательно глядя себе под ноги. Не прошло и пяти минут, как нашел наконечник стрелы. Плюнул на кончик, и обтер о штанину, и отдал стрелу сыну. Из белого кварца, в идеальном состоянии, будто только вчера сделана. "Здесь их много. Смотри вниз и найдешь". Сам нашел еще две. Из серого кремня. Следом нашел монету. Или пуговицу. Сильно окислилась, не разобрать. Ковырнул ногтем. Все-таки монета. Достал ножик и с предельной осторожностью стал соскребать ярь-медян-

ку. Монета-то испанская... Стал звать мальчика, который уже далеко ушел вперед, а потом глянул на мрачную местность вокруг и серое небо, и бросил монету, и поспешил вслед за сыном.

Стояли перед домом, разглядывали. Гравийная дорожка, заворачивающая на юг. Кирпичная терраса. Лестницы по бокам, взлетающие к портику с колоннами. За домом — кирпичная пристройка, когда-то, наверное, служила кухней. За ней — бревенчатый домишко. Отец только сделал первый шаг вверх по лестнице, как мальчик потянул его за рукав.

— Давай подождем?

— Ну хорошо. Только учти, быстро темнеет.

— Знаю.

— Хорошо.

Усевшись на ступеньки, смотрели вдаль. Отец сказал:

— Здесь никого нет.

— Кажется, нет.

— Ты все еще боишься?

— Да.

— С нами ничего не случится.

— Хорошо.

Поднялись по ступеням на широкую, выложенную кирпичом террасу. Входная дверь выкрашена в черный цвет, приоткрыта, в проем вставлен шлакоблок. Ветром внутрь нанесло кучу сухих листьев и травы. Мальчик схватил его за руку:

— Папа, почему дверь открыта?

— Ну, открыта. Скорее всего, уже не первый год. Возможно, хозяева открыли, когда вытаскивали вещи.

— Давай подождем до завтра.

— Не бойся. Только посмотрим, и все. Пока еще светло. Если нам ничто не угрожает, попробуем развести костер.

— Но в доме не останемся, правда?

— Не хочешь, не останемся.

— Хорошо.

— Хочешь, водички попьем?

— Давай.

Достал бутылку с водой из бокового кармана куртки, и открутил пробку, и смотрел, как мальчик пьет. Потом отпил сам, закрутил пробку, и взял мальчика за руку, и они вошли в темный вестибюль. Высокие потолки. Заграничная люстра. В последних лучах солнца высокое венецианское окно на площадке, ведущей на второй этаж лестницы отбрасывает удлиненную расплывчатую тень на стену.

— Нам же не обязательно идти наверх, правда, пап?

— Нет. Может, завтра.

— После того как убедимся, что нам ничто не угрожает?

— Да.

— Ну хорошо.

Вошли в гостиную. Под слоем зернистого пепла проступают очертания ковра. Мебель накрыта чехлами. Светлые пятна на стенах там, где ког-

да-то висели картины. В комнате на противоположной стороне вестибюля — рояль. Их собственные отражения в тонком замутненном стекле окна. Вошли и замерли, вслушиваясь. Ходили из комнаты в комнату, словно привередливые покупатели. Сквозь высокие окна смотрели, как темнеет на улице.

Кухня со всем необходимым: и ножи, и кастрюли, и фарфоровая посуда. Большая кладовка, дверь которой бесшумно закрылась у них за спиной. Выложенный плиткой пол и ряды полок. А на полках — несколько десятков литровых стеклянных банок. Подошел к полке, взял одну и сдул с нее пыль. Фасоль. Красный перец, плотно набитый в банку. Помидоры. Кукуруза. Молодой картофель. Окра. Мальчик наблюдал за отцом. Тот стер толстый слой пыли с крышки и нажал пальцем в середине. Быстро темнело. Взял пару банок, и подошел к окну, и посмотрел их на просвет, поворачивая в разные стороны. Повернулся к сыну, сказал:

— Они могут быть ядовитыми. Придется хорошенько все проварить. Как ты к этому относишься?

— Не знаю.

— Что предлагаешь?

— Ты сам решай.

— Мы оба должны решить.

— Думаешь, это можно есть?

— Думаю, если как следует проварить, то можно.

— А как ты думаешь, почему к ним никто не притронулся?

— Думаю, их не нашли. Дом с дороги не видно.

— Мы же увидели?!

— Это ты увидел.

Мальчик рассматривал банки.

— Ну, что думаешь?

— Думаю, ничего не остается, как...

— Я с тобой согласен. Давай наберем дров, а то уж скоро совсем стемнеет.

Набрав полные охапки сухих веток, притащили их через кухню в столовую, изломали на мелкие куски и доверху набили камин. Подожгли ветки, и дым вырвался клубами, огибая крашеное перекрытие, рванул вверх, а потом устремился вниз. Отец энергично помахал на огонь журналом, и вскоре тяга в трубе наладилась и огонь заполыхал во всю силу, освещая стены и потолок и отражаясь в бесчисленных подвесках хрустальной люстры. Высветил темное стекло окна, около которого стоял сын — на лицо надвинут капюшон, похож на тролля. Идущее от камина тепло будто заворожило ребенка. Отец стянул чехол с длинного стола в стиле ампир, стоящего в центре комнаты, вытряхнул и, свернув, соорудил из него лежанку перед камином. Затем усадил мальчика, стащил с него обувь и грязные портянки. Прошептал:

— Все в порядке. Все в порядке.

На кухне в ящике нашлись свечки. Две из них он зажег, и накапал воска на кухонную стойку, и прилепил их туда. Потом принес с улицы еще дров и сложил у камина. Мальчик сидел не шевелясь. На кухне выбрал

кастрюлю, вытер ее, поставил на стойку, а потом попробовал открыть одну из банок, но не смог. Понес банки фасоли и молодого картофеля к входной двери, и при свете свечки в стакане опустился на колени, и вставил боком одну банку в проем между дверью и косяком, и зажал ее дверью. Затем, сидя на полу в вестибюле, ногой подтолкнул дверь так, чтобы крышка не двигалась, и стал руками поворачивать банку. Крышка провернулась, сдирая краску с дверного косяка. Повторил всю процедуру сначала. Сперва крышка ерзала, потом наконец остановилась. Он медленно повернул, затем ее вытащил. Таким же образом открыл вторую банку, и поднялся, и направился на кухню: в одной руке — банки, в другой — вращающаяся в стакане свечка, того и гляди погаснет. Большими пальцами пробовал подцепить крышки, но они не поддавались. Решил, что это хороший знак. Приладил крышку к краю стола и ударил по ней кулаком, крышка отскочила и упала на пол. Поднес банку к носу и понюхал. Восхитительно вкусно пахнет! Вывалил картофель и фасоль в кастрюлю, пошел в столовую и засунул кастрюлю в камин.

Медленно ели из фарфоровых тарелок, сидя на противоположных концах стола с горящей свечкой посередине. Револьвер лежит на столе, рядом с тарелкой, словно один из столовых приборов, а не оружие. Нагревающийся дом скрипит и стонет. Будто живое существо, пробуждающееся от долгой спячки. Мальчик заснул, сидя над тарелкой, ложка с грохотом упала на пол. Отец встал, подошел к сыну и понес его к камину, и положил на лежанку, и укрыл одеялами. Потом, должно быть, вернулся к столу, так как, проснувшись ночью, обнаружил, что сидит в кресле, голова свалилась на скрещенные на столе руки. В комнате холодно, за окнами завывает ветер. Оконные рамы слегка подрагивают. Свеча целиком выгорела, а от костра в камине остались одни угли. Встал и развел огонь, и сидел рядом с мальчиком, укрыв его получше и зачесав назад засаленные волосы. "Думаю, они наблюдают за нами. Ищут то, что даже смерть не в силах уничтожить. Если ничего не найдут, плюнут на нас и никогда назад не вернутся".

Мальчик никак не хотел отпускать его. Отец пытался его уговорить:

— На втором этаже могут быть одеяла. Обязательно надо взглянуть.

— Я не хочу, чтобы ты туда шел.

— Там никого нет.

— Кто-нибудь может быть.

— Никого там нет. Думаешь, до сих пор бы не спустились?

— Может, они боятся.

— Скажем, что мы их не обидим.

— Может, они мертвые.

— Тогда тем более не будут возражать, если мы возьмем пару вещей. Слушай, что бы там ни было, лучше быть в курсе, чем в неведении.

— Почему?

— Почему? Ну, во-первых, мы не любим неожиданностей. Неожиданности пугают. А мы не любим бояться. Во-вторых, там могут оказаться полезные вещи. Обязательно надо подняться.

— Ладно.

— Ладно? Ты согласен?

— Ты же меня все равно не послушаешься.

— Я всегда с тобой считаюсь.

— Редко.

— Поверь, наверху никого нет. Дом простоял пустой много лет. Ни следов в пепле, ни горелой мебели в камине. Все осталось нетронутым. Даже продукты.

— Следы в пепле не сохраняются, ты сам говорил. Ветер сдувает.

— Ты как хочешь, а я пойду проверю.

Они провели в доме четыре дня. Ели, отсыпались. Нашли наверху несколько одеял, и притащили кучу дров, и сложили их в углу комнаты, чтобы высохли. Нашел старую-престарую лучковую пилу. Распиливал ею сухие стволы. Зубья ржавые и тупые. Сидя у камина, попробовал заточить пилу напильником, но безуспешно. В сотне ярдов от дома бежал ручей, и отец таскал ведра по раскисшему полю, и они нагрели воду в ванной рядом со спальней на первом этаже, и подстриглись, а отец побрился. Нашли наверху одеяла и подушки, чистую одежду и переоделись во все новое. Мальчику штаны пришлось укорачивать, обрезав снизу. На полу перед камином устроили себе кровать. Чтобы жар не выдувало, придвинули к изголовью старинный высокий комод. А дождь так и не переставал. Подставили ведра под водосточные трубы по углам дома, чтобы собрать дождевой воды, стекающей со старой железной крыши. По ночам слушал, как вода барабанит в комнатах наверху. Капало по всему дому.

Они перерыли все подсобные помещения рядом с домом. Нашли тачку, и отец вытащил ее на улицу, перевернул и медленно крутил колесо, проверяя, цела ли шина. Резина потрескалась и высохла, но он решил, что еще какое-то время продержится, и, порывшись в старых ящиках и в куче инструментов, нашел насос от велосипеда, и прикрутил его к клапану шины, и начал подкачивать. Шина с краю спускала, но он попросил мальчика зажать пальцем это место, и тогда у них получилось кое-как ее надуть. После этого он отсоединил шланг, поставил тачку на пол и прокатил вперед-назад, проверяя. А потом выкатил на улицу, под дождь, чтобы ее промыло. Еще через два дня, когда они наконец двинулись дальше, погода наладилась, и они спускались по размокшей дороге, толкая тачку с новыми одеялами и банками с консервированными овощами, упакованными в запасную одежду. Отец отыскал для себя пару рабочих бутсов, для мальчика — голубые кеды, набил их тряпками, чтоб не спадали; у обоих теперь чистые маски. Дошли до вершины холма, оттуда пришлось вернуться назад и забрать тележку; повезло, что идти было недалеко, меньше мили. Мальчик шагал рядом, одной рукой держась за край тележки:

— Пап, мы молодцы, правда?

— Да, неплохо управились.

Еды у них было много, но ведь до побережья еще идти и идти. Понимал, что надеяться особо не на что. Глупо ждать просвета, тогда как мир вокруг день ото дня становится только мрачнее. Однажды в магазине видеотехники подобрал фотометр. Думал найти к нему батарейки, долго

таскал с собой, но так и не нашел. По ночам, просыпаясь от удушливого кашля, садился и вытягивал над головой руку — навстречу темноте. Как человек, очнувшийся в могиле. Как эксгумированные останки в воспоминаниях из его детства, извлеченные на свет, чтобы освободить место для хайвея. Много народу умерло во время эпидемии холеры, и все были в спешке захоронены в деревянных гробах. Гнилые, разваливающиеся ящики. Мертвецы, лежащие на боку, колени подогнуты, некоторые — вниз лицом. Тусклые зеленоватые медяки выпали из глазниц на прогнившие, в пятнах, днища.

В маленьком городке набрели на продуктовый магазин с чучелом оленьей головы на стене. Мальчик долго-долго ее рассматривал. На полу валялись осколки стекла, и отец велел ему ждать у входной двери, пока сам раскидывал ногами мусор в проходах. Пусто. Перед магазином — две бензозаправочные колонки. Уселись на асфальт и на веревочке опустили маленькую железную банку в резервуар в земле, вытащили и вылили примерно стакан бензина в пластмассовую бутыль и опустили опять. Для веса привязали к банке короткий кусок трубы и ползали на коленках добрый час, пока не заполнили бутыль доверху. Наверное, похожи были на обезьян, ковыряющихся соломинками в муравейнике. Потом закрутили пробку, поставили бутыль на нижнюю решетку тележки и пошли дальше.

Долгие дни. Открытое пространство, только пепел летит по дороге. По вечерам мальчик сидел у костра с кусками карты, разложил их на коленях. Наизусть выучил названия городов и речушек и каждый день отмечал, сколько они прошли.

Ограничивали себя в еде. Продукты на исходе. Мальчик стоял посреди дороги, держа карту. Вслушивались. Тишина. С восточной стороны попрежнему тянулось пустое пространство, но воздух стал другим. А потом за поворотом дороги... И они остановились и откинули капюшоны курток, и соленый ветер трепал им волосы. Далеко внизу расстилался серый пляж с накатывающими на берег унылыми серебристыми волнами, и слышен был отдаленный звук прибоя. Словно скорбный крик чужого моря, бьющегося о берега никому не известного мира. Вдали, посреди морской глади — полузатопленный танкер, а за ним — ширь холодного океана. Тяжело вздымается, будто перекатывается бочка шлака, еще дальше — серая дымная полоса. Глянул на сына. Гримаса разочарования на лице.

— Прости, видишь, он даже совсем не синий оказался.

— Ничего.

Час спустя они сидели на берегу и рассматривали дымную завесу на горизонте. Пятки в песке, к ногам подкатывают мрачные волны. Суровый океан. Пустой. Безжизненный. Оставили тележку в проходе между дюнами и, прихватив с собой одеяла, спрятались от ветра под защитой огромного бревна, выброшенного прибоем на берег. Долго так сидели. Под ногами — валики нанесенного прибоем мусора вперемешку с мелкими костями. Вдалеке — выбеленные солью и ветром скелеты, скорее

всего коров. Серые соляные разводы на камнях. Ветер не стихал, гнал по песку сухие стебли.

– Как ты думаешь, корабли еще плавают где-нибудь?

– Думаю, нет.

– Из-за плохой видимости?

– Да.

– А что на той стороне?

– Ничего.

– Что-то же должно быть. Может, там тоже сидит на берегу папа со своим маленьким сыном.

– Было бы здорово.

– Да, здорово. Они тоже несут огонь?

– Может быть. Да.

– Но этого мы знать не можем?

– Не можем.

– И поэтому должны быть всегда начеку?

– Да.

– Мы долго здесь пробудем?

– Не знаю. У нас ведь продукты на исходе.

– Да, правда.

– Тебе нравится океан?

– Очень.

– Мне тоже.

– Я могу поплавать?

– Поплавать?

– Да.

– Да ты себе все на свете отморозишь!

– Ну и пусть.

– Не представляешь, как холодно. Намного холоднее, чем ты думаешь.

– Ничего.

– Мне бы не хотелось лезть тебя спасать в ледяную воду.

– Думаешь, не стоит рисковать?

– Хочешь – иди.

– Но ты считаешь, что не надо.

– Вовсе нет. Считаю, что обязательно надо.

– Правда?

– Да.

– Отлично.

Мальчик вскочил, уронил одеяло на песок, догола разделся. Приплясывал на месте от холода, обхватив себя руками. Затем побежал по пляжу. Белый как молоко. Выступающие позвонки. Острия лопаток, кажется, вот-вот проткнут бледную кожу. Бежит голяком, кричит и барахтается в медлительных волнах.

Вылез из воды синий от холода, зубы стучат. Отец спустился к воде, обернул его одеялом и держал в объятиях, пока мальчик не перестал дрожать. Но когда заглянул ему в лицо, увидел, что сын плачет.

— Что случилось?
— Ничего.
— Скажи мне.
— Ничего.

Когда стемнело, развели костер около бревна и съели полные тарелки окры и бобов и прикончили последнюю картошку. Фрукты давно закончились. Выпили чаю, грелись у огня, устроились спать на песке, а потом он слушал шум волн в заливе. Взлетают, падают. Посреди ночи проснулся, пошел по берегу и стоял, закутавшись в одеяла. Слишком темно, чтобы что-нибудь разглядеть. Вкус соли на губах. Жди. Терпение. Наконец гулкий грохот от удара волн о берег. Шуршание нахлынувшей воды. Схлынула. Подумал: а вдруг где-то там под распущенными драными парусами ходят корабли-призраки. А может, на дне океана сохранилась жизнь. В холодном мраке огромные кальмары носятся по дну со скоростью поезда, глаза размером с блюдце. И даже, может быть, где-то за скрытыми в тумане валами по серому безжизненному песку бредут отец с сыном. Или тоже спят, но только по ту сторону океана, на другом берегу, среди горьких остатков мира, или так же стоят, в тряпье, потерявшиеся, под лучами того же самого безразличного солнца.

Вспомнил: ночь точно такая же, как сейчас; проснулся от непонятного стука; оказалось, это крабы забрались в сковородку с остатками ужина и гремят там костями от стейков. Тлеющие угли, пульсирующие красным на ветру. В небе над головой — мириады звезд. Море сливается вдали с черным горизонтом. Встал, и пошел к воде, и стоял босиком на песке, наблюдая, как светящиеся волны прибоя подкатывают к берегу, разбиваются и уходят назад в темноту. Вернувшись к костру, наклонился и погладил спящую по волосам и подумал, что, будь он Богом, создал бы мир только таким, ничего бы не менял.

Когда он вернулся, мальчик не спал, сидел, до смерти напуганный. Оказывается, звал отца, но, вероятно, недостаточно громко. Отец крепко его обнял:

— Я тебя не слышал. Из-за шума прибоя.

Бросил ветки в костер и раздул его, и они лежали в своих одеялах и смотрели, как языки пламени извиваются на ветру, а потом оба уснули.

Утром опять развел костер, позавтракали, сидели, рассматривали берег. Холодный дождливый пейзаж, мало чем отличающийся от северного. Ни чаек, ни ржанок. Обугленные ненужные предметы, выброшенные на берег или качающиеся в волнах прибоя. Насобирали деревяшек, сложили их в кучу и накрыли полиэтиленом, потом пошли вдоль берега. Отец сказал:

— Ну вот, мы с тобой превратились в прибрежных искателей сокровищ.

— Что это значит?

— Это такие люди, которые ходят вдоль берега и ищут что-нибудь ценное, что принесло море.

— Что именно?

— Разное. Что может пригодиться.
— Как ты думаешь, а мы что-нибудь найдем?
— Не знаю. Надо попробовать.
— Надо попробовать.

Стояли на каменном молу и смотрели в сторону юга. Серая соленая пленка вспухает в каменистой бухточке. Длинная дуга пляжа вдали. Серый вулканический песок. Ветер с моря отдает йодом. Больше никаких запахов. Самим морем ветер не пахнет. На камнях — сохранившийся еще кое-где темный лишайник. Они перешли мол и двинулись дальше. В конце концов дошли до края пляжа и повернули на едва заметную тропинку в дюнах. Шли среди сухих зарослей дикого овса, пока не уткнулись в невысокий холм. Внизу плавно изгибается плохо различимый в низко нависших над берегом рваных облаках пляж, а дальше, наполовину в воде, виднеется завалившийся набок остов парусника. Присели среди пучков сухой травы, долго на него смотрели. Мальчик спросил:

— Что же нам делать?
— Пока что понаблюдаем.
— Я замерз.
— Знаю. Надо спрятаться от ветра.

Усадил мальчика перед собой, закрывая его от ветра. Тихий шелест мертвой травы. Вокруг — серая пустыня. Бесконечное движение океана. Сын спросил:

— Сколько тут будем сидеть?
— Недолго.
— Как ты думаешь, пап, там есть люди?
— Вряд ли.
— Они бы все ушли.
— Наверняка. Следов на песке не видно?
— Нет.
— Еще подождем.
— Я замерз.

Зашагали по загибающемуся дугой пляжу, стараясь держаться поближе к кромке воды, на мокром, но твердом песке. Останавливались, одежда мягко хлопала на ветру. Буи, покрытые серой коростой. Кости ржанок. В полосе прибоя ковровая дорожка из водорослей и бесчисленных рыбьих костей — тысяч, миллионов костей — тянется по берегу до горизонта, словно кривая смерти. Необъятная соленая общая могила. Бессмысленно. Все бессмысленно.

Между носом парусника и краем отмели — футов сто открытого океана. Стояли и рассматривали судно. Футов шестьдесят длиной, вся палуба разворочена. Лежит на глубине десяти-двенадцати футов. Похоже, в свое время оно было оснащено двумя мачтами, но мачты отломились у самого основания, на палубе осталось лишь несколько медных скоб для крепления канатов и часть поручней по краю. Это, да еще стальной обод от руля, торчащий посреди кокпита. Обернулся и стал изучать пляж и дюны вдалеке. Потом вручил револьвер мальчику, и сел на песок, и начал расшнуровывать ботинки.

— Пап, ты что собираешься делать?

— Осмотреть яхту.

— Можно мне с тобой?

— Нет. Ты остаешься.

— Но я хочу с тобой.

— Твое место здесь. И потом, там глубоко.

— А я тебя увижу?

— Да. Я буду время от времени вылезать и проверять, как ты тут. Все ли в порядке.

— Я хочу с тобой.

— Тебе со мной никак нельзя. Ветер унесет одежду. Кто-то ведь должен о ней позаботиться.

Свернул вещи в тугой узел. Боже, до чего же холодно! Наклонился и поцеловал мальчика в лоб. Сказал:

— Брось волноваться. И не теряй бдительности.

Голый зашел в воду, остановился и, пригоршнями зачерпывая воду, облился. Затем зашагал — брызги во все стороны — и нырнул ласточкой, и поплыл.

Проплыл вдоль борта и развернулся, взрезая воду, задыхаясь от холода. Поручни в средней части почти касались воды. Подтянулся повыше: металл потускнел, изъеден солью, но все же удалось разобрать полустертые золотые буквы. Пахаро де эсперанса, Птица надежды. Тенерифе. Два пустых крана, на которых раньше крепились спасательные шлюпки. Схватился за поручень, и взобрался на борт, и на корточках пополз по наклонной палубе, трясясь от холода. Несколько мотков тросов, сорвавшихся с креплений. Отверстия с лохматыми краями в дереве, откуда с мясом выдраны скобы. Какая-то невиданная сила опустошила всю палубу. Помахал мальчику, но тот не ответил.

Каюта с невысокой покатой крышей и иллюминаторами по бокам. Нагнулся и стер налет сероватой соли со стекла, пытаясь заглянуть внутрь. Ничего не смог разглядеть. Толкнул низко посаженную тиковую дверь. Заперта. Надавил костлявым плечом. Огляделся по сторонам, ища, чем бы ее вскрыть. Не мог унять дрожь, зубы клацают. А что, если вышибить дверь — один удар ногой и... Но поразмыслив, передумал. Схватил себя одной рукой за кисть второй и ударил по двери со всего размаха. Кажется, поддается! Еле-еле. Продолжал биться в дверь: косяк треснул изнутри, и наконец дверь открылась. Широко ее распахнул и по трапу спустился в каюту.

На полу толстым слоем, чуть ли не до уровня первой переборки, лежит мокрая бумага и мусор. Кислый застоявшийся воздух. Холодный и влажный. Сначала решил, что судно разграбили люди, но потом догадался, что это океан постарался. Посреди кают-компании стол красного дерева. Дверцы шкафчиков открыты и болтаются, на всех медных накладках и ручках — зеленый налет. Прошел дальше проверить шкафчики в глубине. Мимо камбуза. По полу рассыпаны кофе и мука, валяются алюминиевые банки с консервами, примерно половина раздавлены, покрыты ржавчиной. Гальюн с металлическим унитазом и раковиной. Слабый

свет проникает сквозь верхний ряд иллюминаторов. Повсюду разбросаны инструменты. В луже покачивается спасательный жилет.

В глубине души ожидал увидеть что-нибудь ужасное, но оказалось, волновался зря. В каютах матрасы с коек валяются на полу, вдоль стен груды постельного белья и одежды. Все сырое. Дверца в кладовке сбоку открыта, но внутри ничего не рассмотреть – темно. Пригнулся, и пролез внутрь, и стал вслепую ощупывать все, что попадалось на пути. Глубокие ящики с деревянными крышками на петлях. Вещи, необходимые во время морских путешествий. Принялся вытаскивать их в каюту и складывать на накренившейся койке. Одеяла, одежда для штормовой погоды. Нашел мокрый свитер, натянул на себя. Нашел рыбацкие желтые резиновые сапоги и нейлоновую куртку, которую тут же надел, да еще негнущиеся желтые штаны на подтяжках, а потом влез в сапоги и вышел на палубу. Мальчик сидел на прежнем месте, следил за яхтой. Вскочил от неожиданности; необычный костюм его напугал, догадался отец. Крикнул ему, чтобы успокоить: "Это я!", но мальчик продолжал стоять без движения, и тогда он махнул ему рукой и полез обратно.

Во второй каюте под койками сохранились ящики. Выдвинул: инструкции, бумаги на испанском. Мыло. Заплесневевший черный кожаный саквояж, внутри – документы на испанском. Набил кусками мыла карман, постоял. На койке в беспорядке валялись книги на испанском, бесформенные, размокшие. Один-единственный томик сиротливо стоит на полке, припертой к переборке.

Нашел прорезиненный тканевый мешок для рыбалки и с ним стал пробираться по яхте в своих сапожищах, цепляясь за переборки там, где крен был слишком велик. На холоде желтые непромокаемые штаны встали колом. Бросал в мешок всякую всячину. Пару женских кроссовок. Решил, что мальчику по размеру подойдут. Складной нож с деревянной ручкой. Солнцезащитные очки. Но не мог отделаться от ощущения, что делает все неправильно. Словно потерял что-то важное и отправился на поиски в самое неподходящее место. В конце концов пошел на камбуз. Проверил, работает ли плита.

Открыл и поднял люк машинного отделения: затоплено наполовину, темнота хоть глаза выколи. Ни бензином, ни маслом не пахнет. Захлопнул. На кокпите под скамейками запирающиеся рундуки для хранения подушек на сиденья, парусов, рыболовных снастей. Позади рулевой стойки увидел мотки нейлоновой веревки, железные фляги с бензином и ящик для инструментов. Расположившись на дощатом полу, перебрал инструменты. Ржавые, но еще послужат. Плоскогубцы, отвертки, разводные ключи. Закрыл ящик и встал, ища глазами сына. Мальчик свернулся клубком на песке, подложил одежду под голову, спит.

Отнес ящик с инструментами и одну из фляг с бензином на камбуз и обошел напоследок каюты. После этого проверил ящики в кают-компании, порылся в бумагах и папках, надеясь найти бортовой журнал. Нашел деревянный сундучок с набором фарфоровой посуды на восемь

персон с названием судна на каждом предмете. Одни осколки, может, только пара чашек и сохранилась. Решил, кто-то сделал подарок владельцу яхты. Достал одну чашку, повертел и поставил обратно. Последнее, что ему попалось, — квадратная старинная шкатулка из дуба с медной пластиной на крышке. Сначала подумал, это ящичек для хранения сигар, но, приподняв, по весу догадался, что́ внутри. Открыл изъеденные ржавчиной замки и поднял крышку: внутри лежал бронзовый секстант, еще прошлого века. Достал его из специального углубления и подержал в руке. Поразился его красоте. Да, бронза потускнела, зелень проступает там, где остался отпечаток руки человека, до него вытаскивавшего инструмент. А во всем остальном — в идеальном состоянии. Стер зеленоватый налет с пластины снизу: Хеззанинс, Лондон. Приставил к глазу и повернул колесико. За последнее время это, пожалуй, была единственная вещь, которая по-настоящему его взволновала. Подержал секстант, а потом вложил обратно в углубление в синей бархатной обивке шкатулки, и защелкнул замки, и положил шкатулку в ящик, и захлопнул дверь.

Поднялся на палубу, чтобы проверить, как там мальчик, но тот исчез. Запаниковал, но ненадолго, в следующее мгновение увидел, что сын идет вдоль берега. Голова опущена, в руке — револьвер. Стоя на палубе, ощутил легкое покачивание. Прилив. Волны хлещут по камням мола. Повернулся и пошел назад в трюм.

Принес два мотка веревок из ящика, измерил диаметр колец раскрытой ладонью, умножил на три и сосчитал число колец в связке. Получается, длина каждой веревки пятьдесят футов. Повесил веревки на скобу на серой палубе из тикового дерева и вернулся в трюм. Сложил все свои находки рядом со столом. На камбузе в шкафу нашлось несколько пластиковых бутылок из-под воды, за исключением одной — все пустые. Поднял первую попавшуюся и увидел, что она вся в трещинах; теперь понятно, куда подевалась вода. Подумал, что бутылки за время бесцельных странствий парусника замерзали. И не один раз. Взял ту, в которой сохранилась вода, и открутил крышку. Понюхал. Поднял бутылку двумя руками, глотнул. А потом еще.

Консервные банки на полу камбуза явно негодные, даже в шкафу многие проржавели и вспучились. Этикетки давно оторваны, на стенках кто-то черным фломастером написал названия продуктов. На испанском. Многие ему незнакомы. Перебрал банки, потряс каждую. Отобрал хорошие и сложил на столешнице над мини-холодильником. Подумал, что наверняка где-нибудь спрятаны еще продукты, только вряд ли их можно есть. Да и в тележку все не затолкаешь. Задумался: как легко, между делом, он научился принимать поражение! И все же не отказывался от своих слов: “Не стоит искушать судьбу”. Бывали еще такие моменты, когда он не завидовал тем, кому повезло умереть.

Нашел банку оливкового масла и несколько банок с молоком. Чай в ржавой металлической коробке. Какую-то еду в термоупаковке. По виду не мог определить, что это. Еще полбанки кофе. Методически просматри-

вал одну за другой полки в шкафу, решая, что взять, а что оставить. Оттащил добычу в кают-компанию и положил в проходе, а потом пошел на камбуз, прихватив ящик с инструментами, и принялся откручивать одну из горелок плиты. Отсоединил гибкий шнур и снял алюминиевые рассекатели, один положил в карман куртки. Разводным ключом открутил латунные болты, вытащил горелки из плиты, разъединил их. Один конец шланга воткнул в бутылку с бензином, другой подсоединил к горелке, отнес в кают-кампанию. Последнее, что он сделал — сложил пирамиду из банок с фруктами, соком и овощами на куске полиэтилена, свернул узлом и перетянул веревкой. Затем догола разделся, сбросил свою одежду на кучу с добычей в кают-компании, взял узел, перевалился через поручни и спрыгнул в серую ледяную воду.

Уже в сумерках добрался до берега, сбросил полиэтиленовый узел на землю, смахнул воду с рук и груди и пошел одеваться. Мальчик неотступно за ним следовал. Все время спрашивал про синяк на плече в том месте, где отец его повредил, ломясь в дверь. Отец сказал:

— Все в порядке. Не болит. У нас с тобой еды... подожди, увидишь.

Торопливо шли по берегу навстречу закатному солнцу.

— А что будет, если яхту унесет в океан?

— Не унесет.

— Может.

— Нет, не может. Ладно, ты мне скажи, ты голоден?

— Да.

— Нас сегодня ждет сытный ужин, но надо торопиться.

— Я стараюсь, пап.

— А еще может дождь пойти.

— Почему ты так думаешь?

— По запаху чувствую.

— Чем пахнет?

— Мокрой сажей. Ладно, пошли.

Резко остановился, спросил:

— А где револьвер?

Мальчик замер от ужаса.

— О боже, — промолвил отец.

Обернулся и посмотрел на пляж: судно давно скрылось из виду. Посмотрел на мальчика: сжал голову руками, вот-вот разрыдается, шепчет:

— Прости меня, мне так стыдно.

Отец поставил на песок узел с банками.

— Придется за ним пойти.

— Пап, прости меня.

— Ничего. Никуда он не денется.

Мальчик понуро опустил плечи. Всхлипывал. Отец встал на колени и обнял его:

— Не переживай. Это я должен был убедиться, что мы захватили револьвер, а сам не проверил. Забыл.

— Прости меня, пап.

— Пошли. Все не так плохо.

Револьвер так и лежал в песке на том месте, где ребенок его забыл. Поднял, потряс, вытащил спицу барабана и отдал мальчику.

– Держи крепко.

– Он не сломался, пап?

– Да что ему сделается.

Вынул барабан, и сдул с него песок, и передал мальчику. Подул внутрь ствола, и сдул песок с рамки, забрал у мальчика детали, и собрал всё, взвел курок, и опустил его, и опять взвел. Повернул барабан, чтобы при следующем выстреле патрон оказался настоящий, опустил курок и сунул револьвер в карман куртки и встал.

– Все в порядке. Пошли.

– Теперь ночь застанет нас на полдороге?

– Трудно сказать.

– Точно застанет, да ведь?

– Двигай, если поспешим...

И все же ночь настигла их. К тому времени, когда они добрались до тропинки, ведущей в глубь дюн, в темноте невозможно было что-либо разглядеть. Стояли на пронизывающем ветру с океана в окружении шуршащей травы, держались за руки.

– Надо идти дальше. Пошли.

– Я ничего не вижу.

– Я тоже. Постепенно, шаг, другой...

– Ладно.

– Ни в коем случае не отпускай мою руку, хорошо?

– Хорошо.

– Что бы ни случилось.

– Что бы ни случилось. Понятно.

Брели в кромешной темноте, как слепые, вытянув перед собой руки, – да разве в этой просоленной пустоте есть на что наткнуться? Шум прибоя звучал приглушенно, но он ориентировался еще и по направлению ветра, и примерно через час они выбрались из зарослей травы и дикого овса на сухой песок верхнего пляжа. Ветер здесь был намного холоднее. Встал так, чтобы закрыть мальчика своим телом от ветра, и вдруг пляж на секунду высветился и тут же опять исчез.

– Что это было?

– Ничего страшного, всего-навсего молния. Пошли.

Перебросил через плечо узел с добычей, взял мальчика за руку, и они пошли дальше и, чтобы не зацепиться за куски дерева или мусор, высоко поднимали ноги, словно лошади на параде. Странный серый свет опять на секунду разлился над пляжем. Где-то далеко-далеко глухой рокот грома. Отец сказал:

– Мне показалось, что я видел наши следы на песке.

– Ага, значит, мы правильно идем.

– Правильно.

– Я очень замерз, пап.

– Знаю. Молись, чтобы сверкали молнии.

Идут и идут. При вспышке очередной молнии увидел, что мальчик наклонился вперед и что-то шепчет. Искал свои же следы, ведущие наверх, но не мог их разглядеть. Ветер усиливался, значит, и дождь не заставит себя ждать. Если гроза застанет их на пляже в середине ночи, им несдобровать. Отвернулись от ветра, придерживая капюшоны. Песок хлещет по ногам и улетает в темноту, и где-то вблизи грохочет гром. Ливневый дождь пришел со стороны океана и стегал их по лицам, и отец прижал мальчика к себе.

Стояли в потоках воды, обрушивающихся с неба. Как близко они от своей стоянки? Он ждал следующей молнии, а ее все не было и не было. Когда наконец сверкнула одна, а за ней другая, он осознал, что дождь смыл их следы. С трудом брели по песку в верхней части пляжа, надеясь увидеть очертания своего бревна. Вскоре молнии совсем прекратились. А потом ветер поменял направление, и он расслышал будто бы легкие шлепки. Резко остановился. Сказал:

— Слушай!
— Что?
— Прислушайся!
— Я ничего не слышу.
— Ну же.
— Да что это, папа?
— Полиэтилен. Дождь стучит по полиэтилену.

Пошли, спотыкаясь в песке и мусоре в полосе прибоя. Чуть ли не сразу же наткнулись на стоянку. Он присел на корточки, скинул узел, на ощупь искал булыжники, прижимающие края полиэтилена, и проталкивал их внутрь укрытия. Резко поднял накидку и нырнул под нее, потянув за собой мальчика, а потом принялся раскладывать булыжники снаружи по краю полиэтилена. Под барабанный стук капель стащил с мальчика мокрую куртку и накрыл его одеялами. Затем сам сбросил куртку и прижался к сыну. Вскоре они уже спали.

Дождь ночью прекратился. Лежал, слушал. Ветер затих, и тогда стало слышно плеск и глухой рокот волн. При первых лучах тусклого света встал и пошел по берегу. После шторма берег был забросан мусором. Шел по кромке воды и искал что-нибудь полезное. На мели за линией прибоя в куче мусора качается полуразложившийся труп. Как бы уберечь мальчика от такого зрелища? Впрочем, сын оказался прав: чего бояться? Когда вернулся, мальчик не спал, сидел на песке и наблюдал за отцом. Закутался в одеяла, а их мокрую одежду разложил на мертвых водорослях для просушки. Подошел и сел рядышком. Сидели бок о бок, глядя, как вздымается и опадает вдали свинцовое море.

Почти все утро перетаскивали вещи с яхты. Жгли костер, он вылезал голый и дрожащий на берег, бросал веревку и грелся в жаре огня, а мальчик тем временем скручивал веревку и вытягивал мешок на берег. Вытряхивали из мешка одежду и одеяла и раскладывали на теплом песке, чтобы жар от костра мог их высушить. Всех продуктов им не утащить, и он подумал, что неплохо было бы задержаться на пару-тройку дней и ос-

новательно наесться, но уж слишком опасно. Заночевали прямо на пляже посреди разбросанных вещей, спасибо жар костра защищал от холода. Проснулся, раскашлялся, глотнул воды. Встал и навалил в костер побольше дров, целые бревна, отчего вверх взлетел сноп искр. Просоленное дерево горело ярким оранжево-синим пламенем. Он сидел и долго на него смотрел. Чуть позже прогулялся по пляжу, впереди бежит его собственная тень, будто играет в игры с огнем и ветром. Кашель. Кашель не дает покоя. Нагнулся вперед, вцепившись в колени. Вкус крови. В темноте медлительные волны накатывают и бурлят, и он задумался о своей жизни. А стоит ли размышлять о том, чего нет?! Вернулся назад. Достал банку персиков из мешка, открыл и медленно ел ложкой, пока мальчик спал. Огонь плясал на ветру, и искры летели и падали на песок. Поставил пустую банку у себя в ногах. "Каждый день — это ложь. Но ты умираешь. А вот это правда".

Перетаскивали найденные продукты в узлах из полиэтилена и одеял и загружали в тележку. Мальчик слишком много на себя взвалил, а потому, когда остановились передохнуть, отец забрал у него часть груза. После грозы яхта слегка сдвинулась с прежнего места. Отец стоял, задумавшись. Мальчик наблюдал за ним, спросил:

— Ты опять туда пойдешь?

— Думаю, да. В последний раз.

— Я немного боюсь.

— Не бойся, главное — будь начеку.

— У нас и так всего много.

— Знаю, знаю. Еще разок.

— Ну хорошо.

Облазил весь парусник от носа до кормы. "Остановись. Подумай". Сел на пол в кают-компании, упершись ногами в сапогах в основание стола. Темнело. Попытался вспомнить: "Что же я знаю про яхты?" Поднялся и вышел на палубу. Сын сидит у костра. Спустился в кубрик, уселся на скамейку, опершись спиной на переборку, ноги задраны чуть ли не выше головы. Кроме свитера и прорезиненного плаща, на нем ничего больше не было. Не слишком-то хорошая защита от холода, а потому дрожал не переставая. Уже приготовился встать, как вдруг его осенило — он все это время сидел и пялился на защелки в переборке в дальнем углу кубрика. Четыре защелки. Из нержавейки. В свое время на скамейках имелись подушки-сиденья, до сих пор сохранились обрывки завязок по углам. В нижней части переборки, примерно посередине, торчал краешек нейлонового стропа, свернутого вдвое и прошитого крест-накрест. Еще раз посмотрел на защелки. Чтобы их открыть, надо нажать большим пальцем и повернуть. Поднялся и, наклонившись, повернул по очереди все четыре до упора. Они поворачивались на пружинах, и когда он все открыл и потянул за строп, доска съехала вниз и выпала. Внутри за доской лежали сложенные паруса и еще что-то, похоже, туго свернутый и перевязанный шпагатом надувной резиновый плот на двоих. Пара пластмассовых весел. Упаковка сигнальных ракет. Еще глубже — фанерный ящик под инструменты, замочная скважина заклеена черной изолентой. Вытащил ящик, и нашел кончик изоленты, и отод-

рал ее, и щелкнул хромированными защелками, и открыл ящик. Внутри оказались желтый пластмассовый фонарик, аптечка и проблесковый сигнал на батарейке. Желтый пластмассовый радиолокационный плавучий маяк. А еще ящичек из черного пластика размером с книжку. Он его вытащил, отстегнул замочки и открыл. В упаковке хранился старый латунный тридцатисемимиллиметровый сигнальный пистолет. Достал его и держал двумя руками, поворачивая и разглядывая со всех сторон. Отжал рычаг и, переломив, открыл ствол. Патронник пустой, но ведь в упаковке есть восемь ракетниц, коротких, широких, совершенно новых. Убрал пистолет в ящичек, захлопнул крышку и защелкнул замочки.

Добрался до берега. Трясется от холода, заходится в кашле. Закутался в одеяло и сел на теплый песок перед костром, положив добычу неподалеку. Мальчик подлез к нему и попытался обнять. Не мог не улыбнуться.

— Что-нибудь нашел, пап?

— Нашел аптечку. И сигнальный пистолет.

— Что это такое?

— Я тебе покажу. Он нужен, чтобы подавать сигналы.

— Ты за ним вернулся?

— Да.

— Откуда ты знал, что он там?

— Ну, я надеялся, что найду. По большому счету, просто повезло.

Открыл ящик и повернул его так, чтобы ребенку было лучше видно.

— Это же пистолет.

— Сигнальный пистолет. Он выстреливает ввысь такой штуковиной, от которой становится светло.

— А можно я взгляну?

— Конечно, смотри.

Мальчик достал пистолет, подержал в руке. Спросил:

— А в кого-нибудь можно из него выстрелить?

— Можно.

— А убить?

— Вряд ли. Скорее всего — поджечь.

— Ты поэтому его взял?

— Да.

— Посигналить-то некому, так ведь?

— Некому.

— Мне бы хотелось на него посмотреть.

— Ты имеешь в виду — из него выстрелить?

— Да.

— А что, давай выстрелим.

— Правда можно? Ты не обманываешь?

— Нет.

— Ночью?

— Ночью.

— Как салют?

— Как салют. Правильно.

— Может, сегодня ночью?

— А почему бы и нет?

— Он заряжен?

– Нет. Но у нас есть патроны.

Мальчик стоял, не выпуская пистолета из рук. Повернул дуло в сторону океана.

– Ух ты!

Отец оделся, и они пошли по пляжу, таща за собой последнюю часть добычи.

– Папа, куда подевались люди?

– С яхты?

– Да.

– Не знаю.

– Как ты думаешь, они умерли?

– Не знаю.

– У них был шанс один из тысячи.

Отец усмехнулся:

– Один из тысячи?

– Да. Или нет?

– Да. Похоже, да.

– Я думаю, они погибли.

– Может быть.

– Я думаю, так все и было.

– Возможно, они уцелели и где-то живут. Вполне возможно.

Мальчик ничего больше не сказал. Пошли дальше. Оставляли на песке замысловатые следы: ноги обернуты кусками парусины и голубого полиэтилена на манер мокасин. Думал о сыне и его страхах, спустя некоторое время сказал:

– Ты, скорее всего, прав. Пожалуй, они действительно погибли.

– А будь они живы, то получилось бы, мы их грабим.

– Мы их не грабим.

– Знаю.

– Вот и хорошо.

– Ну и сколько людей осталось в живых? Как ты думаешь?

– В мире?

– В мире. Ну да, в мире.

– Я не знаю. Давай остановимся и передохнем.

– Давай.

– Ты меня своими вопросами утомляешь.

– Ладно.

Сидели посреди своих тюков.

– Как долго мы можем здесь оставаться, пап?

– Ты уже спрашивал.

– Знаю.

– Посмотрим.

– Это значит, недолго?

– Наверное.

Мальчик пальцами выдавливал дырки в песке, пока не получился круг. Отец наблюдал за ним. Сказал:

– Мне трудно сказать, сколько людей выжило. Думаю, немногие.

– Я знаю.

Мальчик подтянул повыше одеяло и всматривался в серый пустой пляж. Отец спросил:

— Что-то не так?

— Все так.

— Не верю. Скажи мне.

— Наверняка в другом месте тоже живут люди.

— В другом месте?

— Где-нибудь еще.

— Ты имеешь в виду — на других планетах, не только на Земле?

— Да.

— Вряд ли. На других планетах люди жить не могут.

— Даже если бы сумели туда добраться?

— Не сумеют.

Мальчик отвернулся.

— Что?

Мальчик покачал головой. Сказал:

— Не знаю, для чего мы все это делаем.

Отец открыл рот, но не сразу нашелся что ответить. Потом сказал:

— Есть другие люди, сам убедишься. Люди есть, и мы их обязательно отыщем. Вот увидишь.

Приготовил ужин, пока мальчик играл в песке. У него была лопатка, сделанная из баночной крышки, и с ее помощью он построил маленькую деревню. Прочертил улицы. Отец подошел, присел и стал разглядывать. Мальчик взглянул на него снизу вверх:

— Океан все равно разрушит, правда?

— Да.

— Ну и ладно.

— Можешь написать буквы алфавита?

— Написать-то я могу...

— Мы с тобой больше не занимаемся.

— Угу.

— На песке можешь что-нибудь написать?

— А что, если мы напишем письмо хорошим людям? Пускай, если пройдут мимо, узнают, что мы здесь были. Только надо написать повыше, там, где водой не смоет.

— А что, если плохие увидят?

— Ну... Да.

— Зря я это сказал. Давай напишем им письмо.

Мальчик покачал головой:

— Не-е, не надо.

Зарядил сигнальный пистолет, и, как только стемнело, они отошли подальше от костра, и он спросил, не хочет ли мальчик выстрелить сам.

— Стреляй ты, пап. Ты же знаешь, как правильно.

— Хорошо.

Поднял пистолет, и прицелился в залив, и нажал курок. Ракета с шипением дугой разрезала темноту, а потом взорвалась над водой в скоплении облаков и повисла там. Искрящиеся щупальца горящего магния медленно падали из темноты, в их свете стало видно, как набегает на бе-

рег волна и потом возвращается в океан. Посмотрел на поднятое вверх лицо ребенка.

– Ее с большого расстояния не разглядеть? Правда, пап?

– Кому не разглядеть?

– Никому.

– Нет, только вблизи.

– Ну, если бы хотел сообщить, где ты находишься.

– Ты про хороших говоришь?

– Да. Любому, кому, по-твоему, необходимо знать, где мы находимся.

– Кому, например?

– Я не знаю.

– Может, Богу?

– Угу, например, ему.

Утром разжег костер и решил пройтись по берегу, пока мальчик спит. Ушел совсем недалеко, и вдруг ему стало не по себе от странного предчувствия, а когда повернул назад, то увидел, что мальчик стоит на пляже, завернувшись в одеяло, и его ждет. Прибавил шаг, а когда подошел к нему, мальчик устало присел.

– Что с тобой? Да что с тобой?

– Я что-то плохо себя чувствую, пап.

Приложил руку ко лбу сына – горячий, как печка. Поднял, понес к костру.

– Ничего, ничего. Выздоровеем.

– Меня, кажется, сейчас стошнит.

– Ничего.

Уселся на песок рядом с сыном и придерживал его за лоб, пока ребенка рвало. Вытер ему рот рукой. Мальчик прошептал:

– Извини.

– Ш-ш-ш, ты ничего плохого не сделал.

Отнес его к стоянке и укрыл одеялами. Попробовал напоить. Подкинул дров в огонь и наклонился, чтобы пощупать лоб. Успокаивал:

– Все будет хорошо. – А сам был в ужасе.

– Не уходи.

– Конечно, я никуда не уйду.

– Даже ненадолго.

– Нет. Я здесь, рядышком.

– Хорошо, папа.

Держал его в объятиях всю ночь, время от времени засыпал и просыпался в страхе, проверял, бьется ли у мальчика сердце. Утром сыну лучше не стало. Попробовал дать ему немного сока, но он отказался. Сильно прижал руку ко лбу мальчика, словно колдовал, чтобы температура спала. Но чудес не бывает. Смочил сухие обметанные губы, пока сын спал, и прошептал: "Я выполню свое обещание. Не отпущу тебя одного в темноту".

Перебрал содержимое аптечки, но ничего, что могло бы пригодиться, не нашел. Аспирин. Пластыри и спирт. Немного антибиотиков с истек-

шим сроком годности. Помог сыну сделать несколько глотков и положил одну капсулу ему на язык. Мальчик плавал в поту. Отец давно снял с него одеяла, а теперь еще и куртку. Следом — всю одежду, да еще оттащил сына от огня. Мальчик посмотрел на него снизу вверх:

— Мне ужасно холодно.

— Знаю, но, понимаешь, у тебя очень высокая температура. Нам во что бы то ни стало надо ее сбить.

— Накрой меня еще одним одеялом.

— Хорошо, хорошо.

— Не уходи.

— Нет-нет. Я с тобой.

Взял грязную детскую одежду и пошел стирать ее в океане: трясясь от холода, стоял полуголый в воде и полоскал одежду. Потом отжал и повесил на колышках перед костром, подкинул веток и уселся рядом с мальчиком, гладя его по спутанным волосам. Вечером достал банку супа, подогрел в углях и, хлебая суп, наблюдал за наступлением темноты. Очнувшись, обнаружил, что лежит на песке и совсем закоченел, что от костра остались одни погасшие угли, что все еще темная ночь. Резко сел, и потянулся к мальчику, и прошептал:

— Ну наконец-то спáла!

Разжег костер, взял тряпку и намочил. Положил мальчику на лоб. Наступал ветреный рассвет. Когда совсем рассвело, отправился в лес за дюнами, и притащил оттуда здоровущую охапку веток и сучьев, и принялся ломать их и складывать в кучу у костра. Раскрошил таблетки аспирина в порошок, растворил его в воде, добавил немного сахару и, приподняв голову сына, поддерживал на весу, пока он пил.

Прошел по берегу, плечи опущены, кашель. Стоял и смотрел на темные волны. Спотыкался от усталости. Вернулся и снял тряпку со лба, и вытер ею лицо мальчика, и опять положил на лоб. Сказал самому себе: "Ты должен быть всегда рядом. Действовать надо быстро. Тогда с ним не расстанешься. Держи его покрепче. Последний день Земли".

Мальчик проспал весь день. Отец регулярно его будил и заставлял пить подслащенную воду. Было видно, какого труда ему это стоило. Горло пересохло, хрипит и судорожно дергается при каждом глотке.

— Тебе обязательно надо пить.

— Хорошо, — просипел мальчик.

Сильно вдавил стакан в песок, подложил сыну под потную голову свернутое одеяло и потеплее закутал. Спросил:

— Тебе не холодно?

Но мальчик уже спал.

Как ни старался не поддаваться усталости, не спать, ничего не получалось. Без конца засыпал и просыпался, садился и хлестал себя по лицу или вставал подложить веток в костер. Прижимал к себе мальчика и, положив руки на выпирающие ребра, слушал, как он тяжело дышит. Отошел туда, где свет от костра исчезал и сливался с темнотой ночи, стоял

со сжатыми кулаками, а потом упал на колени и зарыдал от бессильной ярости.

Ночью прошел короткий дождь, еле слышно шуршал по полиэтилену, который отец поспешно растянул над подстилкой и застыл, держа ребенка в объятиях, глядя на синие языки пламени, а потом уснул мертвым сном.

Проснувшись, никак не мог понять, где находится. Костер погас, дождь перестал. Сбросил полиэтилен и, упершись локтями в песок, приподнялся. Серый день. Мальчик во все глаза смотрит на отца, зовет:

– Папа.

– Да-да. Я здесь.

– Мне можно попить воды?

– Да. Конечно. Как ты себя чувствуешь?

– Странное ощущение...

– Есть хочешь?

– Нет, только пить.

– Сейчас, принесу воды.

Обойдя потухший костер, взял детскую кружку, и наполнил ее водой из пластиковой бутылки, и, нагнувшись, дал ему напиться. Сказал:

– Все будет в порядке.

Мальчик сделал несколько глотков, кивнул и посмотрел на отца. Потом допил воду и попросил:

– Еще.

Разжег костер и расправил одежду мальчика, чтобы лучше сохла, принес ему банку яблочного сока, спросил:

– Ты что-нибудь помнишь?

– Ты о чем?

– Помнишь, как ты болел?

– Я помню, что мы стреляли из ракетницы.

– А как вещи перетаскивал из лодки, помнишь?

Мальчик сидел, потягивал яблочный сок. Взглянул на отца:

– Я не полный идиот.

– Понятно.

– Мне снились очень странные сны.

– Какие?

– Я не хочу их тебе рассказывать.

– Не хочешь – не надо. Ты должен почистить зубы.

– С настоящей пастой?

– Да.

– Хорошо.

Проверил все банки – ничего подозрительного. Только выбросил те, что были очень уж сильно попорчены ржавчиной. В тот вечер они сидели у костра, мальчик ел горячий суп, а отец повернул другой стороной дымящуюся одежду, и уселся, и уставился на сына. Мальчику стало неуютно от его пристального взгляда:

– Пап, не смотри на меня так.

— Хорошо, — ответил отец, но смотреть не перестал.

Не прошло и двух дней, как они решились отходить на довольно большое расстояние от стоянки — до материковой части и обратно, — с трудом передвигая ноги в полиэтиленовых мокасинах. Ели помногу, не жалея. Из парусины, веревок и колышков соорудил палатку для защиты от ветра. Съели столько, что оставшееся легко помещалось в тележке, и он решил, что дня через два можно отправляться в путь. И вдруг, возвращаясь на стоянку, заметил на песке отпечатки ботинок. Остановился и взглядом обшарил берег. Сказал:

— О господи! О господи!

— Что случилось, пап?

— Пошли, — сказал он, вынимая револьвер из-за пояса. — Поторопись.

Полиэтилен исчез. Пропали одеяла, и бутылка для воды, и запас продуктов у костра. Парусину ветром унесло в дюны. Обуви нет. Он прочесал заросли дикого овса, где была спрятана тележка, но не нашел и ее. Украли всё.

— Дурак набитый, — сказал сам себе. — Идиот.

Мальчик стоял и смотрел на него широко раскрытыми глазами.

— Что случилось, папа?

— Они все забрали. Пошли.

Мальчик взглянул на него снизу вверх. В глазах слезы.

— Не отходи от меня ни на шаг, — сказал отец. — Ни на шаг, понял?

Разглядел следы тележки на песке. И ботинок. Сколько? Следы терялись на твердой поверхности в зарослях папоротника, а чуть дальше снова появлялись. Подойдя к дороге, жестом остановил сына. Дорога продувалась ветром с океана и, за исключением отдельных участков, была полностью свободна от пепла. Сказал:

— Не наступай на дорогу. И перестань реветь. Надо отряхнуть ноги от песка. Прямо здесь. Садись.

Развязал тесемки, и вытряхнул куски полиэтилена, и снова обернул ноги:

— Мне понадобится твоя помощь. Мы ищем песок. На дороге. Хоть сколько-то. Чтобы определить, в какую сторону они пошли. Поможешь?

— Хорошо.

Спустились с холма и пошли в противоположные стороны. Не успел он пройти и несколько футов, как мальчик его позвал:

— Они сюда пошли, пап. Смотри.

Подошел к мальчику, опустившемуся на колени.

— Вот тут, смотри.

Мальчик указывал ему на крохотную кучку песка, высыпавшегося, вероятно, из тележки. Отец посмотрел на дорогу:

— Отлично. Идем.

Шли быстрым шагом. Думал, легко выдержит такой темп. Оказалось, что нет: во время приступов кашля приходилось останавливаться и наклоняться. Взглянул на мальчика, прохрипел:

– Надо идти бесшумно, а то они нас услышат и подкараулят. Пошли.

– Сколько их, пап?

– Трудно сказать. Может, только один.

– Мы их убьем?

– Не знаю.

Пошли дальше. Грабителя сумели догнать только во второй половине дня, ближе к вечеру: идет по дороге, с трудом толкает переполненную тележку. Оглянулся. Увидев их, припустил бегом, но вещи не бросил. С тележкой далеко не убежишь, и тогда он остановился и спрятался за ней, в руке нож. Заметил револьвер и отступил назад, но нож не бросил. Отец приказал ему отойти от тележки. Незнакомец посмотрел на них. На мальчика. Судя по всему, сотоварищи его прогнали. Пальцы на правой руке отрублены. Прячет ее за спиной. Шпатель из плоти. Тележка забита доверху. Все забрал.

– Отойди от тележки и брось нож на землю.

Незнакомец оглянулся. Словно надеялся, что в кустах прячутся его сообщники. Худющий, угрюмый, грязный, обросший. Полы плаща склеены клейкой лентой. Револьвер самовзводный, но на всякий случай надо проверить – взвести курок. Два громких щелчка. Только это да их дыхание нарушают тишину соленых вересковых дюн. Явственно чувствовали вонь от его тряпья.

– Если не отойдешь от тележки и не бросишь нож – мозги вышибу.

Вор посмотрел на мальчика – одного взгляда оказалось достаточно, чтобы он все понял и, бросив нож на тележку, отошел назад и остановился.

– Дальше, еще пару шагов.

Вор еще немного попятился.

– Папа? – перебил его мальчик.

– Помолчи. – Не спускал глаз с вора. – Будь ты проклят.

– Папа, пожалуйста, не убивай его.

У вора глаза лихорадочно забегали. Мальчик заплакал.

– Слушай, друг, я же сделал, как ты велел. И сын тебя просит...

– Раздевайся!

– Чего?

– Скидывай одежду! До последней нитки!

– Слушай, ты чего? Зачем ты так?

– Убью на месте.

– Зачем ты так?

– Второй раз повторять не буду.

– Хорошо, хорошо. Успокойся.

Незнакомец медленно разделся и кучкой сложил вонючую одежду на дороге.

– Ботинки.

– Ты очумел?

– Ботинки снимай!

Вор посмотрел на мальчика. Тот отвернулся и закрыл уши руками.

— Хорошо-хорошо. Ботинки так ботинки...

Сел в чем мать родила на дорогу и начал развязывать гнилые лохмотья, которые когда-то были обувью. Встал, держа их одной рукой.

— Бросай в тележку.

Шаг вперед — поставил ботинки поверх одеял в тележке, шаг назад — вернулся на прежнее место. Так и стоял — голый, грязный, изможденный, прикрывая срам рукой, сотрясаясь от холода.

— Одежду — туда же.

Незнакомец наклонился, подобрал свою ветошь и навалил ее сверху. Стоял, обхватив себя руками.

— Брат, пожалей.

— Ты же нас не пожалел.

— Умоляю...

— Папа!

— Ты хоть сына послушай!

— Ты хотел нас убить.

— Я подыхаю с голоду. Ты бы на моем месте поступил точно так же.

— Ты все забрал.

— Слушай, брат... Я же сдохну.

— Я поступаю с тобой так, как ты поступил с нами.

— Прошу тебя...

Отец пододвинул к себе тележку, развернул ее и, положив револьвер сверху, посмотрел на сына:

— Пошли.

Они пошли по дороге в южном направлении, мальчик не переставая плакал и оглядывался на голое, худое, как щепка, дрожащее существо, оставшееся стоять на дороге, обхватив себя руками.

— Эх, папа... — прошептал мальчик.

— Перестань.

— Не могу.

— Что, по-твоему, с нами бы произошло, если бы мы его не поймали?! Так что перестань.

— Хорошо.

Они дошли до поворота дороги, а незнакомец так и не сдвинулся с места. Идти ему было некуда. Мальчик все оглядывался, а когда тот скрылся из виду, уселся на дороге, содрогаясь от рыданий. Отец подошел к ребенку и стоял, смотрел на него. Вытащил из тележки обувь, присел на корточки перед мальчиком и принялся его разувать. Сказал:

— Пора уже перестать плакать.

— Не могу.

Отец поднялся и пошел назад по дороге. Вор исчез. Вернулся к мальчику, встал над ним, сказал:

— Он ушел. Пошли.

— Он не ушел, — откликнулся мальчик. Вскинул голову. На лице — жирная грязь. — Не ушел.

— Что ты хочешь сделать?

— Ему надо помочь, папа. Просто помочь.

Отец посмотрел назад.

— Он ведь голодал, папа. Он умрет.

— Он в любом случае умрет.

— Ему очень страшно, пап.

Отец присел и посмотрел на ребенка:

— Мне тоже страшно. Ты это понимаешь? Страшно.

Мальчик ничего не сказал. Так и сидел, опустив голову, плакал.

— С чего ты взял, что должен обо всех заботиться?

Мальчик промямлил что-то нечленораздельное.

— Что ты сказал?

Мальчик поднял голову. Мокрое испачканное лицо:

— Я — тот, кто обо всех заботится. Именно я.

Потащились с тележкой назад и, встав на дороге, кричали в надвигающейся темноте, на холоде, но никто не откликнулся.

— Он боится отозваться, пап.

— Мы здесь остановились в прошлый раз?

— Точно не помню. Кажется, здесь.

Ходили по дороге, кричали в пустой мрак. Голоса улетали в темнеющие прибрежные дали. Остановились и, приставив ладони рупором ко рту, бессмысленно кричали в никуда. Наконец отец сложил одежду и обувь вора на дороге, прижал сверху камнем, сказал:

— Нам пора. Надо идти.

Остановились на ночь, не разводя костра. Выбрал кое-что из банок и подогрел на горелке. Ужинали в молчании. В синем свете горелки пытался рассмотреть лицо сына. Сказал:

— Я не собирался его убивать.

Но мальчик никак не откликнулся. Завернулись в одеяла и лежали в темноте. Ему казалось, что слышит шум океана. Впрочем, скорее всего, это ветер завывает. По тому, как сын дышал, определил, что он еще не спит. Какое-то время спустя мальчик сказал:

— И все же мы его убили.

Утром позавтракали и пошли дальше. От тяжести груза тележка еле двигалась, а одно колесико начало барахлить. Дорога вилась вдоль берега, сухие заросли осоки, свисающие со склонов, то и дело преграждали путь. Свинцовый океан ворочается вдали. Тишина. Той ночью он проснулся при тусклом свете луны, почти можно было различить очертания деревьев. Раскашлялся. Пахнет дождем. Мальчик не спал.

— Ты не должен молчать.

— Я пытаюсь.

— Прости, что разбудил.

— Ничего страшного.

Поднялся и пошел. Черная полоса, начинается в темноте и в темноту же уходит. Вдруг послышался низкий раскат, но не грома. Такой мощный, что, казалось, ты ощущаешь его у себя под ногами. Звук неизвестного происхождения, а потому не поддается описанию. Что-то необъяснимое перемещается в темноте. Может, сама земля содрогается от холода. Звук больше не повторился. Какое сейчас время года? Сколько мальчику лет? Вышел на дорогу и остановился. Тишина. Расплывчатые очертания утопающих в грязи приморских городов, сгоревших до-

тла. На перекрестке стоят огромные валуны-дольмены, под которыми лежат и превращаются в прах кости пророков. Кроме завываний ветра — никаких других звуков. Что ты можешь сказать? Что когда-то жил человек, который все это уже сказал? Который заострил перочинным ножичком перо, чтобы начертать эти слова чернилами? Это ты скажешь в самый ответственный момент? Он идет — вырвать мне глаза. Забить мне глотку грязью.

Перебирал по очереди банки, беря их в руку и сжимая — так проверяют спелость фруктов на рынке. Отодвинул две, показавшиеся подозрительными, а остальные упаковал, и они поплелись дальше. Через три дня добрались до небольшого портового города. В гараже за домом спрятали тележку, завалив ее грудой коробок, а сами расположились в доме в ожидании непрошеных гостей. Никого. Проверил все шкафчики на кухне — пусто. Мальчику необходим витамин Д, иначе может развиться рахит. Стоял рядом с раковиной и смотрел в окно: свет цвета мутной мыльной воды с трудом пробивался сквозь грязные стекла. Мальчик устало развалился за столом, уронив голову на скрещенные руки.

Прошли по городу и вышли к верфям. Никого. Револьвер в кармане куртки, в руке — ракетница. Вышли на мол: грубые просмоленные доски, острыми шипами прикрепленные к опорным балкам, деревянные кнехты; из бухты пахнет солью и дегтем; вдали виднеются ряды складов и силуэт красного от ржавчины танкера, а на фоне мрачного неба — высоченный портовый кран.

— Здесь никого нет.

Мальчик промолчал.

Шли по узким улицам, толкали тележку, пересекли железнодорожные пути и на самой окраине города вышли на дорогу. В тот момент, когда проходили мимо последнего убогого деревянного строения, что-то просвистело у него над головой, чиркнуло по мостовой и врезалось в бетонную стену здания напротив. Схватил мальчика, и подмял под себя, и потянул к себе тележку. Она перевернулась и завалилась набок. Одеяла и полиэтилен выпали на землю. В верхнем окне здания разглядел человека — натягивает тетиву, прицеливается — и тогда прижал голову мальчика к земле и постарался полностью закрыть его своим телом. Расслышал глухой свист тетивы и почувствовал острую боль в ноге.

— Ах ты сволочь! Гад!

Сдвинул одеяла в сторону, вскочил и схватил ракетницу, взвел курок и оперся рукой на край тележки. Мальчик прильнул к нему. Как только тот человек появился в оконном проеме со своим луком, выстрелил. Ракета влетела в окно, прочертив в воздухе белую дугу, и тут же они услышали нечеловеческий вопль. Схватил мальчика, толкнул его вниз, набросил на него одеяла, приказал:

— Не вздумай двигаться. Не двигайся и не смотри.

Перетряхнул одеяла на земле, ища коробку с ракетами. Вывалилась из тележки. Схватил ее, открыл, вытащил патроны и зарядил ракетницу. Оставшиеся сунул в карман, сказал мальчику:

— Не сходи с места.

Похлопал его по спине поверх одеял и заковылял, прихрамывая, к дому.

Проник в дом через черный ход, держа ракетницу на уровне пояса. Со стен содрана облицовка, так что видны несущие балки. Прошел в гостиную и остановился у нижней ступеньки. Прислушивался к отголоскам возни в верхних комнатах. Выглянул в окно на улицу, туда, где валялась тележка, а потом поднялся на второй этаж.

Женщина сидела в углу комнаты, прижимая к себе мужчину. Сняла пальто и укрыла им раненого. Увидев незнакомца, начала его проклинать. Ракета сгорела на полу, оставив после себя кучку беловатого пепла и запах обгоревшего дерева. Он подошел к окну и выглянул на улицу. Взгляд женщины неотступно следовал за ним. Жидкие прямые седые волосы.

— Еще кто-нибудь здесь есть?

Молчание в ответ. Прошел мимо нее, посмотрел в других комнатах. Рана сильно кровоточит. Чувствовал, как брючина прилипает к ноге. Вернулся в первую комнату.

— Где лук?

— У меня его нет.

— Где он?

— Не знаю.

— Они вас тут одних бросили, да?

— Я сама захотела.

Повернулся и поковылял вниз. Распахнул дверь и, пятясь задом, вывалился на улицу, не спуская глаз с дома. Добравшись до тележки, рывком ее поднял и сложил вещи. Прошептал:

— Иди рядом. Иди рядом.

Остановились в здании магазина на окраине города. Завезли тележку в подсобку, закрыли дверь и приперли ее тележкой же, повернутой боком. Взял горелку, зажег и поставил на пол. Расстегнул ремень и снял залитые кровью брюки. Мальчик внимательно наблюдал. Стрела глубоко рассекла кожу над коленкой. Рана — дюйма три длиной. Кровь не останавливается, нога — мертвенно-бледная. Видно, что рана глубокая. Стрела. Сделали из куска железа, из ложки, бог его знает из чего. Взглянул на мальчика.

— Найди мне аптечку.

Мальчик не тронулся с места.

— Принеси мне аптечку, черт побери. Чего расселся?

Ребенок вскочил и побежал к тележке. Начал рыться в вещах. Принес аптечку и отдал отцу, и тот взял ее, ни слова не говоря, поставил перед собой на цементном полу и открыл. Дотянулся до горелки и прибавил огня. Велел:

— Принеси мне бутылку с водой.

Мальчик принес бутылку. Отец отвинтил пробку и плеснул воды на ногу. Зажал пальцами края раны, смыл кровь. Продезинфицировал. Надорвал зубами пластиковую упаковку и вытащил оттуда небольшую иглу с крючком на конце и шелковую нить. Наклонился поближе к огню и стал продевать нить в ушко. Зажав иглу в зубах, достал из аптечки зажим

и соединил края раны, а затем принялся накладывать швы. Работал без остановок, сосредоточенно. Мальчик сидел на полу. Оторвавшись на секунду, глянул на сына. Сказал:

– Не смотри, не надо.

– Ты ничего?

– Нормально.

– Больно?

– Да. Больно.

Завязал узел, и потуже затянул, и перерезал ножницами из аптечки шелковую нить, и взглянул на ребенка. Мальчик не отрываясь смотрел на его рану.

– Прости, что накричал на тебя.

Мальчик поднял глаза:

– Пустяки, пап.

– Ну что, помирились?

– Конечно.

Утром шел дождь, от порывов ветра где-то на задворках громко дребезжало стекло. Выглянул в окно. Стальной док посреди бухты, частично разрушенный, наполовину под водой. При входе в бухту из воды торчат рубки затопленных рыболовных судов. Никакого движения. Все, что хоть как-то могло двигаться, давно унес ветер. Ногу дергало, и он снял повязку, протер рану спиртом и стал внимательно ее рассматривать: ткань около швов воспалилась, приобрела землистый цвет. Крепко перевязал рану и надел залитые кровью брюки.

Целый день провели в магазине, сидя среди коробок и ящиков.

– Не молчи. Разговаривай со мной.

– А я разговариваю.

– Разве?

– Ну, сейчас же говорю.

– Хочешь, расскажу тебе какую-нибудь историю?

– Не надо.

– Почему?

Мальчик глянул на него и отвернулся.

– Почему?

– Потому что в них одна выдумка.

– На то они и истории.

– Ну да. Только в твоих историях мы всегда помогаем людям, а на самом деле – никогда.

– Хорошо, тогда ты мне расскажи историю.

– Не хочется.

– Ладно.

– Мне нечего рассказывать.

– Расскажи про себя.

– Ты и так все знаешь. Ты всегда со мной.

– У тебя есть истории в голове, которыми ты со мной не делишься.

– Ты про сны говоришь?

– Например. Или расскажи, о чем ты думаешь.

– Но ведь истории должны быть с хорошим концом.

— Не обязательно.

— А ты всегда только такие рассказываешь.

— А ты таких не знаешь?

— Мои больше похожи на нашу жизнь.

— А те, что я рассказываю, нет?

— Нет.

Посмотрел на сына.

— Наша жизнь, по-твоему, кошмар?

— А ты как думаешь?

— Ну смотри. Мы пока живы. Столько всего плохого произошло, а мы еще живы.

— Ну да.

— Ты не считаешь, что это здорово?

— Думаю, что ничего особенного в этом нет.

Они пододвинули к окнам разделочный стол, расстелили на нем одеяла, и мальчик улегся ничком, рассматривая бухту. Отец устроился так, чтобы поудобнее вытянуть ноги. Между ними на одеяле — револьвер, сигнальный пистолет и коробка с ракетами. Отец сказал:

— А я полагаю, она не такая уж и плохая. Совсем неплохая история. Что-то в ней есть.

— Не переживай, пап. Я бы хотел немного помолчать.

— А как насчет снов? Раньше ты мне их рассказывал.

— Я не хочу сейчас разговаривать.

— Ладно.

— У меня и сны все какие-то плохие. В них всегда что-то не то случается. Ты сам говорил, что это нормально, потому что хорошие сны — плохой знак.

— Может, и так. Не знаю.

— Когда ты просыпаешься от кашля, то стараешься уйти подальше или в сторону. А я все равно слышу твой кашель.

— Извини, пожалуйста.

— Однажды я слышал, как ты плакал.

— Помню.

— Если мне нельзя плакать, то и ты не должен.

— Хорошо.

— У тебя нога заживет?

— Да.

— Не врешь?

— Нет.

— А то она выглядит ужасно.

— Ну уж, не преувеличивай.

— Тот человек хотел нас убить, так?

— Да, пытался.

— Ты его убил?

— Нет.

— Ты говоришь правду?

— Да.

— Ну ладно.

— Теперь все выяснил?

— Да.
— Я думал, ты не хочешь разговаривать.
— Не хочу.

Прошло два дня, прежде чем они отправились дальше. Отец плелся, прихрамывая, толкая перед собой тележку, мальчик не отходил от него ни на шаг, пока они не вышли за черту города. Дорога пролегала вдоль серого плоского берега, на ее поверхности то и дело попадались холмики песка, нанесенного ветром. Песок сильно затруднял движение, в некоторых местах приходилось отгребать его доской, которую они примостили внизу тележки. Вышли на пляж, укрылись от ветра за дюнами и сели рассматривать карту. Захватили с собой горелку, вскипятили воду и заварили чай. Сидели, закутавшись от ветра в одеяла. На берегу потрепанные бурями и непогодой шпангоуты старинного корабля. Серые занесенные песком бимсы, старые крепежные болты ручной работы. Изъеденная ржавчиной оснастка из железа глубокого сиреневого цвета, выплавленного где-то в печах Кадиса или Бристоля и прокованного на почерневших от копоти наковальнях, способная и три столетия противостоять морской стихии.

На следующий день они миновали заколоченные досками дома — руины приморского курорта. Дорога уходила от берега вглубь, в сосновый лес, где пепел смешивался с сосновыми иголками и в темных кронах шумел ветер.

В полдень, когда светлее всего, расположился на дороге, чтобы снять швы. Ножницами из аптечки разрезал нитки, отложил ножницы и снял зажим. Следующий шаг — вытащить нитки, прижимая кожу в нужном месте большим пальцем. Мальчик сидел рядом, наблюдал. Зажимом прихватывал кончики ниток, вытягивал одну за другой. Крохотные бусинки крови. Закончив, спрятал зажим и наложил повязку на шов, встал и надел штаны, и отдал мальчику аптечку, чтобы тот положил ее на место.

— Больно было, да?
— Да.
— Ты и вправду такой храбрый?
— Так, не очень.
— А какой твой самый геройский поступок?
Отец сплюнул на дорогу кровавую слюну.
— Когда встал сегодня утром.
— Правда?
— Нет. Не обращай на меня внимания. Пошли.

Вечером забрезжили расплывчатые очертания другого прибрежного города, скопление покосившихся высоток. Решил, что от жара арматура размягчилась, а потом затвердела, но здания так и не выпрямились до конца. Расплавленное оконное стекло свисало сосульками со стен, как глазурь на торте. Они продолжали идти. Порой ночами посреди черного холодного запустения просыпался от цветных снов, наполненных человеческой любовью, пением птиц, светом солнца.

Уперся лбом в скрещенные руки, лежащие на ручке тележки, и кашлял. Сплюнул кровью. Все чаще вынужден был останавливаться и отдыхать. Сын наблюдал. Неосознанно начал привыкать к мысли, что отец уходит от него. Хотя не представлял себе иной жизни. Он знал, что по ночам мальчик не спит, слушает его дыхание.

Дни ползли один за другим, безымянные, ни тебе чисел, ни времени суток. Вдали по краям хайвея длинные ряды полусгоревших и ржавых машин. Голые ободья колес в застывших серых лужицах расплавившейся резины, в копоти от пожара. Обгоревшие трупы, каждый размером с ребенка, застыли на пружинах сидений. Десять тысяч надежд, навечно погребенных в глубине испепеленных сердец. Отец и сын не останавливались. Мечутся внутри вымершего пространства, как белки в колесе. Безмолвные ночи, непроницаемая чернота. Холод. Почти не разговаривали. Кашляет постоянно, сын смотрит, как он харкает кровью. Бредут еле-еле. Заросшие грязью, оборванные, потеряв всякую надежду. Иногда остановится и обопрется на тележку, а мальчик уйдет вперед, потом тоже остановится и оглянется. Тогда отец поднимет слезящиеся глаза и сквозь пелену увидит, как сын смотрит на него из недосягаемой дали, окруженный сиянием, словно священный сосуд посреди этой пустыни.

Дорога пересекала высохшее болото, со дна которого из мерзлой грязи поднимались к небу ледяные сосульки, будто сталагмиты в пещере. Следы давнего костра на обочине. Дальше — бетонная дорога на насыпи. Мертвая трясина. Сухие деревья в серой воде, с веток свисают пряди мрачного сухого мха. Лоснящиеся полосы сажи по краям дороги. Стоял, облокотившись на шершавую бетонную ограду. Вероятно, именно теперь, когда мир подвергся уничтожению, можно понять, как он был создан. Океаны, горы. Зрелище, внушающее благоговение, — мир исчезает, как будто пленку прокручивают в обратную сторону. Всеобъемлющая пустота, словно губка, всасывающая все в себя, безжалостно и хладнокровно. Тишина.

Все чаще на дороге стали попадаться завалы из сосен. Вырубленные то тут, то там широкие просеки. Развалины зданий вдоль дороги, переплетения электрических проводов с придорожных столбов, перекрещенных, как вязальные спицы. На дороге груды мусора, пробираться с тележкой среди них не так-то легко. В конце концов они просто уселись на обочине и стали рассматривать то, что ожидало их впереди. Крыши домов, стволы деревьев. Лодка. Высокое небо, по нижнему краю которого лениво колышется зловещий океан.

Порылись в раскиданных на дороге вещах и нашли сумку для него и небольшой чемоданчик для мальчика. Сумка удобно висела на плече. Упаковали в них одеяла, и полиэтилен, и оставшиеся консервы и, бросив тележку, пошли дальше. Пробирались сквозь завалы, карабкались. Невероятно медленно. Останавливался, чтобы передохнуть. Присел на брошенный диван, разбухший от сырости. Нагнулся, сдерживая кашель. Стянул с лица маску, всю в кровавых пятнах, и прополоскал ее в

придорожной канаве. Выжал, но не надел, а просто стоял на дороге. Белый пар дыхания. Вот и зима приближается. Обернулся и глянул на сына. Стоит со своим чемоданчиком, как сирота на автобусной остановке.

Через два дня они дошли до широкой реки, впадающей в океан. Мост через реку обвалился и лежал, омываемый медленными волнами. Сидели на сломанной опоре и смотрели, как вода приливает и бурлит в ажурных решетках упавших пролетов. Посмотрел вдаль, на расстилающуюся за рекой местность.

— И что нам теперь делать, папа? Ты это хотел спросить?

— Да... — согласился мальчик.

Подошли по глинистому берегу к наполовину занесенной илом лодке, стояли, рассматривали. Из тех еще, доисторических времен. В воздухе запахло дождем. Потащились со своими вещами на пляж, искали, где бы укрыться. Ничего не нашли. На берегу насобирал выбеленные водой деревяшки, сложил в кучу и разжег костер. Потом сидели в дюнах, накрывшись полиэтиленом, и наблюдали за надвигающимся с севера дождем. Дождь усиливался, капли оставляли вмятины на песке. Костер зашипел и задымился, дымок медленно закручивался, а мальчик свернулся калачиком под шуршащим от дождя полиэтиленом и вскоре уже спал. Отец натянул на голову пленку как капюшон и так сидел, глядя на серый океан, скрытый за пеленой дождя, и на волны прибоя, разбивающиеся о берег и сползающие по исколотому дождем песку.

На следующий день ушли с побережья, в глубь суши. Громадная болотистая низина. Мертвые заросли папоротника и диких орхидей, до которых ветер не сумел добраться. Памятники самим себе — из пепла. Каждый шаг — пытка. Через два дня, выйдя наконец к мосту, он рухнул на мешок, обхватил себя обеими руками и кашлял, пока совсем не изнемог. За два дня они прошли не больше десяти миль. Перешли через реку и почти сразу же набрели на пересечение дорог. Гроза шла с востока на запад и, преодолев горный перешеек, повалила сухие мертвые деревья, как бурный поток — водоросли на дне. Прямо там и устроили стоянку, и когда он лег, то понял, что с этого места ему не сдвинуться и что здесь он умрет. Мальчик смотрел на него со слезами на глазах:

— Ты что, пап?

Смотрел, как мальчик идет по траве и несет ему кружку с водой. От мальчика исходило сияние. Взял кружку, отпил и откинулся назад. Из еды у них осталась последняя банка с персиками, и он заставил мальчика поесть, а сам отказался.

— Я не могу. Все в порядке.

— Я оставлю тебе твою часть.

— Хорошо. Сохрани до завтра.

Ребенок взял кружку и куда-то пошел. Сияние двинулось вслед за ним. Он хотел сделать навес из полиэтилена, но отец ему не позволил. Сказал, что не хочет никаких загородок. Лежал и наблюдал за мальчиком, занимавшимся костром. Хотел видеть сына. Сказал: "Оглядись вокруг. Нет ни одного пророка в долгой истории Земли, чье имя сегодня

бы не упомянули с почтением. Что бы и как ты ни сказал, правда на твоей стороне".

Мальчику показалось, что в воздухе запахло мокрой сажей. Пошел к дороге и притащил оттуда кусок фанеры. Булыжником вбил колышки в землю и соорудил подобие односкатного навеса. Но дождь так и не собрался. Оставил ракетницу рядом с отцом, с собой взял револьвер и отправился на поиски съестного, но вернулся ни с чем. Отец взял его за руку, прохрипел:

— Ты должен идти дальше. Я не могу. А ты должен. Ты не знаешь, что́ тебя ждет на дороге. Нам всегда везло. И тебе повезет. Вот увидишь. Иди. И ни о чем не волнуйся.

— Я не могу.

— Все в порядке. К этому все шло. Мой час настал. Продолжай двигаться на юг. Делай, как я тебя учил.

— Папа, ты поправишься. Обязательно.

— Нет. Не поправлюсь. Не расставайся с револьвером ни на секунду. Тебе надо найти хороших людей, но жизнью рисковать нельзя. Не рискуй, слышишь?

— Я хочу остаться с тобой.

— Нельзя этого делать.

— Пожалуйста.

— Нельзя. Ты должен нести огонь.

— Я не знаю как.

— Нет, знаешь.

— Нести огонь? По правде?

— Конечно.

— Где он? Я не знаю, где он.

— Да знаешь ты. Он у тебя в сердце. Всегда там был. Я его вижу.

— Возьми меня с собой. Пожалуйста.

— Не могу.

— Пожалуйста, папа.

— Я не могу. Я думал, что у меня хватит сил держать в руках своего мертвого ребенка. Думал так, но нет, не могу.

— Ты говорил, что никогда меня не покинешь.

— Знаю, говорил. Прости меня. Тебе принадлежит мое сердце. Принадлежало и принадлежит. Ты — лучший в мире. Был и есть. Ну и что, что меня нет рядом? Ты все равно можешь со мной говорить. Ты всегда будешь говорить со мной, а я с тобой. Увидишь.

— А я услышу тебя?

— Да, услышишь. Ты просто должен представить, что говоришь со мной, и тогда получится. Надо упражняться. Только не опускай руки. Хорошо?

— Хорошо.

— Отлично.

— Мне очень страшно, папа.

— Я знаю. Но все будет хорошо. Тебе обязательно повезет. Я это точно знаю. Мне лучше помолчать. А то опять кашель подступает.

— Не волнуйся, папа. Отдохни.

Мальчик расхрабрился. Ушел далеко от стоянки. Вернулся. Отец уснул. Он сел рядом под навесом из фанеры, смотрел на него. Закрыл глаза и попробовал поговорить с отцом. Слушал с закрытыми глазами.

Отец проснулся в ночи. Лежал, прислушивался. Мальчик сидел у костра, закутавшись в одеяло, наблюдал за ним. Стук капель. Меркнущий свет. Прошлые сны не исчезают при пробуждении. Снова стук капель. Свет излучала свеча, которую мальчик нес в медном помятом подсвечнике. Воск, застывший на камнях. Следы неизвестных существ в окаменевшем известняке. В том ледяном коридоре они пересекли невидимую черту, после которой уже нет возврата. Все, что стояло между началом и концом пути, — это тот огонь, который они сами несли.

— Папа, ты помнишь того маленького мальчика?

— Да, я его помню.

— Как ты думаешь, он выжил?

— Думаю, что да.

— Как ты думаешь, он заблудился?

— Нет. Он не заблудился.

— А я боюсь, что заблудился.

— Думаю, у него все хорошо.

— Но кто же ему поможет, если он заблудился? Кто спасет маленького мальчика?

— Доброта. Так было, и так будет.

В ту ночь он спал в обнимку с отцом. Проснувшись утром, обнаружил, что обнимает холодный окоченевший труп. Долго сидел около тела, плакал, а потом поднялся и лесом вышел к дороге. Вернувшись, опустился на колени возле отца, взял его холодную руку в свои и повторял его имя снова, и снова, и снова.

Три дня оставался с отцом, а потом вышел на дорогу, посмотрел туда, откуда они пришли, потом — в другую сторону. Ему навстречу по дороге шел человек. Сначала мальчик хотел спрятаться в лесу, но передумал. Стоял с револьвером в руке и ждал, пока тот подойдет. Все одеяла навалил на отца, сам промерз, ослабел от голода. Человек подошел поближе и остановился. Одет в серо-желтую лыжную куртку, на плече на кожаном ремешке висит дробовик дулом вниз, на груди нейлоновый патронташ с патронами. По всему — старый вояка, с бородой, с глубокими шрамами на лице, один глаз косит. Когда говорит или улыбается, рот немного перекошен.

— Где твой спутник?

— Умер.

— Это был твой отец?

— Да, это был мой папа.

— Сочувствую.

— Я не знаю, что мне дальше делать.

— Думаю, тебе стоит пойти со мной.

— А вы хороший?

Незнакомец опустил капюшон куртки. Длинные спутанные волосы. Посмотрел на небо. Будто там есть что-то интересное. Посмотрел на ребенка:

— Ага, я из хороших. Убери-ка свой револьвер.

— Я никому его не отдам. Ни за что.

— Мне твой револьвер не нужен. Просто не хочу, чтобы ты в меня целился.

— Ладно.

— Где твои вещи?

— У нас мало вещей.

— У тебя есть спальный мешок?

— Нет.

— Тогда что у тебя есть? Одеяла какие-нибудь?

— Я в них папу завернул.

— Покажи.

Мальчик не сдвинулся с места. Человек не сводил с него глаз. Опустился на одно колено, скинул с плеча ремень и, поставив дробовик на дорогу, оперся на него. Патроны в гнездах патронташа снаряжены вручную и залиты свечным воском. От человека пахнет дымом костра.

— Слушай. Сам решай. Мы долго спорили, идти за тобой или нет. Ты можешь остаться здесь со своим отцом и умереть или можешь пойти со мной. Если решишь остаться, держись подальше от дороги. Не могу понять, как вы вообще выжили. Будет лучше, если пойдешь со мной. Ничего плохого с тобой не случится.

— Откуда мне знать, что вы хороший?

— Согласен, не знаешь. Придется поверить мне на слово.

— Вы несете огонь?

— Чего я несу?

— Огонь.

— Ты малость чокнутый, что ли?

— Нет.

— Самую малость?

— Ну, может, чуть-чуть.

— Это ничего.

— Ну так как, несете?

— Что несу, огонь?

— Ну да.

— Да. Несем.

— У вас есть дети?

— Есть.

— А маленький мальчик у вас есть?

— У нас есть маленький мальчик и маленькая девочка.

— Сколько ему лет?

— Столько же, сколько тебе. Может, немного постарше.

— Вы их не съели?

— Нет.

— Вы людей не едите?

— Нет. Мы не едим людей.

— И я могу пойти с вами?

— Да, ты можешь пойти с нами.

— Хорошо, я пойду.
— Вот и хорошо.

Они пошли в глубь леса, и человек присел и стал рассматривать серую костлявую фигуру, накрытую листом фанеры.
— Это все ваши одеяла?
— Да.
— А чемодан? Твой?
— Мой.
Человек выпрямился, взглянул на мальчика:
— Почему бы тебе не пойти на дорогу и не подождать меня там? Я сам принесу одеяла и все остальное.
— А что будет с моим папой?
— А что с ним может быть?
— Нельзя же его так оставить!
— Можно.
— Я не хочу, чтобы его кто-нибудь увидел.
— Никого тут нет.
— Может, завалим его листьями?
— Ветер сдует.
— Тогда давайте укроем одеялом.
— Давай. Я укрою, а ты иди.
— Хорошо.

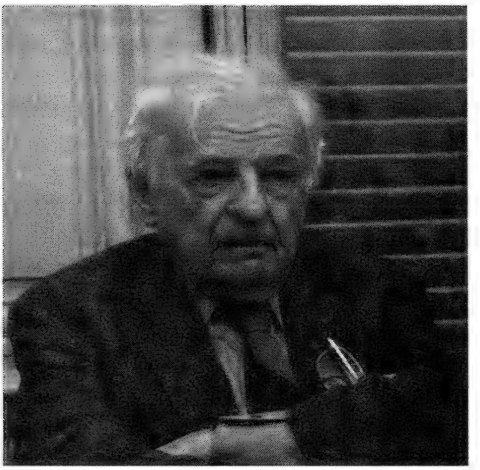
Мальчик ждал на дороге, и наконец человек вышел из леса, таща чемодан и перекинув одеяла через плечо. Покопался в одеялах, выбрал одно и протянул его мальчику:
— Закутайся, а то совсем замерз.
Мальчик хотел отдать ему револьвер, но человек велел оставить его себе.
— Ладно.
— Ты умеешь из него стрелять?
— Да.
— Отлично.
— А с папой что?
— А что мы еще можем сделать?
— Мне бы хотелось с ним попрощаться.
— Моя помощь не нужна?
— Нет.
— Тогда иди. Я тебя подожду.
Пошел в лес и опустился на колени рядом с отцом. Тело завернуто в одеяло — тот человек выполнил его просьбу, — и мальчик не разворачивал одеяло, а просто сидел и плакал, и все никак не мог остановиться. Плакал очень долго. Прошептал:
— Я буду разговаривать с тобой каждый день. И никогда тебя не забуду. Что бы ни случилось.
Затем поднялся, повернулся и пошел к дороге.

Женщина, увидев его, обняла и долго не отпускала.
— Ах, как я рада!

Иногда она рассказывала ему про Бога. Он пробовал говорить с Ним, но лучше всего у него получалось говорить с отцом. И он говорил, часто, и не забывал его. Женщина сказала, что это правильно. Что его устами говорит Бог и что так из поколения в поколение передается истина.

Когда-то в горной речке водилась форель. Было видно, как рыбы стоят в янтарной воде, а течение медленно покачивает их плавники с дрожащими белыми каемками. Рыбины оставляли на руках запах тины. Гладкие, мускулистые, напряженные. На спинах — замысловатые узоры. Карты зарождающегося мира. Карты и запутанные лабиринты. То, что назад не вернуть. И никогда уже не исправить. В глубоких впадинах, где прятались рыбы, все дышало древностью и тайной. А человечество еще только делало свои первые шаги.

Клод Эстебан



Стихи из книги "Обрывки неба, почти ничего"

Перевод с французского и вступление Михаила Яснова

Клод Эстебан — имя для русского читателя новое: ни стихи его, ни эссеистика у нас не переводились. Между тем в сегодняшней французской поэзии он занимает одно из самых почетных мест, его книги освящены громкими литературными премиями, его авторитет — поэта, историка и исследователя искусства и первоклассного переводчика испанской поэзии — прочен и неколебим.

Клод Эстебан (1935—2006) начал публиковаться в конце 60-х, первый поэтический сборник, обративший на себя внимание критики — "Можно назвать", — появился в 1971 году; с тех пор у него вышло свыше сорока книг в разных жанрах; последняя книга стихов "Смерть на расстоянии" осталась на его рабочем столе и опубликована посмертно (2007). Переводил испанских поэтов — Гонгору и Кеведо, Мачадо, Лорку и Хорхе Гильена, мексиканца Октавио Паса, перуанца Сесара Вальехо, португальца Фернандо Пессоа. Писал о художниках — итальянцах, французах, отдельную книгу эссе посвятил выдающемуся американскому художнику Эдварду Хопперу. Возглавлял журнал "Argil" ("Глина", 1974—1981), руководил серией поэтических книг издательства "Фламарион" (1984—1993), долгие годы преподавал испанскую литературу в Сорбонне; в начале 1999 года унаследовал от Мишеля Деги должность Президента Дома писателей, который возглавлял до 2004 года. И при этом публичным человеком не стал — его уделом была кабинетная работа над словом.

Сын испанца и француженки (родители его бежали во Францию в середине 30-х), Эстебан делил свои пристрастия между двумя языками и, по его собствен-

© Éditions Gallimard, Paris, 2001
© Михаил Яснов. Перевод, вступление, 2008

ным словам, острее всего ощущал разного рода "межъязыковые перегородки". Это господствовавшее чувство раздела стало главным источником его поэтического предназначения; всю жизнь он старался "соединять языки" — испанский и французский, язык живописи и язык поэзии, язык собственной души и мира чувственного. "Ссыльный языка" многое ощущает ярче и глубже.

Имя Эстебана неотъемлемо от его поэтического поколения. Его упоминают рядом с Андре дю Буше, который умел минималистскими средствами воссоздавать утерянные связи в целостной картине мира. Рядом с Ивом Бонфуа, создавшим особый лингвистический образ реальности; рядом с мудрым и хрупким Филиппом Жакоте и математически выверенным Жаком Рубо. Наконец, рядом с Мишелем Деги, занимающим почетное и общепризнанное место поэта-философа. В этом поколении, для которого язык как таковой был сутью работы, Эстебан представляется тонким исследователем культуры, подвергающим анализу "критику поэтического разума" (так назывался один из его теоретических сборников), а на практике старающимся дешифровать поэтическую речь, которая "избегает порядка и законов логоса".

В современной французской поэзии действуют довольно мощные центростремительные силы: ее язык уплотняется, сгущается; востребованы экономия средств, лаконизм. Эстебан в центре этого движения — он поэт-минималист, он стремится выразить поэтическое высказывание в наиболее краткой форме. При этом он отклоняет "тиранию афоризма", свойственную французской рациональной поэзии, для него куда важнее краткая музыкальная фраза; намек сильнее высказывания; этюд глубже завершенной картины. Молчание для него — лучший спутник на избранной дороге. Если вспомнить о втором его пристрастии — изучении и исследовании живописи, — то Эстебана можно назвать пуантилистом, создающим пространство поэзии мелкими звуковыми мазками, между которыми остается достаточно воздуха, чтобы включались в работу подтекст и подсознание.

Критики любят вспоминать его строку: "Я буду стирать, размывать день до тех пор, пока останется только один мой голос". Есть и второе, часто цитируемое определение, принадлежащее Эстебану: поэзия — "место вне места". В отличие от сюрреалистов, которые полагали, что поэзия разлита во всем вокруг, и любое движение могли преподнести как поэтический жест, Эстебан показывает, что само определение поэзии может быть иным — это акт мгновенного "вчувствования", интуиция, а не рассудок, и поэтому ни в коей мере не может быть единственным способом узнавания и разъяснения мира. Победы поэта — это победы вербальные, они предполагают поражения в человеческом плане, они одерживаются до тех пор, пока звучит слово, и стираются, чтобы уступить место новым ощущениям и узнаваниям.

В этом утверждении Клод Эстебан близок Мишелю Деги, который в эссе "Шарканье метлы на улице прозы" тоже писал о том, что поэзия — это далеко не "всё" литературы: "Современная литература скорее представляется *колебанием между* (Валери); между прозой и поэзией, к примеру". Отсюда — главная забота поэта: работа внутри языка. Отсюда — "свои" знаки препинания, интонационные, а не продиктованные правилами пунктуации (вспомним Гертруду Стайн). Отсюда — в противовес прозе, манящей свободой высказывания и свойством объять все в мире, — утверждение: поэзия это мир "почти ничего", перевод некоего отсутствия, потери сущности, более осязательность, нежели изображение.

Деги однажды написал: "Жизнь моя тайна того, *как*". Вослед ему Эстебан мог бы сказать: "Жизнь моя тайна того, *где*".

В книге "Обрывки неба, почти ничего", получившей в 2001 году Гонкуровскую премию за поэзию, это *где* прослеживается в каждом из представленных циклов, будь то "На последней пустоши" — небольшой цикл, пронизанный эпиграфами из шекспировского "Короля Лира", весь пропитанный эхом, отзвуками и реминисценциями этой трагедии, которая, как выразился один из французских критиков, "черпает свою глубину из воздуха ностальгии и меланхолии", или "Кора" — собрание трехстиший, так похожих на японские хайку; однако сам Эстебан указывает на существенные отличия: "Чем больше я размышляю над японской поэзией, тем больше думаю, что мы никогда не сможем соблюсти абсолютный ритм, ей свойственный. От многих слов приходится отказываться, но все же иногда двенадцати слогов достаточно, чтобы стихотворение задышало во всю свою мощь". Или, наконец, циклы "Обрывки неба" и "Уснули, спим" — "книги песен" в диапазоне: от подражаний фольклору до стихов в прозе, написанных с четкой установкой на то, что многословие всегда угрожает прозрачности.

В статье "Законы невесомости", посвященной Марку Шагалу (1984), Эстебан писал о "новой гравитации", выводя ее как свойство живописи, — в равной степени законы "новой гравитации" могут быть применимы для описания его собственного творческого метода, попыток истончить поэтическое высказывание до того состояния, когда его невесомость становится для нас важным приобретением и не менее важным опытом.

На *последней пустоши*

*

Дерево дерево дерево, а потом
холод

хватит уже идти мне за этим
слепцом

если всегда идешь
остаешься один

дерево дерево а потом
нет, не дерево, вдруг

уже нет никого вокруг
тех, кого я любил.

*

Старуха нога, ты уже ни к чему не пригодна,
прощай

мир слишком велик, можно запросто в нем
заблудиться, но

напоследок все снова едино, все прах
и не важно где,

мозги-старичье, вам нужны костыли,
черепушка моя,

моя черепушка, мой разум, лягушки в болоте
хохочут до колик.

*

Скажи мне слепец, ты чувствуешь как
хрупка земля у нас под ногами

мне тысяча лет, я сам предтеча
воспоминаний, спроси же меня

как смог я по-своему называть
вещи, я, уже несуществующий,

ты же умеешь плакать без глаз
и поэтому можешь сказать что мы

мертвы, ты слепец, и поэтому я
могу тебя подвести к полосе

седого прибоя.

*

Ну что старичок собираем вещи,
нас гонит новый рассвет

волки завистливо и зловеще
зыркают нам вослед

уходим, освобождаем место,
место для новых бед.

*

Дорога с выбоинами и ямами
необоримый предвестник беды

позовите, назовите мои ямы и выбоины,
я склонюсь до земли.

*

Очнитесь наконец, безумец и слепец,
вслушайтесь

кто-то зовет меня там вдалеке,
кто-то зовет меня там по имени

а мне не сдвинуться с места, вы меня
отнесите скорей к этим ивам, к лесной тишине

и оставьте меня с тем призывом наедине.

*

Попутчик, мой друг,
пучина вокруг
дорога все хуже

а все же, постой,
мы можем с тобой
присесть, и к тому же

почти в облаках
забыть о богах
о тяжести бедствий,

мы можем, а все ж
ты дальше несешь
и грех свой, и крест свой.

*

Там, в том краю, в том далеком краю
предназначенном нам

даже, ты помни об этом, когда возвратится
зима

снег будет нежным и лед будет мягким
и память не сможет тебя поранить.

*

Пусть будет все легчайшим, все таким
как дуновенье ветра

и пусть он унесет нас как пыльцу
цветущей кроны

пусть наши души
растворит пространство

и пусть однажды кто-нибудь узнает
что при жизни

дышали мы цветами.

*

Конечно, все закончится, и мы увидим
розовый куст

и лепестки почти неслышно
осыплются на нас, и солнце

поднимется, и вдалеке возникнет
неясной формы облако

подобно знаку что отныне
все в мире не имеет веса, это будет

так словно горе
превратилось в сказку

такую старую что все ее забыли.

*

Ах листочек вербы, тебя не удержишь
боль не излечишь, разве что утешишь,

серою тенью улетаешь прочь
друг тебе не солнце отныне, а ночь

исчезаешь в полдень, прощаешься со светом
куда-то ускользаешь за гусеницей следом

ах листочек вербы, то ли дело плющ,
никуда не улетает цепок и ползущ.

Кора

Этим вечером
даже лист на дереве
шуршит чересчур.

*

С первым же словом я понял
что выбрал в речи
неверный путь.

*

Ни циркулем ни угломером
не вымерять
дерево.

*

Не стоит пыль
разбавлять пылью,
обувь оставь у входа.

*

Кто-то кричит что вокруг темно,
а все потому
что стукнулся головой.

*

Может быть можно еще подышать
там под корнями,
а небо забыть.

*

Другим кажется
что чужие раны
всегда заживают.

*

Ты спешил,
ты хотел закончить портрет неба
до грозы.

*

Чтобы легче было идти
я взвалил на плечи
время.

*

Мне, только мне,
не стану делиться ни с кем
воробьиными распрями.

*

Пусть слепой возьмет тебя за руку,
он уже знает
путь который тебе остался.

*

Тысячелетье назад
я уже видел эту бабочку
в тогдашнем сне.

*

Если твой карандаш
медлит над листом,
разорви рисунок.

*

Если бы смерть
была легка
я хотел бы стареть как дерево.

*

Солнце ошибается,
что ни день оно пишет свои письмена
справа налево.

*

И вдруг на стене
эта тень,
ничья.

*

Слышите шорох,
видимо это звезда
упала в траву.

*

В эпоху чернил
слова и те
пахли фиолетово.

*

Перед тем как покинуть сад
он прижался к иве
и обнял ее кору.

Обрывки неба, почти ничего

Пятно на камне,
это было

пятно крови, пятно
высохшей боли

потребовалось бы собрать
все осенние дожди

чтобы стереть, чтобы смыть
не только пятно, но и тень пятна

чтобы свет опять заиграл
на этом камне.

*

Моя любовь так далека
что может умереть прежде чем я ее узнаю

моя любовь так далека
что порою мне кажется будто я ее касаюсь, но
я давно остался без рук

моя любовь так далека
что открыв все двери, одну за другой,
я вижу только взмах, там, в небесах.

*

Этой ночью я засну
в обнимку с ивой, а будет холодно

внесу ее в мой дом, и мы его
посчитаем за общий, и корни наши сплетутся

и сад будет черней, чем тьма муравьев.

*

Возможно кто-то
кричит

и меня пронзает его исступление, возможно
кто-то жаждет

а горло сводит мне, да,
возможно

кто-то ждет не дождется солнца
а бельма скрывают мои зрачки.

*

Тень:

Старик, я тебя не знаю
ты властелин
над муравьями, а дочки твои паучихи

Другая:

Старик, я тебя тоже не знаю
твоя душа
тверда как алмаз, твои слезы
застревают в створках ракушек

Вместе:

Пусть накормят его терниями, пусть
напоят его цикутой
пусть умрет он тысячу раз и пусть воскреснет.

*

Так холодно в этом моем
сне

в нем люблю я женщину и вижу
снег прикрывающий ее имя

и так
темно, что я не припомню как
называется снег.

*

Я хотел бы чтобы кто-нибудь ко мне подошел и сказал
что я ошибаюсь

я хотел бы
чтобы утро никогда не глядело на меня столь ожесточенно

я хотел бы чтобы море
выучилось нежности у деревьев

и чтобы ветер
наполнил дыханьем беглые мысли этого дома.

*

Я давно покинул
этот берег

море тебя поглотило
меня забыло

голубой цветок
сквозь песок пробился

это ты, это ты навсегда
тебе бы вздохнуть.

*

Я хотел бы услышать голос
но голос умер

я хотел бы увидеть цветы на столе
но дом продали

я хотел бы приветствовать полдень, но кровь
заградила дорогу

я хотел бы все камни извлечь из земли
но остался один, и того по горло.

*

И на последнем осеннем листе
что-то написано, так

и есть, но темно, и приходит
ночь, и никто

не знает, ходит ли кто-то в ночи или
все на свете шаги

уснули, и все же падает этот последний
лист, а нужно бы прочитать

то что он хочет сказать, может
узнаем что кровь

свертывается как лист, исчезает
но никто

не пройдет за окном, мертвецы
разошлись по своим углам.

*

Дверь
заперта

женщина ближе которой нет
говорит: нет

не
оборачиваться, но

исчезнуть
и обернуться ветром.

*

Это будет
на самом рассвете, когда

просыпаются птицы, когда
поднимается ветер, и хватит всего лишь

дуновенья
чтоб зашелестели страницы

и женщина скажет: как дни посвежели
обними меня и согрей

и тогда
я узнаю и голос ее и улыбку

и почудится, утро
останется в доме

и уже не останется места ни тени
ни прежней недоле.

Уснули, спим

Фея с ноготок
травинка, цветок
вот твои подарки

муравей червяк
и ящерка, так
все на зависть ярки

смотри, там и тут
снуют и несут
тебе без оглядки

капельку винца
что лечит сердца
и гонит догадки

фея с ноготок
выйди за порог
года с полминутки.

*

Уснули, спим
и уже летим
к обетованной земле как птицы

в сердце не пряча
ни смеха, ни плача,
мой бог, пусть удача и к нам возвратится.

*

Рифмовки, считалки,
сказочный путь

сердце открыть
детство вернуть

сто, миллион,
тень, выйди вон

тайные рифмы
смех без утайки

у каждой загадки
свои угадайки

беседки в ряд
глаза горят.

*

Землица что стремится
кровушкой напиться

сбереги мне душу
и любовь-вдовицу

почему так много звезд
и так мало света

а в тебе мой ангел
ни кровинки нету.

*

И солнце
путь на небосвод,
будь я в сомненье, не найдет

себя я продал
ни за грош
на небеса не попадешь

простите мне
мой юный пыл
сам по себе я прежде был

как это солнце был,
точь-в-точь,
сомненья прочь, иначе ночь.

*

Кузнечик мой, не стрекочи
о том что полдень бьет, молчи

так много снов приснилось мне
пропали башмачки во сне

куда спешить ночной порой
все, может, кончится с зарей

будь, мой кузнечик, начеку
возьми с собой мою тоску.

*

Ветер, ветер опять
и под ветром шорох неясных слов

если долго не спать
шум листвы вам покажется шумом чужих голосов

он повсюду, всегда, он ясней
и ясней, если ветер задует сильней.

Итало Кальвино

Зеркало-мишень

Перевод с итальянского Наталии Ставровской

В юности я проводил немало времени у зеркала, гримасничая. Не оттого, что находил свое лицо таким прекрасным и был готов без устали им любоваться, — наоборот, я его не выносил. И примерял иные лица, которые, едва возникнув, тотчас заменялись на другие, что давало мне возможность ощущать себя все время новым человеком, массой всяческих людей, толпой субъектов, которые поочередно становились мною, нет, наоборот, я — ими.

Нет, скорее каждый из них становился кем-нибудь еще из них, а я был словно ни при чем.

Порой, примерив пару-тройку, а случалось, и десяток, дюжину личин, я убеждался, что одну из них предпочитаю прочим, и старался воссоздать ее, опять сложить свои черты в удавшуюся мне физиономию. Какое там! Вновь зафиксировать сошедшую с лица гримасу, снова совместить ее с моим лицом не получалось, в поисках ее я обретал все новые личины — незнакомые, чужие, подчас враждебные, все менее похожие на ту, что мне приглянулась. В испуге я переставал гримасничать — и лицезрел свое всегдашнее обличье, казавшееся мне еще невыразительней, чем прежде.

Такие упражнения не длились долго. Кто-то непременно возвращал меня к реальности.

— Фульдженцио! Фульдженцио! Куда он подевался? Ну, все ясно! Разве неизвестно, где искать этого олуха? Фульдженцио! Опять ты корчишь рожи перед зеркалом!

© The Estate of Italo Calvino, 2002. All rights reserved.
© Наталия Ставровская. Перевод, 2008

Я лихорадочно импровизировал гримасы злодея, пойманного с поличным, солдата, вставшего по стойке "смирно", послушного ребенка, слабоумного, ангелочка, гангстера — одну ужимку за другой.

— Фульдженцио, сколько можно говорить: не замыкайся в себе, выгляни в окно! Взгляни, прислушайся, как буйно все в природе произрастает, зеленеет, расцветает, шумит и шелестит! И как бурлит, пульсирует, вибрирует, работает и стряпает трудолюбивый город! — Ближние указывали мне на некий элемент пейзажа, способный, на их взгляд, меня увлечь, зажечь и наделить энергией, которой, по их мнению, мне не хватало. Смотря во все глаза туда, куда были направлены их пальцы, я силился заинтересоваться тем, что предлагали мне отец и мать, дяди и тети, дедушки и бабушки, братья и сестры — старшие и младшие, родные и двоюродные, троюродные и четвероюродные, надзиратели, преподаватели, их заместители, товарищи по школе и каникулам. Но я во всех рекомендованных ими объектах или явлениях как таковых не видел совершенно ничего неординарного.

А вот *за* ними вроде бы скрывались некие иные — в самом деле возбуждавшие мой интерес и даже наполнявшие меня любопытством. Иногда я замечал, как что-то или кто-то — такой, а может быть, такая — появлялось и тотчас же исчезало. Не успев понять, что́ это было, я тотчас же начинал это искать. Меня интриговала изнанка всякого явления — домов, садов, дорог и городов, кухонных комбайнов, телевизоров, моря, луны... Добравшись до их оборотной стороны, я понимал, что интересовался-то на самом деле оборотом оборота, нет, скорее, оборотом оборота оборота или даже оборотом оборота оборота оборота...

— Фульдженцио, что ты делаешь? Фульдженцио, ты что-то ищешь? Ты кого-нибудь высматриваешь там, Фульдженцио? — А я не знал, что и сказать.

Порой во глуби зеркала, за отражением собственной персоны, мне виделось какое-то другое существо, но рассмотреть его не удавалось — оно тотчас же пряталось. Я всматривался не в себя, а в то, что пребывало за моей спиной, и ничего особенного там не находил. Но, собираясь отвести глаза от зеркала, вдруг замечал, что это существо вот-вот возникнет с оборотной стороны стекла. Краем глаза я всегда улавливал его там, где совсем не ждал, но стоило мне присмотреться — и его как не бывало. Движения этого создания были быстрыми и в то же время плавными, текучими, как у плывущих под водой.

Оставив зеркало, я начинал искать, куда могло деваться это существо.

— Оттилия! Оттилия! — взывал я, так как мне было по вкусу это имя, и казалось: девушку, которая могла бы мне понравиться, не могут звать иначе. — Оттилия! Ну где ты прячешься? — Все время чудилось, что она рядом — вот, вот, впереди, нет, позади, нет, за углом, — но я всегда оказывался там мгновение спустя после ее исчезновения. — Оттилия! Оттилия! — Но, если бы меня спросили, кто это такая, я бы не нашелся, что ответить.

— Фульдженцио, надо знать, чего ты хочешь! Нельзя разбрасываться! Нужно намечать себе задачу — объект — рубеж — мишень — и неуклонно добиваться цели: выучить уроки, победить на конкурсе, заработать столько-то, потратить столько-то!

Я нацеливался на конечный пункт, я концентрировал все силы, привлекал всю свою волю, однако пункт прибытия оказывался пунктом отправления, мои силы — центробежными, а воля — довольно отвлеченным для меня понятием. Не щадя усилий, я пытался овладеть японским, получить специальность астронавта, выиграть чемпионат по штанге, накопить мильярд монет достоинством в сто лир.

— Фульдженцио, уверенно иди своей дорогой! — Я спотыкался.

— Не отклоняйся от намеченного курса! — А меня бросало вправо, влево, вверх и вниз.

— Любой барьер, сынок, бери одним прыжком! — Но все барьеры сваливались на меня.

В конце концов я впал в такое уныние, что и гримасничанье перед зеркалом не помогало. Там уже не отражались ни мое лицо, ни тень Оттилии — лишь каменистая равнина, походившая на лунную поверхность.

Чтобы закалить характер, я стал упражняться в стрельбе из лука. Хотелось, чтобы мои мысли и поступки сделались подобны стрелам, летящим по невидимым прямым, которые заканчиваются в определенной точке — в самом центре. Но целился я плохо. Попасть в мишень мне никогда не удавалось.

Мишень всегда казалась мне другим, далеким миром: миром точных линий и чистых красок — размеренным, геометрически четким, гармоничным. Обитатели его, должно быть, совершают лишь точные и быстрые движения, без всяких отклонений, думал я, для них, наверно, существуют лишь прямые линии, начерченные циркулем окружности, построенные с помощью угольника углы...

Впервые увидав Коринну, я понял: этот совершенный мир — ее, а я к нему пока что отношения не имею.

Сколько раз Коринна ни натягивала лук, все ее стрелы — злинн! злинн! злинн! — вонзались в центр мишени.

— Ты чемпионка?

— Мира.

— Ты знаешь столько способов натягивания тетивы, и каждый раз твои стрелы поражают цель. Скажи, как это тебе удается?

— Ты думаешь: я здесь, а мишень — там. На самом деле я и здесь, и там. Я одновременно лучница, лук, выпускающий стрелу, и пущенная стрела.

— Не понимаю.

— Стань как я — поймешь.

— И я смогу так научиться?

— Хочешь, научу?

В начале первого занятия она сказала:

— Когда долго всматриваешься в мишень, взгляд обретает должную твердость. Нужно просто пристально смотреть, пока не растворишься в ней, не убедишь себя, что в мире существует только мишень и в самом ее центре — ты.

Я стал всматриваться. Прежде вид мишени внушал мне ощущение определенности. Теперь чем дольше я смотрел, тем больше сомневался. То казалось, будто красные кольца выступают над зелеными, а то, напротив, — что зеленые приподнялись, а красные понизились. Меж ни-

ми возникали перепады, ущелья переслаивались нависающими скалами, из глубины водоворота центр перемещался на вершину шпиля, кольца создавали головокружительные перспективы. Вдруг я увидел: между ними протискиваются пальцы, рука, девичья фигурка... "Оттилия!" – тотчас подумал я. Но поскорее отогнал от себя эту мысль. Я должен был следить не за Оттилией, а за Коринной, но стоило Оттилии возникнуть – и мишень исчезла, словно лопнувший пузырь.

На втором занятии Коринна заявила:

– Пустив стрелу, лук расслабляется, но, чтоб он мог расслабиться, сначала его нужно натянуть. Чтобы поражать мишень, ты должен научиться двум вещам: сосредоточиваться и снимать с себя все напряжение.

Подобно тетиве, я напрягался и расслаблялся. Я делал "зланн!", "злинн!", "злунн!", я вибрировал как струны арфы, и в задрожавшем воздухе возникала щель, откуда дули ветры. Между "злинн!" и "злунн!" висел, покачиваясь, гамак. Ввинчиваясь вверх в раскрывшуюся пустоту, я видел: в гамаке между аккордами качается Оттилия. Но тут вибрация прекращалась, и я падал.

На третьем занятии Коринна предложила:

– Представь, что ты – стрела, и мчись к мишени.

Я мчался, рассекая воздух и убеждая себя в сходстве со стрелой. Однако стрелы, на которые я походил, неслись куда угодно, кроме цели. Я бегал подбирать упавшие стрелы – и попадал на каменистую пустошь. И непонятно было, чье там отражение в зеркале, мое или луны?

Среди камней я видел свои стрелы – с затупившимися наконечниками, искривленные, воткнувшиеся в песок, без оперения. И Оттилию, которая спокойно там гуляла, как прогуливаются по саду – срывая цветы и ловя бабочек.

Я. Что ты здесь делаешь, Оттилия? Где мы? На луне?

Оттилия. Нет, мы с обратной стороны мишени.

Я. И все стрелы, пущенные мимо цели, попадают именно сюда?

Оттилия. Мимо цели? Такого не бывает.

Я. Но поразить тут стрелам нечего!

Оттилия. Они пускают корни и становятся деревьями.

Я. Но здесь лишь камни, их осколки и обломки.

Оттилия. Если громоздить на камень камень, будет небоскреб. А если небоскреб на небоскреб – гора камней.

Коринна. Фульдженцио! Ну где ты? Тебя ждет мишень!

Я. Мне пора, Оттилия. Я больше не могу быть здесь, с тобой. Мне нужно на другую сторону мишени.

Оттилия. Зачем?

Я. Тут все такое беспорядочное, мутное, бесформенное...

Оттилия. Присмотрись получше. Ближе, ближе, ближе... Что ты видишь?

Я. Зернистую, крупитчатую, шишковатую поверхность.

Оттилия. Пройди меж шишечками, зернами, крупинками – и подойдешь к калитке сада с изумрудными газонами, с прозрачными бассейнами... Я – там, в этом саду.

Я. Но все, к чему я прикасаюсь, до того шершавое, сухое и холодное...

Оттилия. Ты проведи не торопясь рукою... Чувствуешь, как мягко это облако — как взбитые сливки...

Я. Но все такое однородное, глухое, плотное...

Оттилия. Раскрой как следует глаза и уши. Ты увидишь и услышишь искрящийся, бурлящий город, его окна и витрины, трубы и звонки, людей с белой, желтой, черной, красной кожей — в зеленых, голубых, оранжевых, шафрановых одеждах.

Коринна. Фульдженцио! Где ты?

Я уже не мог покинуть мир Оттилии, расстаться с городом, который был и облаком, и садом. Здесь стрелы не летели по прямой, а долго кувыркались вдоль незримых линий, которые скручивались и раскручивались, сматывались и разматывались, — но в конечном счете неизменно попадали в цель, хотя порой не в ту, что им предназначалась.

Но странное дело: чем глубже я осознавал, сколь прихотлив, замысловат, запутан мир, тем неотступнее мне казалось, что ежели понять кое-какие совсем простые вещи, то все станет ясным, словно на рисунке. Я хотел сказать это Оттилии или Коринне, но почему-то перестал встречать и ту, и эту, а в мыслях, как ни странно, часто смешивал одну с другой.

Давно уже я не смотрелся в зеркало. Но как-то, проходя случайно мимо, вместо себя увидел пеструю мишень. Попробовал встать в профиль к зеркалу, в три четверти — там все равно была мишень.

— Коринна! — крикнул я. — Я здесь, Коринна! Смотри, я стал таким, как ты хотела! — Но потом подумал: отражаюсь в зеркале не только я — весь мир. Значит, и Коринна там, между цветными кольцами. А где Оттилия? Быть может, она тоже там, но то появится, то скроется? Так Оттилия или Коринна, когда я долго-долго вглядывался в зеркало-мишень, мелькала меж концентрических кругов?

Порой мне кажется, будто я вижу ее — ту или другую — и она хочет что-то мне сказать, но при этом мы находимся в несущихся навстречу друг другу поездах метро и Оттилия — или Коринна? — на мгновенье оказавшись рядом, тут же ускользает прочь, а следом чередой проносятся другие лица, сменяющие друг друга в окнах-рамах, напоминая череду гримас, которые когда-то я часами корчил перед зеркалом.

Сержио Кокис
Полустанок

Роман

Перевод М. и Е. Кожевниковых

6

Старушка Мила обрадовалась, что Адриан вернулся не поздно. Она сейчас же налила ему чаю и принесла водки в кувшине, точно таком же, как в гостинице.

— Матиас гонит сивуху, а я собираю в степи полынь, чабрец и делаю отличную настойку, вкусную, целебную. Вот попробуйте, мсье Адриан! Заснете как дитя. И для желудка полезно.

Тошнотворный желто-зеленый цвет поначалу не понравился Адриану, но он все-таки сделал глоточек и блаженно зажмурился: настойка оказалась душистой, терпкой и, в отличие от гостиничного пойла, не обжигала горло.

Вскоре на кухне появилась Мария в отутюженном белоснежном платье с глубоким вырезом. Полуобнаженная полная грудь девушки выглядела очень соблазнительно. Адриан отметил, что на этот раз она тщательно причесалась, собрала волосы в пучок. Теперь была видна ее гибкая шея, черты лица казались тоньше и улыбка — не такой дерзкой.

Старушка, как прежде, уступила дочери стул, а сама пересела на скамью у стены. Мария налила себе чаю, плеснула в чашку чуть-чуть настойки.

— Ну как, хорошо поужинали?

— Вполне, — ответил он односложно.

Распространяться не хотелось. Внезапно ему пришло в голову: а что ели на ужин Мила и Мария, пока он уплетал баранину? Адриан смутился. Однако хозяйки, похоже, ничуть не обиделись и не удивились, что их гость предпочел питаться в гостинице.

— Ноги болят? Вы их здорово стерли, — сочувственно продолжала Мария.

— Ничего, уже получше. Пока хожу, не замечаю мозолей. Привык. Переобуваться только больно.

— Вам бы босиком походить недельку. И ботинки бы не жали, и мозоли подсохли бы на солнышке. Хотите, я вам их завтра проколю? Сразу станет легче.

— Спасибо, Мария. Вы очень любезны. Но, возможно, завтра меня уже здесь не будет.

Окончание. Начало см. "ИЛ", 2008, № 11.

— Не стоит благодарности. Я охотно вам помогу. Мне не трудно проколоть мозоли, я бы вам и спинку потерла, если б вы разрешили, — она лукаво улыбнулась.

— Вы чересчур добры...

— Бросьте! Мне хочется хоть чем-то скрасить вашу жизнь. Ведь вам несладко. Здесь и поговорить не с кем, интересных людей нет. У нас такая глушь, скука, не знаешь, как время скоротать. А вы привыкли к большому городу, вам тяжелее нашего, — проговорила Мария на этот раз безо всякой насмешки.

Адриана удивил ее сочувственный тон.

— Вы ошибаетесь, тут вовсе не так уж плохо. Деревенская тишина мне на пользу.

Она печально вздохнула и сказала с трогательной доверчивостью:

— Да, у нас тихо. Тихо, как в могиле. Вам нравится тишина, потому что вы здесь ненадолго, проездом. Отдохнете и вернетесь в город. А если бы вас погребли здесь заживо, заточили на долгие годы, вы бы тишины боялись, она бы вас оглушала хуже всякого грома. Неслышным гулом одиночества.

Адриан промолчал, в глубине души он был с нею согласен. Ему хотелось спросить, отчего Мария не уехала вместе с братом, но он боялся обидеть старушку Милу. Ему все никак не удавалось свернуть папиросу — бумага не слушалась и табак рассыпался.

— Позвольте, я вам скручу, — Мария ласково коснулась его руки. — Вы смяли бумагу и весь табак растеряли. Ну же, Адриан, не упрямьтесь, вот увидите, у меня получится ловко. Лучше, чем у вас. Ведь я всю жизнь сама их скручиваю, а вы, городской, привыкли покупать готовые, в ярких пачках.

Адриан послушно отдал ей стопку папиросной бумаги и кисет и стал завороженно следить за ее проворными руками. Мария свертывала папиросы одну за другой, быстро, аккуратно, не просыпая ни крошки табаку. Он чувствовал, что девушка, вот такая, сосредоточенная и серьезная, нравится ему все больше. Выложив дюжину идеально ровных папирос рядком на столе, она торжествующе улыбнулась, и он не смог сдержать ответной улыбки.

— Хотите, еще скручу?

— Спасибо, этого хватит. На вечер, во всяком случае, — Адриан любезно протянул папиросу даме.

Мария прикурила от свечи, разок затянулась и, подмигнув, вернула папиросу ему, затем налила гостю еще чаю и душистой настойки. Старушка между тем задремала, прикорнув у стены.

— Расскажите, как живется у вас в городе, — попросила девушка.

— Не знаю, что и сказать. Обычный большой город, толпы людей, суета, шум. Улицы запружены машинами. Все пешеходы спешат: кто — на работу, кто — за покупками, бессмысленными и, по правде говоря, никому не нужными. Ничего интересного.

Мария мечтательно смотрела в пустоту. Адриан задумался о том, какие соблазнительные картины блестящей городской жизни представляются девушке, что ни разу не была в городе и видела его разве что на блеклых фотографиях в газетах. А каким видится большой город ему самому? Что он знает кроме собственного квартала и работы? Даже во

время одиноких прогулок он не смотрел по сторонам, занятый своими мыслями. Зачем же он туда рвется?

– Все городские такие нарядные, модные. А я страшная и одета как пугало, верно?

– Ну зачем же так? Что за глупости! Никакая вы не страшная. Признаюсь, при первом знакомстве вы показались мне бестактной и невоспитанной. Но теперь я понимаю, что вы нарочно меня дразнили. Вы просто очаровательны.

– Правда? – спросила она недоверчиво, но в глазах у нее уже искрилось лукавство.

– Честное слово. Вы ничуть не хуже городских красавиц.

– Адриан, а у вас было много женщин? Нет, не отвечайте. Не хочу ничего о них знать. Не то сойду с ума от ревности, – она закусила губу. – Ну их, ваших женщин. Лучше расскажите о путешествиях, вы ведь много где побывали, каких только чудес не видели!

– О путешествиях... На самом деле я нигде не был, выезжал из города только раз в год, во время отпуска. Вы вообразили, что я какой-то необычный, удивительный человек, искатель приключений, а в действительности я такой, как все. Целый день работаю на заводе, так же как здешние трудятся в поле. Деревенские живут спокойнее, никуда не торопятся, все делают с толком и расстановкой, а городские вечно суетятся и опаздывают, вот и вся разница.

– Не хотите рассказывать, и не надо. Только я ни за что не поверю, будто ваша жизнь ничем не отличалась от нашей. Вы все-таки на поезде ехали, на скором поезде, а нам отсюда вообще не выбраться.

– Зря вы мне не верите, Мария. Вот я стал отвечать на ваши вопросы и вдруг понял, что вы напрасно считаете мою жизнь лучше вашей, ничего особенного в ней нет. Я жил в городе так же однообразно, как жил бы здесь. Но чтобы осознать это, мне понадобилось сойти с поезда.

– Не может этого быть. Вы пришли из совершенно другого, яркого, удивительного мира, и сравнить нельзя с нашим захолустьем. Вы скоро вернетесь в город, а про нас и не вспомните.

– Нет, я никогда не забуду, как вы были приветливы и как ваша мама заботилась обо мне.

– Правда? – у девушки на глазах показались слезы. – И не станете там у себя смеяться надо мной? Мол, встретил одну глупую деревенщину, коровью лепешку, невоспитанную и бестактную...

– Успокойтесь, я не сержусь на ваши шалости. Коровья лепешка! Разве можно так говорить? Вы красавица!

– Простите меня, я вовсе не так испорчена и груба. Просто дом у нас жалкий, нищий, и вдруг поселяетесь вы, молодой, совсем непохожий на здешних. Понятно, мне стало неловко. И захотелось вам отомстить. Посмеяться над вами. Теперь-то я понимаю, что сама была смешной. Мне очень стыдно. Представляю, что вы подумали обо мне! Я злилась, что не ровня вам, но теперь злость прошла.

– Сейчас вы совсем другая. Вот такой я вас и запомню, Мария. Обещаю.

– Подождите минутку, – она кивнула в сторону уснувшей матери. – Миле вредно спать сидя, у нее ревматизм. Я уложу ее и вернусь.

Старушка открыла глаза, ласково кивнула Адриану и покорно последовала за дочерью. В тишине было отчетливо слышно, как она сходила на горшок и затем улеглась на скрипучую кровать.

Вернулась Мария. Она с трудом сдерживала смех.

– Все, уснула.

– Уже поздно, мне тоже пора, – отозвался Адриан.

Оставшись наедине с девушкой, он испытывал волнение и неловкость.

– Не уходите, Адриан, побудьте еще со мной. Зачем ложиться вместе с солнцем, если нет нужды вставать до свету? Не бойтесь, я буду вести себя хорошо.

– Завтра утром за мной пришлют машину.

– Ну и что? Весь поселок сбежится поглазеть на автомобиль, такого невероятного события никто не пропустит. Вас разбудят. И не придется скучать в обществе Милы. Без вас не уедут, это уж точно. Вот только... Вы уверены, что за вами приедут? Вас точно увезут завтра? Это правда?

– Правда! Что за вопрос? За мной приедут завтра, самое позднее послезавтра.

– Не знаю... А вдруг вы останетесь здесь навсегда?

– Не говорите глупостей! Все в поселке повторяют эту чушь. Зачем мне тут оставаться, если моя семья и моя работа в городе? Уж вы-то, Мария, должны бы меня понять, вам ведь тоже не терпится сбежать отсюда.

– Кто знает, вот Теодор же остался.

– Я не Теодор, поймите же наконец! Кстати, расскажите, что он за человек. Любопытно бы узнать, что с ним случилось.

– Да не знаю я ничего. Он тоже однажды сошел с поезда, так же как вы. Тоже говорил, что не останется здесь, что за ним приедут. Поначалу он жил у нас, потому что мать Матиаса еще не померла. А как только она преставилась, Теодор переселился в гостиницу. Говорят, он пытался уйти пешком, но вскоре вернулся. Подробностей я не знаю.

– Но ведь вы жили под одной крышей. Какой он?

– Неразговорчивый. Черствый. Ему ни до кого нет дела. И ни до чего, кроме проклятых шахмат. Никто не знает, кто он и откуда. И про вас никто ничего не знает. Говорят, что вас прислали за Теодором или за солдатом-дезертиром. Болтают что ни попадя, чтобы хоть как-то объяснить ваше появление. Так вы точно уедете?

– Точно. Я здесь действительно оказался случайно и уеду при первой возможности. А вы? Почему вы остались? Почему не уехали вместе с вашим братом Жозефом?

– С Жозефом... Жозеф не уехал, он подло сбежал, забулдыга. Исчез в один прекрасный день, и все тут. Может быть, его косточки моет дождик где-нибудь в степи. Может быть, он недалеко ушел. Никто не знает, куда он делся.

– Сбежал? Из-за чего?

– Да мало ли что там у него вышло по пьяни! Выпивки в долг не дали или морду пообещали начистить. Вечная история! Мне тогда и четырнадцати не было, кто станет малявке растолковывать! Жозеф был грязной зверюгой, поделом ему, больше мне нечего сказать.

– Ваша мама ждет его. Надеется, что он вернется.

— Мила повредилась в уме на старости лет. Помешалась на своем любимом Жозефе. Меня она ненавидит, хоть прямо не говорит. Вот и колет мне им глаза.

— Как это?

— Вместо того чтоб ругать меня, расписывает, какой у нее чудный, замечательный сынок. Послушать ее, так лучше Жозефа не сыщешь. Жалуется, что в доме нет мужчины, мол, я зря хлеб ем. Мила чокнутая. Молится на Жозефа, как на младенца Иисуса. Потому и с вами носится, что вы ей напоминаете сына. Хочет удержать вас здесь навсегда. Время-то идет, а о мерзавце Жозефе ни слуху ни духу.

— Хочет удержать меня? — Адриан искренне удивился.

— Ну да, удержать, уговорить остаться. Мила думает, что, если вы у нас поселитесь, я тоже никуда не убегу. Она уговаривала меня вас соблазнить, сказала: "Не строй из себя святую, замани его ночью к себе в постель, тогда он не захочет от нас уезжать".

— Ваша мама так и сказала? Она считает, что из-за этого я останусь?

Адриан не знал, шутит Мария или нет: та пристально смотрела ему в глаза и улыбалась, но взгляд ее оставался серьезным.

— Именно так она и считает. Ей не приходит в голову, что я и сама не прочь к вам прийти, что я приду к вам охотно, с удовольствием и без ее уговоров. Потому что вы мне нравитесь. И расчет ее глупый. А вдруг вы, наоборот, увезете меня с собой из грязного захолустья, если я вам понравлюсь?

— Странная у вас мама, — только и мог сказать Адриан в смущении.

— Сегодня, увидев вас в штанах и куртке Жозефа, она была вне себя от счастья и целый день напевала. Велела мне хорошенько вымыться, принарядиться и ждать вас. "Будь с ним поласковей". Так я и сделала. И еще, представляете, она просила, чтобы я раздобыла вам в поселке бритву. Побрившись, вы станете похожи на Жозефа. Он не носил бороды, а вы за это время порядком обросли, — с этими словами она нежно провела по щеке Адриана. — Старуха отыскала даже старую бритву Жозефа, ржавую и страшную, словом, совсем извела меня просьбами и капризами.

— А вы раздобыли мне бритву? — спросил он, поглаживая руку девушки.

— Вот еще! Стану я ей потакать, — сказала она с видом оскорбленного достоинства. — Мне нравится ваша колючая щетина. По мне, так пусть бы у вас отросла длинная черная борода, такая же густая и курчавая, как ваши волосы.

— Лишь бы досадить Миле?

— Ну да. И не только. Будете щекотать меня ей, если не уедете завтра, как обещаете. Скажите, Адриан, вы возьмете меня с собой? — спросила она страстным шепотом. — Наш поселок — ад для живого человека. Вам ведь ничего не стоит увезти меня на машине. Я буду тихой, незаметной, послушной девочкой. Мы уедем быстро-быстро. Все равно куда, лишь бы подальше отсюда. Вы такой молодой, красивый...

Ее рука заскользила по его груди, губы тянулись к его губам.

— Ну же, возьмите меня, накажите за все шалости, послушайте, как я буду стонать. Я такая податливая, покорная, я, как ребенок, на все согласна. Идите ко мне...

Адриан последовал за Марией в ее спальню, ни слова не говоря. Юная женщина жарко прильнула к нему, ее мягкие, полные груди пахли чабрецом, как настойка старой Милы. Она впилась в его губы долгим сладостным поцелуем. Он расстегнул и стащил с нее платье. Еще ни разу в жизни ему не приходилось ласкать такую ненасытную и неистовую любовницу, вдыхать такой резкий и терпкий женский запах. Он слился с ней в животном объятье, мял пышное влажное тело в жестокой любовной схватке. Она царапала его и кричала. Пьяный от удовольствия, расцвеченного всполохами ярости, будто они в самом деле дрались, Адриан чувствовал, что его тело больше ему не принадлежит, что оно сплавилось с телом Марии в единое целое. Она то приникала к нему, то пыталась выскользнуть, дразня его, возбуждая, и он брал ее силой, грубо и резко.

Он обладал ею снова и снова, безудержно, жадно. Во время недолгих передышек они судорожно гладили друг друга, ощупывали, осматривали при неверном свете дрожащей свечи, стремясь поскорее соединиться вновь. Безумная дьявольская страсть утихла лишь под утро. Обессиленные, опустошенные, они лежали, крепко обнявшись, на узкой кровати, словно потерпевшие кораблекрушение, что жмутся друг к другу на доске в страхе утонуть.

— Скажи, Адриан... Ты меня не обманешь, ты меня увезешь отсюда?

— Конечно увезу, не бойся. — Сейчас его переполняла жалость к ней.

— Нужно уехать в город, пока не поздно, там я сама смогу о себе позаботиться. Или поживем вместе, пока тебе не надоест. Со мной не будет никаких хлопот, я обыкновенная попутчица, ты меня подвезешь и высадишь, когда и где тебе заблагорассудится. Я что угодно сделаю, все исполню и буду тебе благодарна по гроб жизни.

— Мы уедем завтра, Мария. Только подготовь все заранее, чтобы в последнюю минуту не вышло скандала.

— Никто ни о чем и не догадается. Я спрячусь на краю поселка и тайком сяду к тебе в машину. Пока Мила сообразит, что я исчезла, мы будем уже далеко. Если хочешь, я сделаю вид, что с тобой незнакома, мало ли девушек голосует на дороге? Одежды никакой не возьму, в городе такую дрянь не наденешь.

— Отлично, договорились. Но смотри не опоздай. Я не смогу тебя долго ждать. И потом, я ведь женат.

— Ни за что не опоздаю и притворюсь, как обещала. Ты не пожалеешь, что вызволил меня из этой проклятущей тюрьмы.

Адриан поцеловал ее напоследок с особенной нежностью и ушел к себе. На рассвете его стали одолевать противоречивые чувства. С одной стороны, радость бытия, довольство плоти, ощущение безграничной силы и уверенности в себе, с другой — острая жалость к Марии, печаль из-за того, что прошлая ночь никогда больше не повторится, и странный ужас перед надвигающимся будущим. Впервые завтрашний автомобиль стал для него непреложной реальностью, возвращением к прежней жизни, но почему-то сулил теперь не долгожданное освобождение, а исполнение сурового приговора. Воспоминание о жене и ее вялых ласках пробудило в нем угрызения совести, от непривычного недавнего счастья не осталось и следа. Промелькнула мысль, что Мария могла бы стать в городе его любовницей, но всерьез обдумывать такую возможность он не решился. Однако возник вопрос: сможет ли он после этой ночи вернуться в объятия

супруги? И вот, сам того не желая, Адриан внезапно осознал с предельной ясностью, как дважды два, что ненавидит жену и все, что с ней связано. Впрочем, это открытие ничуть его не удивило, он не стал на нем останавливаться и не сделал никаких конкретных выводов. Гораздо приятнее было воображать забавы и небольшое аппетитное тело Марии, на удивление чувственной, бесстыдной и по-крестьянски простодушной. Лишь одна прескверная догадка, скорее даже дурное предчувствие, омрачала картину. Адриана смущала опытность юной женщины, ее искушенность в физической любви. Что, если она отдается с таким же пылом и мужлану Матиасу? Что, если она мастерски притворялась с единственной целью использовать его для побега? Но он решительно отмел все гнусные подозрения. Мария слишком проста, ей чужды хитросплетения лжи. Женское естество не может полностью открываться и трепетать, повинуясь холодному расчету. И едва ли Матиас способен внушить ей горячее желание. Последнее соображение окончательно успокоило Адриана, и он почувствовал прилив нежности к своей страстной любовнице.

Наконец он заснул, чрезвычайно довольный собой, с утешительной мыслью, что перед ним открывается мир неизведанных ощущений и новых возможностей.

* * *

Адриана разбудила Мила, громыхавшая кастрюлями на кухне. Солнце поднялось уже высоко. Он чувствовал приятную негу во всем теле, его сковывала сладострастная лень, обволакивали воспоминания о любовной игре с Марией. Жаль, что старуха дома, иначе он бы снова забрался в постель к ее дочери и натешился вволю. Досадно, что машина тестя скоро приедет за ним, что занятное приключение так глупо оборвется. Теперь он уже не сомневался, что в городе Мария станет его любовницей. Он никому ее не отдаст, к тому же там она растеряется, окажется без гроша и ей понадобится его помощь и защита.

Мария пела во дворе. Адриан представил себе, как она моется, сидя в тазу на корточках. "Пусть поторопится, — думал он, вставая. — Если я стану ее ждать, здешние заподозрят неладное, да и моим это не понравится".

Оказалось, что та давным-давно вымылась, оделась и вполне готова к отъезду. Сейчас она снимала белье с веревки. Мария сказала, что уже ходила на площадь, но автомобиля еще не было. Несмотря на разочарование, она была по-прежнему ласкова с Адрианом, называла его "милый", охотно дала себя поцеловать и пощупать, просила только не шуметь и не выдать каким-нибудь неосторожным словом их план старухе.

— Она знает, что я тебя соблазнила, и очень довольна, — Мария хитро подмигнула. — Теперь твой черед морочить ей голову. Не возражай, если чокнутая станет называть тебя Жозефом. Пока не пришел твой хваленый автомобиль, нам лучше быть тише воды ниже травы. Не стоит понапрасну ее злить. Себе дороже.

Адриан не спеша умылся, ему не очень-то хотелось завтракать с глазу на глаз с Милой. Кто знает, какие замечания по поводу прошедшей ночи станет отпускать безумная старуха! Никогда он еще не оказывался в таком дурацком положении, двусмысленном и смехотворном.

Вопреки его опасениям Мила ни словом не обмолвилась о том, что произошло, ничем не оскорбила и не обидела, напротив, улыбнулась с материнской нежностью и сразу усадила за стол. Он заметил, что на этот раз она постелила ему красивую вышитую салфетку, и ощутил дивный запах свежего, еще горячего хлеба.

— Хотите, сделаю вам яичницу, — предложила старушка, наливая гостю чай. — Наши курочки снеслись утром. Глядите, какие отличные, крупные яйца!

Он вежливо отказался и принялся за хлеб с маслом. Ему не терпелось самому побежать на площадь: а вдруг автомобиль уже там?

— У меня и кролики на диво хороши. Если вам, мсье Адриан, надоест баранина Матиаса, а у него ничего другого не готовят, вы только скажите. Я с удовольствием угощу вас рагу из кролика, вы пальчики оближете! Только предупредите меня с утра, договорились? Не стесняйтесь, будьте как дома, мы ведь вас и любим как родного.

Однако заботливость старухи не умилила его, а напугала, наполнила тягостным чувством вины и неприятным, удушливым ощущением несвободы. Мила вроде бы искренне желала ему добра, но в то же время пыталась поймать его, запереть в клетку, подбросив в качестве приманки теплый кров, обильное угощение и даже аппетитные прелести собственной дочки. Он поспешил прочь из ее дома в твердой уверенности, что нужно во что бы то ни стало улизнуть из поселка, пока нехитрая старухина западня не захлопнулась.

Оказалось, что площадь пуста и никакого автомобиля нет и в помине. Адриан присел на край колодца в недоумении и досаде. Почему помощи приходится ждать так долго, неужели жена столь безответственна и беспечна, куда смотрит тесть? Он не знал, что и думать. Может быть, снова пойти на станцию? При одной мысли о долгом пути заныли стертые ноги. Но и сидеть одному посреди площади, будто несчастный покинутый малютка, было глупо. Адриан решил отправиться на разведку, обследовать противоположный край поселка, найти, наконец, ту пресловутую проселочную дорогу и поглядеть, что она собой представляет. Ведь спасение придет к нему именно оттуда.

Он шел безлюдными улочками. Навстречу ему попался только дурачок Панкрас, бродивший без цели среди развалин. Тот явно боялся чужих и при виде Адриана бросился бежать. Кругом было все то же: жалкие заброшенные лачуги с обвалившимися стенами и худыми крышами, почерневшие сараи, заросшие сорняками загоны для овец — грязь, мусор, запустение. И вот за последним домом перед ним открылась так называемая дорога, вернее, едва различимая среди высокой травы тропинка — продолжение главной улицы. По всей видимости, по ней давным-давно не ходили. Ни степь, ни чахлый лесок вдалеке никого не манили. Жителям вполне хватало окрестных пастбищ и самого поселка. Адриан пошел по тропинке, и, хотя ноги немилосердно болели, возвращаться ему не хотелось. Уверенность, что эта стежка и есть знаменитая дорога во внешний мир, как ни странно, его успокоила. Теперь понятно, почему сегодня за ним не приехали. Они просто не смогли одолеть эти заросли. Им пришлось заказывать джип — единственную вездеходную машину.

"Наберись терпения, — сказал он себе, с удовольствием предвкушая еще одну ночь с Марией. — Конечно, девочка будет недовольна, но ведь

ей лучше моего известно, до какой степени зарос их проселок. Ясное дело, никакой нормальный автомобиль за один день сюда не доедет. Я ожидал невозможного. Так что и ей, красавице, придется потерпеть. Пусть любит меня горячей. Рано или поздно нас вызволят. А пока порезвимся всласть. Не так уж и плохо".

Тут он сообразил, что его поезд ушел ровно два дня назад. И принялся восстанавливать шаг за шагом все, что произошло с ним с тех пор, как он оказался на заброшенном полустанке.

"Ну я и выкинул фортель!" — вырвалось у него невольно. Он и досадовал на себя, и гордился собственной дерзостью. "Ну и вляпался, ну и погулял! — Забавно, что нынешнее положение одновременно бесило его и восхищало. — А ведь не сойди я на этой паршивой станции, ничего бы и не было. Все бы шло своим чередом, я бы сейчас возвращался с работы".

"Вот дурак, сижу один в степи и размышляю о превратностях судьбы". С одной стороны, он жалел, что совершил глупость, с другой — радовался своей нелепой выходке: теперь она казалась ему неожиданной и смелой. "Все-таки я молодец, представляю, как рвет и мечет в бессильной ярости моя благоверная, как честит меня инфантильным кретином. Пусть побесится, ей полезно", — думал он, заглушая голос неспокойной совести: ему вдруг стало не по себе.

Вспомнились загадочные слова старого начальника станции: "На самом деле вы попросту сбежали, молодой человек". И хотя он даже не дал себе труда точно сформулировать условие своей внутренней задачи, неожиданно нашлось ее решение. Развод — единственное средство от постоянных ссор и неурядиц. Истина открылась ему внезапно ярким солнечным днем в чистом поле. Как это он раньше не додумался! Впрочем, он не сдался без боя, воспротивился всеми силами несвоевременному и неосуществимому решению. "Подумай о сыне, о тесте, о возможности работать инженером-консультантом на заводе, в конце концов! Нельзя вот так запросто все разрушить, ни с того ни с сего уйти. Сейчас ты расстроен, нервничаешь, не знаешь, чем это кончится, к тому же вчера хватил лишнего и всю ночь с девкой путался. Брак — дело серьезное. Даже если супруги не ладят — это не самое главное. Конечно, безумная страсть не длится вечно, и медовый месяц давно прошел, но сколько осталось взаимных обязательств, общих привычек, повседневных мелочей! И перед людьми совестно", — уговаривал он себя, спасовав перед открывшейся перспективой круто изменить собственную жизнь.

И надо сказать, ему удалось с собой сладить, причем без особого труда. Свободолюбие в нем еще не укоренилось. "Ты человек миролюбивый, законопослушный. Резкие взбалмошные поступки тебе не свойственны. Одним махом всего не изменишь. Опомнись. Разводиться глупо и даже неприлично". Но голова у него кружилась от свежего воздуха, синего неба, яркого солнца. Бескрайний простор манил, и в глубине души он досадовал, что никогда не отважится пройти пешком эту степь. И что его пребывание в заброшенном поселке, раз уж он такой здравомыслящий, не захватывающее приключение, а постыдная оплошность, чудовищная ошибка. Из-за нее сослуживцы станут над ним потешаться, а домашние изводить нудными упреками.

По странной ассоциации ему вспомнились козни старухи Милы, старавшейся удержать его в поселке навсегда любой ценой. Он невольно

но улыбнулся при мысли, что шитые белыми нитками хитрости простой бабы, в сущности, мало чем отличаются от стратегических планов владельца завода, что заманил его себе в зятья. Конечно, его жена — дама благовоспитанная, обеспеченная, не безграмотная коровница, и в качестве приданого ему досталось престижное место инженера-консультанта, а не разнорабочего в какой-то дыре. Разница существенная. Однако, если представить обе ситуации в общем виде, заменить подробности простым соотношением величин, обозначив их с помощью "x", "y", "z", они сведутся к одному уравнению.

Снова у него в голове воцарился сумбур, и он как всегда предпочел отложить окончательное решение. "Там будет видно, подождем, не стоит торопиться". На данный момент не так уж это важно, впереди ночь с Марией, и думать о ней гораздо приятней.

* * *

Завсегдатаи гостиничного бара встретили его прежними вопросами и насмешками по поводу так и не подоспевшего автомобиля-избавителя. На этот раз Адриан не почувствовал ни раздражения, ни досады. Он не остался в долгу у шутников и принялся подкалывать Матиаса и сержанта, расписывая в красках плачевное состояние здешней дороги.

— Согласитесь, господа хорошие, — говорил он, налив каждому по рюмке, — что это безобразие дорогой не назовешь. От проселка и следа не осталось. Он так зарос, что я с трудом его обнаружил. Старик Кирилл и то лучше следит за своими рельсами-шпалами. Того и гляди ваш торговец заблудится, не отыщет поселок за лопухами. И вы останетесь без табака, любезный Матиас.

— Ошибаетесь, мсье Адриан, — ответил с добродушной улыбкой хозяин гостиницы. — Наша дорога всегда была такой, испокон веков. А нам другой и не надо, мы этой вполне довольны. И хорошо, что она у нас незаметная. Никто чужой не нагрянет. Народ мы неприхотливый, тихий, лишнего нам не требуется.

— Значит, окрестностями любовались, — подхватил сержант. — У нас красиво, правда? Я и не сомневался, что вам тут понравится. Пообживетесь, привыкнете и думать забудете про всякие автомобили, на что они вам сдались? Одинокому человеку, что любит тишину и покой, лучшего места не найти. Я вас прекрасно понимаю, оставайтесь. После городской суматохи поначалу кажется скучновато, но это пройдет. Вот увидите.

Адриан понимал, что сержант его дразнит, но ответил как ни в чем не бывало:

— Вы совершенно правы. В городе я буду скучать по вашему спокойному, гостеприимному поселку. Только в глуши и отдохнешь как следует. И кормят здесь превосходно.

— Мы люди простые, — тоном деревенщины отозвался Матиас. — Любим пожрать, поспать и перепихнуться. Совсем как наши овцы. Остальное нас не колышет. В городе, если удастся отсюда выбраться, вам будет что вспомнить, — добавил он с плутоватой улыбкой. — У старой Милы вам тепло и баба под боком. А у меня всегда жратвы навалом.

Упоминание о бабе застало Адриана врасплох, неприятно его поразило, хоть он не подал виду. "Откуда они узнали о наших отношениях с

Марией? Кто им рассказал?" Почему Матиас так грубо и беззастенчиво намекнул на доступность молодой женщины? Он что, ревнует или нарочно сказал гадость, чтобы позлить Адриана? Хотя вроде бы они с сержантом настроены вполне миролюбиво. Так неужели здесь и вправду считают, что нет ничего естественнее, чем переспать с Марией? Не старушка же Мила подразумевается, в конце концов? Однако потребовать объяснений он не решился.

— Нет, я нисколько не удивлюсь, если вы поселитесь у нас, — продолжал сержант. — Еще бы, отведав таких сластей! Вон старина Теодор живет себе и не жалуется.

Адриану стало совсем не по себе, но тут, на его счастье, зашел общий разговор о будущем урожае, овцах и погоде.

— В этом году лето на редкость жаркое, а то обычно дожди, дожди, у стариков от сырости кости ноют, ревматизм, — жаловался сержант. — И растет все плохо, картошка гниет в земле. В дождь к нам действительно не проедешь, не пройдешь, — грязь, воды по колено. А там задует северный ветер, по ночам стужа — страсть! До кишок пробирает, и с женой не согреешься. Вы-то хорошо устроились, мсье Адриан.

Поужинали они на славу, не хуже, чем накануне, но задерживаться гость не стал, сослался на усталость после длительной прогулки и поскорее ушел спать. Жаль, конечно, что не удалось сыграть в шахматы с Теодором: он расспросил бы его о проселочной дороге и о причинах возвращения в поселок. Однако сейчас его гораздо больше волновали сплетни об их с Марией близости, и хотелось поскорее узнать, откуда они пошли и что означает скабрезный тон Матиаса, с самого начала поставивший его в тупик.

* * *

Как только старушка Мила уснула, Адриан приступил к Марии с расспросами. Ее нисколько не удивило, что в поселке уже все знают. Она сказала, что это, должно быть, мать на радостях разболтала соседкам. Или дурачок Панкрас подглядел — он всегда тут как тут и доносит сержанту Отто обо всем, что творится в каждом доме.

— У нас все на виду, ничего не скроешь. Людей мало, заняться нечем, скучно, вот и шпионят друг за другом. Разве я пропущу такого красавца, да еще городского? — добавила она с лукавой усмешкой. — И не я одна по тебе сохну. Даже старухи млеют и поражают стариков своей резвостью в постели с тех пор, как ты здесь. Ты ведь заметил уже, что молодежи в поселке нет. И новые люди появляются крайне редко. Тут все завидуют нашим забавам и пускают слюни. А тебе что, жалко?

Адриан ответил не сразу.

— Мне не жалко. Но мужчины тебя ревнуют. Наверное, один из них — твой любовник, верно?

— Любовник? Не смеши меня, Адриан. Какая любовь! Простые люди трахаются, любовь тут ни при чем. А жен своих ревнуют только потому, что те, загуляв, бросают и хозяйство и скотину. Если никаких упущений нет, пусть спят с кем угодно, на здоровье. И от мужчин верности не дождешься. К тебе они тем более не ревнуют, ты чужой. Завтра тебя не будет, и все вернется на круги своя, Марии придется попотеть, чтобы не помереть с голоду.

Адриана ошеломила и рассердила подобная откровенность.

– Попотеть в постели?

– Не нравится? Да, в постели, иначе не выживешь. На весь поселок я единственная девка. Давно, уж привыкла. Что поделать? Вот потому и прошу, чтоб ты меня увез. Ты ведь обещал, не забывай! Тебе ничего не стоит мне помочь, я тебя отблагодарю, вот увидишь. В городе за это можно денег выручить, одеться, устроиться получше. Там я буду сама себе хозяйка, а здесь ложись под каждого.

– Вряд ли они тебя отпустят подобру-поздорову.

– По-хорошему не отпустят. Но мы ж с тобой договорились, я уеду тайком. Или ты передумал? Вчера вечером ты не сомневался, что увезешь меня, а сегодня... Тебе нравилось, что я веду себя как шлюха, а я и вправду шлюха, и что? Тебе это не по вкусу? Так ты не обманешь меня, Адриан?

– Не обману, Мария. Только нужно быть начеку.

– Знаю. Они на все способны. И все время следят за тобой, не слишком тебе доверяют. Но мы их перехитрим, быстро улизнем, они и не заметят. Лишь бы только твой автомобиль пришел. Завтра, послезавтра, в общем – поскорей бы... Иначе... Иначе мне придется работать по-прежнему, Адриан. Мои любовники, как ты их называешь, заждались. Я себе прохлаждаюсь с городским, воспитанным, непохожим на них, скотов, – им это не по нутру, поверь.

В эту ночь они любили друг друга не менее страстно, но гораздо нежнее и бережнее, чем прежде. Словно бы горевали о предстоящей разлуке. И заснули на рассвете, крепко обнявшись.

7

Но и на следующий день долгожданный автомобиль не потревожил мертвую тишину поселка. Площадь перед гостиницей была как всегда пуста, немногочисленные жители разбрелись по своим делам, унылая повседневность застыла гиблым болотом.

Адриан встал поздно, не спеша умылся и с аппетитом позавтракал. Старушка Мила смотрела на него с умилением. Потом вышел во двор, расселся на солнышке и подставил Марии свои стертые ступни со вздувшимися мозолями. Та проколола их и бережно перевязала. Забинтованные ноги не лезли в городские ботинки, и поневоле пришлось надеть грубые солдатские башмаки, уцелевшие от скрывавшегося у Милы дезертира. В них было гораздо удобнее, они больше подходили к заношенным штанам и куртке Жозефа, к тому же длительные прогулки по каменистым неровным улицам поселка привели прежние в плачевное состояние. Однако Адриану они не нравились, ему казалось, что, переобувшись, он окончательно превратился в деревенского жителя, навсегда порвал с городом. От инженера-консультанта, ехавшего в скором поезде, не осталось и следа. Небритый, неопрятный, скверно одетый, он выглядел теперь как бродяга. И хотя при данных обстоятельствах его внешний вид не имел значения, он болезненно переживал потерю респектабельности, эта потеря усугубила безвыходность его положения. Раз он больше не похож на горожанина-инженера, следящего за собой

и помнящего о приличиях, зачем вызволять его отсюда? Он окончательно опустился, смирился — это дурной знак. Третий день он ждет помощи из внешнего мира, но там, похоже, о нем забыли. Никому нет дела, жив он или подох в этом проклятом захолустье.

Ласково светило солнышко, заботливая старушка принесла Адриану чашку чаю, Мария стирала, грациозно склонившись над тазом, но страдальцу, лениво курившему во дворе, все было немило. Он мрачно спрашивал себя, с трудом подавляя раздражение, почему жена и тесть так равнодушны к его судьбе. Чтоб им лопнуть! Нельзя забыть человека на паршивом полустанке, как чемодан в камере хранения! Даже если они решили, что я погиб, отчего не расследуют обстоятельства моей смерти? О пропавших без вести сообщают в полицию, или в этом мире совсем нет порядка? Может быть, они обшаривают пока другие вокзалы и города? Возможно, жена и вправду не заметила, что я сошел с поезда. Угораздило же меня так неудачно пошутить! Им ведь и в голову не придет искать меня в глухой степи. А следовало бы прочесать всю страну, ленивые оболтусы, пропал не кто-нибудь, а зять владельца завода, прекрасный специалист!

Тут его на мгновение посетила неприятнейшая мыслишка. Он постарался побыстрее отогнать ее. Бред, абсурд! Чего только в голову не придет со злости! Нет, жена не могла так поступить. Во-первых, слишком глупа и помешана на приличиях: что скажут люди. Во-вторых, трусиха. Не решится на подобную подлость. С другой стороны, почему бы и нет, раз он сам хладнокровно обдумывал необходимость развода? Что, если и она сыта по горло их неудачным союзом? Правда, есть некоторая разница между законным расторжением брака и таинственным исчезновением одного из супругов. Но зачем скрывать ото всех странную выходку мужа, если не знаешь заранее, что из-за нее он долгое время окажется отрезанным от внешнего мира, как потерпевший кораблекрушение на необитаемом острове?

И все-таки полностью исключить возможность ее предательства он не мог. В глубине души Адриан считал жену опасной: инертной и одновременно агрессивной. Она идет к цели незаметно. Она ничего не предпримет, будет ждать, не пошевелив и пальцем, пока обстоятельства не сложатся в ее пользу, наслаждаясь своим проклятым нравственным превосходством. Его мысли кружились на одном месте: "Какую выгоду она извлечет из моей безалаберности? Поезд ушел, я опоздал всего на минуту, за что казнить? Но дни идут, меня нет, и окружающие решат, будто я сбежал, бросил безутешную жену и маленького ребенка, надругался над святостью домашнего очага. Неужели все так просто? И тесть ей поверил? Что он думает обо мне, если она действительно умолчала о чертовом полустанке, куда нас занесло по злополучной случайности?"

Он находился в прескверном настроении и досадовал на себя за две ночи, проведенные с пылкой юной Марией. В довершение всех бед не хватало только чувства вины. Упрекая себя, он как бы оправдывал дражайшую супругу, что, по его предположениям, строила козни, расчетливо и цинично используя промах мужа. Хотя, вполне возможно, Адриан винил ее зря. Да и сам он не так уж грешен. Жертве слепого провидения нельзя пренебрегать и самыми ничтожными его дарами, иначе ослабеешь, сникнешь и не выдержишь суровых неведомых испытаний, ожидающих тебя в будущем. Да, он думал о разводе, и жизнь показала, что он прав. Его коварно бросили в безводной степи, он бы так с женой не обошелся. Хотел раз-

вестись честь по чести, с адвокатами, разделом имущества, оговорив права и обязанности сторон. В конце концов, с Марией его свела судьба. Несчастная сама повесилась ему на шею. И он, узнав, каково ей приходится, естественно, не оставил ее в беде. Другого выхода не было. Он по своей воле сошел на заброшенном полустанке, но дальнейшее от него не зависело. У провидения своя логика, причем железная, он не мог ей противостоять. И мысль о разводе внушила ему вовсе не Мария. Просто впервые с тех пор, как стал взрослым, он очутился в непривычной обстановке и вдруг осознал, что прошлая его жизнь никуда не годилась, в особенности супружеская. Странное приключение подтолкнуло его к радикальному пересмотру всего и вся. Мария — лишь одно из действующих лиц непонятного спектакля. Здесь, в степи, ему открылось таинственное бытие природы, он узнал мучительный страх перед неизвестностью, познакомился с простыми людьми, подозрительными и неразвитыми, сделал несколько шагов по заросшей дороге, ведущей в никуда или, наоборот, в любую сторону света — это уж как посмотреть.

"Если она не сказала отцу о полустанке, значит, она свинья. Вернее, паучиха, что плетет сеть интриг и незаметно, мало-помалу высасывает всю кровь. Черт с ней!"

Весь день его мучили мрачные раздумья, но к вечеру он успокоился и понемногу смирился с необходимостью подождать еще какое-то время. Рано отчаиваться, рано винить домашних. К счастью, бумажник набит, в дорогу ведь всегда берешь деньги, а задержка в глухой степи — не трагедия, а сплошной анекдот, так что не стоит унывать. Поживем в поселке еще недельку, там видно будет. Начало августа, дни дивные, холода наступят не скоро, успеем придумать, как отсюда выбраться. "Ты небрит, одет в лохмотья, напуган, вот и мерещится невесть что. Как увидишь завтра автомобиль на площади, тебе стыдно станет, что нервничал по пустякам. И Марию захватишь с собой без проблем, никто вас не остановит".

* * *

Вечером в гостинице Адриана встретили как родного.

— Идите скорей, я налью вам, — радушно позвал Матиас. — Не устали от безделья, мсье Адриан? А то мы вас живо возьмем в оборот, у нас работы хватит на всех. Была бы охота.

— Спасибо, вы очень любезны. Но я все жду, когда же за мной приедут. По правде сказать, они не торопятся.

— А вы по-прежнему уверены, что за вами пришлют машину? Возможно, они знать не знают, что вы у нас гостите, — предположил сержант.

— Где же мне еще гостить, как не у вас?

Сержант задумался.

— Ну мало ли где. Иногда человек уезжает в спешке и забывает сообщить близким, куда отправился. Как его разыщешь? Не вы первый, не вы последний.

— Все шутите, сержант, а мне не до смеху. Я и вправду жду не дождусь, когда же за мной приедут, и беспокоюсь о родных. Если в ближайшие дни от них не будет вестей, придется мне отправиться пешком по вашей степной дороге. Нет, я серьезно. Может быть, вы правы. Они

в самом деле не могут меня найти. На поиски уйдут месяцы, так я и работу потеряю. А что бы вы сделали на моем месте?

— Пешком по степи никуда не дойдете, — покачал головой Матиас. — А вы и верно в путь собрались! Вон какие прочные ботинки надели.

— Мне их дала мадам Мила. Дороги у вас плохие, городская обувь порвется. Эти давным-давно оставил у них какой-то солдат.

— Да, давно это было, — подхватил сержант. — Прокрался к нам в поселок дезертир, ворюга, головорез. Я бы сразу арестовал негодяя, но старуха с дочкой так ловко его прятали! До сих пор не пойму, на что он им сдался? Ведь запросто мог пришибить их, дур. Однако не пришиб, только обобрал. Да и дёру. С тех пор о нем ни слуху ни духу. Хорошо хоть его ботинки пригодились доброму человеку. Только ножки у вас нежные, городские, вы и в них далеко не уйдете. Вам бы лучше машины дождаться.

— Солдат же ушел из поселка. До шоссе добрался или в соседнем городишке осел, как думаете?

— Никуда он не добрался, в степи остался, — сердитой скороговоркой ответил сержант. — Тут кругом одна степь, без конца и края, ни речушки, ни ручейка — через день от жажды околеешь. Неужто вам хочется воронов кормить?

— Вы все равно вернетесь, — Матиас налил им еще водки. — Теодор же вернулся. Чуть не помер в степи, бедняга.

— Ах да, старина Теодор, — Адриан поискал шахматиста глазами среди присутствующих. — Я как раз собирался его расспросить о трудностях пути. Он один может дать мне хороший совет в случае, если я отважусь пересечь степь. Что-то сегодня его не видно.

— Нынче он не в духе. Иногда по целым дням не выходит из комнаты. Зол на кого или задачу сложную решает. Теодор у нас впечатлительный, не от мира сего. Уж он вам порасскажет! Раз и навсегда отобьет охоту делать глупости.

— Вы всерьез полагаете, что выберетесь отсюда? — прищурился сержант. — А вот я гляжу на вас и скажу: оставайтесь, мил-человек. От судьбы не уйдешь. Предчувствие у меня такое. Интуиция, знаете ли.

— Неужели? Что, это на лице у меня написано?

— Не то чтобы на лице, а так. Сложно сказать. По глазам читаю. Ведь вам у нас нравится. Попомните мое слово, скоро вы и дом в поселке прикупите. Людей здесь мало, любопытных нет. Никто не станет совать нос в ваши дела. Верно говорю, вы останетесь.

— Нет, не верно. И скоро вы в этом убедитесь, только я буду далеко.

— Впрочем, возможно, я ошибаюсь. Люди из крупных городов у нас не задерживались. Бывали здесь и прежде вас такие, взять хоть того же дезертира.

— Так, по-вашему, я тоже ворюга и головорез?

— Прощенья просим! Такого я не говорил. По-моему, вы сущий джентльмен, мсье Адриан. Вот мы все и удивляемся, с чего это вы к нам пожаловали. Согласитесь, не каждый сваливается как снег на голову без вещей и без документов. Наверное, вы какой-нибудь важный проверяющий, уполномоченный, только скрываете от нас. Говорите, что инженер, а на самом деле государственный чиновник. Все может быть. Давайте будем все вместе терпеливо ждать автомобиля. Вы уж не обижайтесь, толь-

ко ваша идея пересечь степь пешком — курам на смех. Мы-то отлично знаем нашу степь и нашу дорогу.

— Почему курам на смех?

— Потому что в степи вы быстренько загнетесь. Я же говорю, вы — джентльмен. Не деревенский и не солдат. Вы привыкли к городским удобствам, к машинам, к поездам, а тут степь. Или вы решили покончить с собой? Не стоит, поверьте мне. Как бы то ни было, знайте одно: мы не допустим, чтобы вы натворили глупостей. Себя не пожалеем, а вас убережем. Как блюститель закона я обязан в случае необходимости спасти вас от гибели даже вопреки вашему желанию.

— Но ведь торговец приезжает к вам по этой дороге.

— У него фургон, который тащат здоровенные мулы. Запас еды, воды и всего прочего. Торговец может себе позволить путешествовать по степи, только он не часто нас навещает. Жалкая выручка не стоит того. Мы иногда по полгода дожидаемся денег, что платят нам местные власти. Именно ему вменено в обязанность их привозить. Так что, если бы Матиас не прощал долгов, никто из нас не смог бы выпивать и закусывать каждый вечер.

— Один только торговец привозит вам деньги и все остальное?

— Ну да, его зовут Гаспар. Без него у нас не было бы ни денег, ни чая, ни табака, ни лекарств, ни лопат, ни грабель. И старик Кирилл не получал бы пенсии. Гаспар бывает здесь редко, но я не жалуюсь, заметьте! Как представитель власти я трезво оцениваю ситуацию: поселок расположен в стороне от основных трасс, обеспечить жителей необходимыми товарами нелегко. Но иногда и мне бывает тошно. С первых заморозков до весенней ростепели кури гадкий табак, что родит наша тощая земля. А если в дождь дорогу развезет, фургону не проехать, — тогда Гаспар грузит тюки на мулов, и за время пути все отсыревает, а после плесневеет. Или ждешь, ждешь, а его все нет. Мы, мсье Адриан, отлично знаем, как плохи наши дороги. Зато мы избавлены от многих зол. Одного по бездорожью мы вас не отпустим, и не надейтесь. Мы же не звери. Долг полицейского велит мне вас охранять.

— Поймите же, мне нужно идти!

— А я вам повторяю: наберитесь терпения. Вот приедет Гаспар, с ним и договоритесь. Он охотно подвезет вас. Не до города, так до ближайшего поселка.

— И когда он приедет?

— Никто не знает точно, — вступил в разговор Матиас. — Он заезжал недавно. Теперь будет к Рождеству или к весне. Зимой нам туго приходится. Осень у нас короткая, первый снег выпадает в начале октября. Ну-ну, выше нос, мсье Адриан! Вот, выпейте, вам и полегчает. Может, ваш автомобиль уже близко. Зачем отчаиваться раньше времени? Зачем ждать худшего?

— Можно ждать худшего, но отчаиваться ни к чему! — отчеканил сержант. — В худшем случае вы останетесь у нас до весны; что тут плохого? Никто не умрет, не будет ни пожара, ни наводнения. Если вы не преступник в бегах, а просто инженер-неудачник, мы рады вам, поверьте. Всегда накормим и напоим. Голодать не будете. На Рождество, ну, самое позднее весной, приедет Гаспар и отвезет вас в город, если, конечно, вам не захочется здесь остаться. И все наладится, вот увидите. Пересе-

литесь к нам насовсем — тоже хорошо. Гаспар станет и вам возить деньги, как Теодору. Дадите ему номер вашего счета в банке, напишете доверенность, я с удовольствием поставлю печать в подтверждение подлинности. Гаспар — человек честный и надежный. Спросите Теодора, он вам то же скажет. А что бывает редко, так это не его вина.

Адриан молча слушал его разглагольствования. И наконец взорвался:

— Бред какой-то! Кошмар! Я не могу торчать здесь до весны! Не могу! У меня в городе семья, работа!

— Увы, рад бы помочь, да не в силах, — Матиас развел руками и грустно покачал головой. — Хотя отлично вас понимаю. Будете пить и есть у меня в кредит, заплатите, когда все утрясется. Мы живем тут всю жизнь и, глядите, здоровы и веселы. Вы тоже освоитесь, не горюйте. А работе и семье придется дождаться вашего возвращения. Если близкие не смогут вас разыскать, представляете, как они будут тосковать по вас, ведь вы им дороги! Не все еще потеряно, мсье Адриан!

— Ваше возвращение станет для них настоящим праздником! — подхватил сержант. — Помните возвращение блудного сына в Библии? Налейте-ка ему еще, Матиас. Похоже, нашему другу плохо.

Адриан вдруг страшно побледнел и обеими руками вцепился в стойку, как будто теряя сознание. Глаза его дико блуждали.

— Выпейте скорей. — Матиас разлил по рюмкам водку. — Вам полегчает.

Адриан одним глотком осушил рюмку, водка обожгла горло, он пришел в себя. Дрожащими пальцами кое-как свернул папиросу, прикурил, глубоко затянулся. Голова слегка закружилась от крепкого табака, но сознание стало ясным. Потом гораздо уверенней свернул еще одну папиросу и прикурил от окурка первой, продлевая удовольствие. Он снова стал самим собой, табачный дым, верный кормчий, привел его к тихой пристани через море невзгод. Адриан курил с наслаждением, ни о чем не думая, не слыша, что говорят ему собеседники.

— Вы молоды, — между тем утешал его Матиас. — У вас вся жизнь впереди. Задержка в поселке — не беда. Отдохнете лучше, чем на теплых минеральных водах, наберетесь сил. Здешняя вода тоже целебная. Взгляните, сколько у нас долгожителей. Вон, старички играют в карты. Четверым из них лет по сто.

— Не преувеличивай, Матиас, — перебил сержант. — Не по сто, а по восемьдесят.

— Образно выражаясь, Отто, это я так, для красоты слога. Они ведь и вправду совсем старые, а здоровье у них отменное. Ну, положим, не у всех. Отец Илларион, тот, что трет глаза носовым платком, абсолютно слеп. И все равно играет в карты. Вслепую, простите за каламбур. Все они в здравом уме, в твердой памяти и даже небось щупают иногда своих старух. В поселке один только Панкрас умом не вышел. Таким уж уродился, бедолага. Зато сила у него богатырская и нрав добрый. Жаль только, спился совсем. Чистый воздух, вкусная еда, хорошая вода — что еще нужно человеку? Вы у нас поправитесь, мсье Адриан. А в городе — выхлопные газы, дышать нечем. За ваше здоровье!

Адриан выпил еще водки.

— Я бы с радостью. Но жизнь за один день не изменишь, я не могу все бросить и дожидаться весны в покое и праздности. Так не получится.

— Получится! Ко всему можно привыкнуть, — настаивал Матиас. — Вам ли этого не знать, вы человек женатый. На безрыбье и рак рыба. Стерпится — слюбится. Мужчине и маленьких радостей довольно: то пропустишь с друзьями по стаканчику, то какую-нибудь цыпочку прижмешь. Верно я говорю? Наслаждайтесь жизнью, не дергайтесь и ждите — иного выхода у вас нет.

— Да, теперь придется подождать. Нужно было раньше думать, а то соскочил с поезда очертя голову, а потом жалуется, — проговорил сержант с укоризной. — Мы тут ни при чем, на нас не кивайте. Тоже мне искатель приключений! И жена будет ждать — ничего другого не остается. А если не дождется — туда ей и дорога, не нужно вам такой жены. Вы еще дешево отделались. Для молодого человека перемены — сплошное удовольствие.

— Главное, не падайте духом и не дурите, — вторил ему Матиас. — А то выдумал: пешком через всю степь, ну и дела! Мария — славная девочка, она скрасит ваш досуг. С ней и ждать не скучно, — владелец гостиницы подмигнул. — Ну-ну, не краснейте! Мы тут все свои, дам нет, стесняться некого. Жена ваша будет счастлива, такой вы к ней вернетесь свежий и озорной. Вы у Марии многому научитесь.

— Мария — славная девушка, это верно, — промямлил Адриан, пытаясь скрыть смущение, в которое повергали его беспардонные намеки Матиаса. — А старушка Мила мне как мать, утешает и поддерживает в беде.

— Мы не случайно вас к ней направили, — с важностью проговорил сержант. — Наш поселок славится гостеприимством, и Мила верна традициям. К тому же ей так не хватает сына, нужен мужчина в доме. Не удивляйтесь, если она станет называть вас Жозефом, она все тоскует о пропавшем сыне. По мне, так Жозеф был редкой скотиной. С тех пор как он убрался отсюда, поселок вздохнул с облегчением. Все боятся, как бы он не вернулся и не начал по новой свою гульбу и бесчинства. Однако несчастная старушка его любила. Теодору вот не нравилось, что Мила принимает его за Жозефа, и его жизнь в том доме превратилась в сущий ад. Вы моложе и уживчивее, к тому же не такой чувствительный, вас старческие причуды Милы не раздражают. И ее заботливость вам по вкусу. Только послушайтесь доброго совета, не говорите ей, что собрались уходить. Иначе она вас со свету сживет. Бедняга Теодор, чересчур нетерпимый и впечатлительный, до того довел старуху, что сам был не рад. Ночи напролет глаз не смыкал.

— Почему? — удивился Адриан.

— Милы опасался, вот почему. Думал, она его зарежет. Впечатлительный человек! Тревожный, подозрительный. Представляете, что выдумал! А старуха не злая, только упрямая. Каждую ночь проверяла, на месте ли он. Боялась, что он уйдет. Плохого не хотела.

— У стариков немало странностей, — поддержал сержанта Матиас. — Если привяжутся к кому — ни за что не отпустят, боятся одиночества. Будьте с ней поласковее, терпите ее чудачества, она вас станет на руках носить, это уж точно. И пусть вас поддерживает мысль, что вы оказали милосердие бедной вдовице. К тому же и постелька Марии рядом, — он снова хитро подмигнул. — Удобство немалое: в сырую холодную ночь бывает неохота тащиться к бабе, одеваться, то да се, а тут — шасть к ней под бочок! Не то что наш бедолага Панкрас; ему как припрет, приходит-

ся лезть на овец. Я рад, что вы прижились у Милы. Я бы и сам вас с радостью приютил, но у меня не так уютно, не так по-семейному. И поверьте, моя жена сильно уступает девчонке в живости и проворстве, — Матиас непотребно расхохотался.

— Между нами говоря, я бы на месте Теодора ни за что от Милы не съехал, — понизил голос сержант. — Он, конечно, на шахматах помешался, а в гостинице его никто не отвлекает. Тишина, покой. Размышляй — не хочу! Зато с ласками туго — жди, пока девчонка о тебе вспомнит. Так бы хвать ее, по-соседски, а теперь страдай, на стену лезь. Ведь он без нее не может. Вот и сейчас мучается.

Адриана затошнило от отвращения и ярости.

— О чем это вы?

— Только не говорите никому. Мария частенько его обманывает: пообещает и не придет. Это мешает ему сосредоточиться. Он же точность любит до безумия, живет строго по часам, привычек не меняет. А дрянная девчонка нарочно его изводит. С тех пор как вы здесь, мсье Адриан, Мария перестала ходить к нам на свидания. Ясное дело, свежий человек. Мы все понимаем и не обижаемся. Один Теодор не может смириться: стоит нарушить его режим, у него начинается мигрень. Уж так он устроен. Потому сегодня и сидит у себя, что голова у него разболелась. Ничего, пройдет. Теодор не ревнив, просто малость занудлив.

— То есть вы хотите сказать, что Мария... его любовница?

— Скажете тоже! Любовница! Нет, Отто, ты это слышал? — Матиас чуть не лопнул со смеху. — Вечно вы, городские, преувеличиваете. Узнаете Теодора получше, сами поймете, какую сморозили глупость. Уморили! Разве у таких бывают любовницы? У него одна страсть — шахматы. Теодор все больше сам с собой играет, тут он не терпит соперников. А остальное ему по фигу. Иная любовница хуже всякой жены доконает.

Адриан окончательно запутался.

— Тогда какое отношение имеет Мария к его мигреням?

— Мсье Адриан, мы люди простые, и всякие ваши тонкости нам ни к чему, — наставительно сказал сержант. — Матиас с вами все деликатничает, а нужно сказать напрямик. Теодор, в отличие от прочих, с бабами не церемонится, ему нужно от них одно, и как можно скорее. А Мария дает лучше всех. Такой спорой у него еще не было. Он бабу трет, как нужду справляет, отделался — и скорей за шахматы. Поговорите с ним, может, он вам и признается, отчего никуда не ушел, вернее, отчего вернулся в поселок после целого дня пути. Если же не признается, я вам скажу: из-за Марииного передка. Его прельстила вовсе не стряпня нашего дорогого Матиаса, не чистый деревенский воздух, не тишина. Хоть Теодор и странный, по сути, он мало чем отличается от нас, деревенских: ему подавай то самое, да в срок, не отлынивай. Главное для него — порядок. Любят одни сопляки, а не взрослые люди из плоти и крови. Мы на земле живем и знаем, что почем. Так вот. Он привык получать свое каждую неделю в определенный день. Но мелкая дрянь над ним издевается, за нос водит. Старый холостяк нервничает, не может собраться с мыслями, и главное дело его жизни, шахматы, идет насмарку.

— Ревновать он, правда, никогда не ревнует, — подхватил Матиас. — Отодрал ее и забыл до следующей недели, к другим у него претензий нет, он ко всем относится по-товарищески. Верно, Отто?

— Именно так. Нам нравится, что она молодая и доступная, а ему важнее, чтобы уговор соблюдала и не выпендривалась. Он человек приличный, а потому ни одна в поселке ему бы не отказала, но, похоже, Мария больше всех ему подошла для этих целей. Хотя, в отличие от сержанта, я бы не стал утверждать, что он остался ради нее.

— А ради чего тогда?

— Бог его знает. Он ведь толком не отвечал на расспросы, мы и отстали. Теодор не болтун. Мы к нему привыкли со временем. Он вроде вас: пришел неведомо откуда, так пускай скрытничает, согласны со мной?

Сержант многозначительно покачал головой.

— У вас действительно много общего. Вы с ним подружитесь, и не в шахматах тут дело.

— Ну вот, опять приуныли, — пожалел Адриана Матиас. — Выпейте еще стаканчик, скоро ужинать будем. Жена готовит баранину с овощами, подождем только Теодора, мы не можем без него сесть за стол. А вы пока потолкуйте с нашими картежниками. Впереди зима, темнеть будет рано, тогда карты — самое милое дело. Тем более что шахматист из вас никакой. Уверен, отец Илларион охотно уступит вам свое место, да и другим игрокам надоело возиться со слепым. Представляете, как они вам обрадуются? Будет с кем время скоротать.

— А книг у вас нет случайно? Я бы почитал что-нибудь. Может, дадите? — попросил Адриан, не слишком надеясь на успех.

— Чего нет, того нет. У пастора, правда, хранится Библия, но он с ней не расстается, хоть и знает всю наизусть. У Теодора есть книжки по шахматам, попросите, если хотите.

— Вы лучше список составьте, дадите его Гаспару, когда он появится в следующий раз, — посоветовал сержант. — Он, конечно, не слишком учен, вы ему потолковее объясните. Гаспар не откажет.

* * *

В тот вечер Адриан уходил от Матиаса шатаясь, расстроенный и ошалевший. Он много выпил и почти ничего не ел — все сказанное отбило у него аппетит. Его тошнило от отвращения. При одном воспоминании о заросшем проселке пропадала всякая надежда вернуться домой. Вдобавок сержант и хозяин гостиницы поливали Марию жирной грязью с таким спокойствием и уверенностью в собственной правоте, будто та была не человек, а бессловесная скотина. Они пользовались ею как последней девкой, без малейшей жалости и благодарности. А он не смог заступиться за нее, слушал молча, тем самым становясь их гнусным сообщником. Был заодно с бесстыдниками, подставил шею под льющиеся помои и сам перемазался с головы до ног. Их отношения с Марией отныне осквернены и растоптаны. Во что же он превратится, если проживет бок о бок с этими людьми еще полгода? Мир вокруг невыносимо жесток и мерзок, он бессилен хоть что-нибудь изменить. К тоске и гадливости примешивалось теперь еще чувство вины. Где-то в глубине копошился едва различимый страх, но он и сам не понимал, чего боится.

Мила ждала его как всегда с заваренным чаем и настойкой. Мария свернула для него не одну дюжину папирос. Адриан, хотя и так уже был

пьян, выпил снова, чтобы смягчить душевную боль. Сославшись на усталость и тяжелую голову, он отказался играть с ними в домино, сел в стороне на скамью, прислонился к стене и молча налил себе еще. Он не решался остаться наедине со своими мыслями, а потому медлил на кухне. К тому же сразу уйти ему было неловко, ведь женщины готовились к его возвращению: на краю стола лежала аккуратная стопка выстиранной и выглаженной одежды, в углу стояли вычищенные до блеска городские ботинки. Хозяйки ожидали от него если не любви, то по крайней мере признательности.

Впрочем, обе вели себя сдержанно. Старушка рассеянно улыбалась и, кажется, не совсем понимала, кто он такой. Мария ни словом не упрекнула его за внезапную холодность, не спросила даже, где обещанный автомобиль. Их безропотное молчание действовало на Адриана угнетающе. Ему стало стыдно. В то же время он ощущал, что эти покорные, кроткие женщины словно бы набрасывают на него липкую сеть. Они по очереди лениво клали на стол черные потертые костяшки. Неужели можно вот так бессмысленно существовать день за днем и не спятить? О чем они сейчас думают, думают ли они вообще когда-нибудь? Старушка задремала, положив голову на руку, и Мария стала играть за себя и за нее, не для того чтобы поскорее окончить партию, а чтобы длить и длить бессмысленную игру.

Адриан вспомнил, что дома вот так же тоскливо проводил вечера с женой в гнетущем оцепенелом безмолвии. Единственная разница в том, что здесь он курил в свое удовольствие и никто не воротил нос, не глядел на него осуждающе, никто демонстративно не кашлял и не задыхался. Жена боролась с его курением все ожесточеннее и при каждом удобном случае разражалась жалобами и упреками, нисколько не боясь его обидеть. Хотя в юности сама изображала заядлую курильщицу, как она говорила: "Для пущего форсу".

Да, в семье поистине "царили мир и согласие", взять, к примеру, тот случай с дорогой сигарой. Это произошло незадолго до поездки к морю. Тесть Адриана на радостях, что удалось подписать очень выгодный контракт, подарил ему коробку "Монтекристо". Адриан вспомнил, как старик шумно распахнул дверь в его кабинет и, лучась благожелательностью и великодушием, протянул подарок. Подумать только, "Монтекристо"! Тугие, ароматные, бархатистые. Прекрасная кубинская мулатка скатала их проворными пальцами на своем бронзовом бедре. Тесть знал толк в сигарах и покупал только лучшие, высшей марки. Адриан мечтал насладиться "Монтекристо" вечером, вернувшись домой, в тишине и покое. И вот он плотно затворил дверь в кабинет, распахнул окно, налил рюмку старого коньяка и с почтительным трепетом поднес спичку к драгоценной сигаре. Блаженно затянулся, но тут к нему ворвалась жена, потрясая кулаками и визжа, чтобы он немедленно прекратил отравлять дом невыносимой вонью. Между тем кольца дыма, томно кружась, вылетали в открытое окно, не представляя собой никакой опасности для домашних. Что ее взбесило? Не могла же она назвать вонью дивное терпкое благоухание кофе, ореха, тропических трав, смолы и влажной женской кожи? Благоухание лучшего в мире табака! Одурманенный первой волшебной затяжкой, разнеженный глотком коньяка, Адриан поначалу не понял, с чего это она разоряется, и даже ласково ей улыбнулся. Но скромница и тихо-

ня вопреки обыкновению вопила, топала ногами и категорически требовала немедленно выбросить "эту гадость". В конце концов муж с недоумением осознал, что подразумевается сигара, которую он сжимал так бережно и нежно. Но супруга недооценивала соперницу. Вместо того чтобы безропотно покориться, Адриан еще раз сладострастно прильнул губами к сигаре, а затем сухо приказал истеричке выйти вон, прибавив, что ни одна баба на свете не сравнится с великолепной "Монтекристо". На самом деле он выразился еще крепче. Оскорбленная жена вне себя от гнева и унижения выскочила из кабинета и потом неделю не разговаривала с ним. Однако чудесный миг был испорчен, "Монтекристо" его больше не радовали.

Как ни странно, теперь этот эпизод развеселил его и утешил. Почему он вдруг всплыл в памяти? При взгляде на Марию, что лениво пускала колечки дыма? Пожалуй, сладкий вкус и пьянящий запах ее "киски" ставили под сомнение справедливость грубой фразы, будто кнутом хлестнувшей его чувствительную супругу. Впрочем, обидно вспоминать о дорогой сигаре, когда куришь дрянной самосад, сидишь в унылой глуши и не знаешь, удастся ли когда-нибудь отсюда выбраться. А мысль о жене вызывала злобу, ведь спасительный автомобиль, скорей всего, никогда за ним не приедет. От Адриана попросту избавились, высадили на необитаемый остров посреди океана. Обида подтачивала его изнутри. Но жалостью к себе и гневом на близких горю не поможешь.

Адриан выпил еще настойки, чтобы покрепче уснуть, и удалился в спальню, оставив Марию на кухне. Пусть играет в домино со спящей старухой, самое подходящее для нее занятие.

* * *

Спал он плохо, всю ночь ворочался и под утро услышал осторожные шаги: это Мария пробиралась к себе, стараясь никого не разбудить. Нетрудно догадаться, где она была. С этим нужно смириться. Он подумал с горечью, что Теодор исцелился от мигрени и назавтра с новыми силами засядет за шахматы. Заснуть никак не удавалось. Лишь воспоминания о том, как он путешествовал в юности, помогли Адриану погрузиться в дремоту.

8

Он проснулся около полудня и понял, что сегодня на площадь не пойдет. И так уже ясно, что никто за ним не приехал. В любом случае автомобиль прибудет не утром, а к вечеру. Так зачем же день-деньской торчать перед гостиницей на потеху зевакам, ждать чуда, хотя отлично знаешь, что чудес не бывает? Только время терять.

Мила специально для него приготовила превкусные картофельные котлеты, и Адриан с удовольствием позавтракал. Мария еще спала, чему он несказанно обрадовался: после вчерашнего скверного разговора в гостинице он ощущал неловкость в ее присутствии.

После завтрака старушка попросила его наколоть дров. Вполне естественная просьба, однако Адриана смутил ее тон. Во-первых, она ста-

ла говорить ему "ты" и называть "сынок", от прежней заискивающей интонации не осталось и следа. Во-вторых, не объяснила даже, где что лежит, словно он колол дрова каждый день и отлично знал все ее хозяйство. Когда он не смог найти топора, она засмеялась и лукаво погрозила ему пальцем:

— Жозеф, хитрюга! Куда же это наш топор запропастился? Ничего, пойдем, мамочка живо отыщет. Растяпа ты у меня. Вечно все разбрасываешь.

Она повела его к навесу. Внутри были сложены огромные поленья, рядом на стене висел топор.

— Видишь, милый? Он на месте. Никуда не убежал. Наточи его, не забудь. И не слишком надрывайся. Лишь бы нам на сегодня и на завтра хватило. Давай, мой маленький, принимайся за работу!

Слушать старушку было смешно и жалко. Дров он ей наколет с удовольствием, приятно поразмяться, он совсем засиделся. В юности он колол дрова, вот только бы вспомнить, как это делается. Оказалось, ничего сложного. Наточил, приладился, а потом пошло само собой. Пришлось только снять куртку и рубашку — в них он мгновенно вспотел. Размеренные однообразные движения успокаивали его, отвлекали от тяжелых мыслей. Он работал довольно долго, переколол все, что было под навесом, и уже подумывал, где бы достать тачку, чтобы привезти Миле еще дров. Или, может быть, Кирилл ему угля даст? Он бы привез старушке в запас. И ей польза, и ему занятие.

Марию днем он так и не видел. Они теперь избегали друг друга.

Мила очень хвалила "сыночка" и упрашивала поужинать дома. Но он решительно отказался. Пусть называет Жозефом — все-таки он ей не сын. Ему не хотелось ее обижать, но и сажать на шею нельзя. Он решил во что бы то ни стало отстоять свою независимость.

"А так пусть тешится. Старушка не вредная. Я всегда охотно ей помогу, мы прекрасно поладим. Какая разница, как меня здесь называют? Все равно они ничего не знают обо мне. Адриан или Жозеф — с течением времени я, наверное, стану точной копией ее сына".

Он отправился на прогулку. Решил дойти проселком до того леска, что виднелся вдалеке. Ноги больше не болели благодаря заботам ветреной Марии. После колки дров в руках и спине ощущалась приятная ломота, физический труд вернул хорошее настроение и уверенность в себе. Страх отступил. Адриан решил даже, что, вернувшись домой, непременно займется спортом, во всяком случае станет ездить на работу на велосипеде, а не на машине.

Он свернул не в ту сторону и неожиданно вышел к небольшой старинной церкви. Сложенная из грубого камня, с плоской крышей, без колокольни, она казалась совсем древней. Перекошенная, разбухшая от сырости дверь не закрывалась. Внутри несколько скамей — прихожан здесь разместилось бы не больше дюжины, — алтаря нет совсем, а вместо кафедры — дощатый помост.

Адриан присел на скамью, удивленно разглядывая странную церковь. Может быть, здесь он поймет, что творится в душах жителей поселка. Нет, едва ли. Сквозь узкие, похожие на бойницы окна без стекол и витражей лился тусклый свет. На стенах виднелись остатки охристых росписей, покрытые трещинами и пятнами плесени. Невозможно было

разобрать, что здесь нарисовано и написано. Статуй не было, в глубине виднелся лишь черный крест без Христа. Неизвестно, молились ли в этой мрачной церкви. Впрочем, пол из огромных каменных плит чисто подметен и крыша починена – дома в поселке были куда более заброшенными и грязными.

Внутри было холодно и сыро, он зябко поежился и вдруг ощутил безмерное одиночество. В горле ком, по щекам полились слезы, хоть он и тер глаза, стараясь их удержать. Ему стало стыдно, он постарался взять себя в руки. "Что, приятель, раскис? Нервы шалят. Ничего, просто ты измучился за последние дни, а тут наступила разрядка. Ободранная голая церковь напоминает тебя самого, бедного покинутого мальчика, вот ты и расплакался". Но в глубине души он прекрасно знал, что причина не только в этом. Он вдруг выпал из обыденной жизни, расстался с привычными представлениями и прежним мировоззрением. Сложный процесс переосмысления захватил все его существо. Стоило ему остановиться, как накопленные обиды и разочарования поднялись со дна, где прятались, пока его увлекал однообразный безостановочный водоворот будней. Развод – не единственное его потаенное желание, заявившее о себе. Сейчас он понял, что охотно оставит не только дочку босса, но и профессию инженера-консультанта. Разве о таком занятии он мечтал студентом? А о каком мечтал? И как он будет тогда зарабатывать деньги? Ему не хотелось об этом думать. Не хотелось строить планы. Лучше поиграем, рассмотрим разные грани найденного магического кристалла. Отвлеченно пофантазируем. Отбросим страх и преклонение перед общепринятыми истинами. Дадим волю воображению. Зачем продумывать свое будущее во всех подробностях на десятилетия вперед, если даже остановка поезда в чистом поле способна все перевернуть и разрушить? И зачем рваться отсюда в город, звать на помощь, чувствовать себя утопающим, если там меня не ждет ничего, кроме тяжкого груза обязанностей, висящих камнем на шее?

При слове "камень" он сейчас же вспомнил о сыне. Крепком, замкнутом, неподатливом. Они друг другу чужие. Сын – собственность жены, ее придаток. Он исподтишка следит за отцом, доносит матери о каждом его шаге. Когда отец возвращается с работы, он не бежит его встречать. Ходит за матерью словно тень, сам с собой играет. Только если матери нет дома, они вместе что-нибудь строят. Интересно, о чем он думает? Каким вырастет? Станет главой дедушкиного завода? Или в один прекрасный день исчезнет, сбежит из дома, как любимый Милин сыночек?

Раньше Адриану в голову не приходило подобных мыслей. У него стало легче на сердце. Поживем – увидим. И какая разница, пришлют они автомобиль или не пришлют. Он почти примирился с мыслью, что теперь он один на свете. Ему даже стало весело. Одиночество – это свобода, а свобода отличная штука. Волшебная. Податливая, словно женщина, тающая от желания.

Но это в теории. А в реальности он чужой человек в глухом углу, и ему, вполне возможно, грозят неведомые опасности, что подстерегают у каждой развалюхи, будто дурачок Панкрас, шпион сержанта Отто. Нужно держать ухо востро, наблюдать, прикидывать и потихоньку готовиться к побегу. А все эти мыльные пузыри, смешные фантазии будут поддерживать в нем присутствие духа, не дадут отчаяться.

Он вышел из церкви и направился к небольшому кладбищу, обнесенному каменной стеной. Стоящие вкривь и вкось кресты и могильные плиты налезали здесь друг на друга, словно их всей кучей отодвинули в сторону, расчищая место для новых захоронений. Почти все они крошились от старости, надписи стерлись, повсюду разрослась ежевика. Лишь несколько плит сохранилось, он стал читать имена, разбирать даты, но какой смысл? Он не знал этих людей, не представлял, как они жили. Из поколения в поколение посреди степи, вдали от городов, безвестные, всеми забытые, они упорно цеплялись за жалкое существование. Что же он делает среди них? Бред какой-то, кошмар, абсурд! Он засмеялся и встряхнул головой, надеясь проснуться. Тут его вновь охватил суеверный страх перед жителями поселка. Ему не стоит ни с кем откровенничать. Мысль о побеге не понравится не только старушке Миле. Казалось бы, зачем удерживать его силой? И все же сержант Отто не зря говорил о своем долге спасти его против его же воли, не зря стращал Милой и призывал в свидетели Теодора. Звучало все это довольно зловеще. Только он пока не знал, что именно ему угрожает.

Адриан пошел дальше. Вот тропинка, ведущая к станции, а вот еле заметная стежка, должно быть, заглохший проселок, тот, что идет параллельно железной дороге, — о нем еще говорил старик Кирилл. Через полчаса Адриан увидел впереди развалины какого-то здания, должно быть, еще одной церкви или монастыря. Нагромождение огромных камней виднелось в степи в стороне от тропы и казалось островом посреди океана. Камни поросли кустарником, рядом высилось несколько лиственниц. Ему захотелось рассмотреть их вблизи. А что, если там есть колодец? Ведь ему надо тайком запастись водой, если он отважится уйти из поселка. Адриан сошел с тропы и стал пробираться среди высокой степной травы.

Идти было трудно, он то и дело спотыкался и едва не падал. К тому же он вдруг осознал, что легко может заблудиться. Хорошо, что впереди лиственницы, а как потом найти тропу, если кругом густая трава выше головы? Пересечь пешком степь то же, что переплыть океан на лодочке.

Никакого колодца среди развалин не оказалось. От прежней постройки остался один фундамент. По его очертаниям можно было предположить, что здесь некогда располагался монастырь, но какой? Оставалось лишь догадываться. Адриан подумал, что среди камней можно укрыться от дождя и сильного ветра. Здесь он переночует, прежде чем отправится в путь.

Итак, решено. По этой тропинке пешком он выберется отсюда. Существовало лишь одно серьезное препятствие: он не знал, какое расстояние ему предстоит одолеть. Жители поселка не сказали ничего вразумительного. Шестьдесят лье — это примерно двести-триста километров. Не близко, черт возьми! Даже с водой и едой не всякий пройдет.

Он отыскал прежнюю тропку. Прошел по ней еще с полчаса и вдруг увидел, что от нее отходит другая. Дорожного указателя нет. Какую выбрать — неведомо. Если смотреть вдаль, кажется, что тропинки ведут в одну сторону. Или это обман зрения? Пришлось вернуться обратно. Очевидно, его план никуда не годился. Адриан разочарованно вздохнул.

Ясно одно: ждать автомобиля не стоит. Никто никогда не приедет в проклятый поселок.

* * *

Первым, кого увидел Адриан в общей комнате гостиницы, был Теодор, он находился в прекраснейшем настроении и попивал чаек, не отрывая глаз от доски с шахматными фигурами. Матиас с присущим ему веселым добродушием поприветствовал Адриана и выразил живейшее удовольствие, узнав, что тот гулял по окрестностям поселка. Услышав о маленькой церковке, Матиас с важностью сообщил:

— Да, это наша любимая церковь, — и в голосе его прозвучала гордость. — Вы заметили, что ее не коснулась ни одна реставрация? Ей более четырех сотен лет, и ее никогда не подновляли и не белили. Удивительно, правда? Вы можете не верить, но так оно и есть.

— В самом деле, удивительно, — согласился Адриан. — А собственно, почему нельзя ее отремонтировать и побелить?

— А потому, что она тогда будет выглядеть новее и красивее, — так же гордо продолжал Матиас, — и утратит свою подлинность. Настенным росписям, — к сожалению, от них почти ничего не осталось, — тоже, поверьте, четыре века. Время мало-помалу стирает их. Пастор говорит, что стены и должны оставаться такими. Они должны напоминать нам, что на земле все тленно, все обращается в прах. Нетленно только Священное Писание. Древние росписи неустанно напоминают верующим о тщете человеческих усилий.

— Очень интересно, — отозвался Адриан. — Мне такое не приходило в голову. Над словами вашего пастора стоит поразмыслить. Он ведь слепой, да?

— Слепой, и зовут его отец Илларион, вон он играет в карты с другими старичками. Несмотря на слепоту, он иногда по воскресеньям читает проповеди. Когда захочет. И всегда наизусть. Библию знает досконально. Если хотите узнать историю нашего прихода, отец Илларион с удовольствием вам расскажет. Это, собственно, история нашего поселка, семей, которые жили здесь, а потом исчезли навсегда. Вот сержант Отто хранит муниципальный архив, но в его документах нет интересных подробностей, одни имена и даты. А отец Илларион и другие старики чего только не помнят, даже кто когда и с кем переспал. Представляете? Кое-кто из нас и не рад таким подробностям, так что мы не слишком часто к нему обращаемся. С годами он стал слишком болтлив, того и гляди вытащит какой-нибудь древний анекдот про наших собственных родителей.

— Я и ваше кладбище видел. Очень красивое.

— На мой вкус не очень, — тут же заявил хозяин гостиницы. — Я любитель порядка, расставил бы поровнее памятники, чаще бы косил траву. Мне по нраву аккуратность, недаром я занялся коммерцией. Клиентам бы не понравилось, если бы у меня была грязь и валялась всякая дрянь. Но отец Илларион считает по-другому. "Кладбище не гостиница", — говорит он и, надо признать, абсолютно прав. Он считает, что и кладбище создано, чтобы напоминать нам о тщете всего земного и краткости человеческой жизни. И...

Адриан подумал, что полуразрушенные домишки и плачевный вид поселка тоже, видно, напоминают обитателям о тщете земного, но сохранил эти соображения при себе. Не стал упоминать и о развалинах, которые видел во время прогулки. К чему наводить на мысль, что его интересуют степные дороги? Однако, увидев на пороге усталого сержанта Отто, он понял, что весь поселок уже знает о его путешествиях. Нет никакого сомнения, что за ним следили.

— Долго вы, однако, гуляли, мсье Адриан, — воскликнул сержант вместо приветствия. — Удивительно, как у вас сил хватает! Хотя понять можно — вы молоды, да и красота наших мест пришлась вам по душе.

— Вы меня видели, сержант?

— Конечно! Как можно вас не заметить? Вы единственный праздный человек у нас в поселке. Приглянулось вам что-нибудь? Может, домик какой приглядели?

— Да нет, сержант, не беспокойтесь. Я бродил просто так, без всякой цели, погода хорошая, вот и бродил. Ожидание затягивается, терпение иссякает. Прошелся по дороге, думал, а вдруг увижу наш заводской автомобиль? Понимаю, звучит глуповато, но, когда долго ждешь, становишься суеверным и думаешь: а вдруг чудеса бывают?

— И все же признайтесь, развалины скита вас удивили.

— Скита? Неужели? — Адриан в самом деле удивился, но не хотел, чтобы сержант заметил его удивление. — Должно быть, было красивое здание. А я было подумал, что это церковь.

С неприятным чувством Адриан попытался понять, где же прятались коротышка сержант и дылда Панкрас, когда он осматривал развалины, и следили ли они за ним, дойдя следом до перекрестка.

— Нет, не церковь, а скит, — подтвердил сержант, — но он давно уже лежит в развалинах. Отец Илларион, наш пастор, очень старый, но и он не помнит скита целым. Это мы его так называем — скит. А вообще-то никто не знает, что это такое. Вам кажется — церковь?

— Понятия не имею, сержант.

— Но скит вас заинтересовал, ведь правда?

— Я обожаю руины, — сообщил Адриан. — Старинные здания с историей, которые, как любит говорить мсье Матиас, напоминают нам о тщете земного. А вам, сержант, по душе руины?

— Не особенно. Я только так, по долгу службы, чтобы вас, мсье Адриан, из виду не упустить.

— Вы за мной следите?

— Да не сказал бы, что особенно слежу, так, по долгу службы. Как полицейский обязан наблюдать за всеми отклонениями в поселке, предупреждая нежелательные последствия и нарушения общественного порядка. В данный момент, могу признаться, вы единственный, за кого мы все беспокоимся, отсюда и повышенное внимание к вашей личности.

— Вы очень любезны, мсье сержант, и я вам очень благодарен, хотя у вас в поселке чувствую себя в совершенной безопасности. Здесь у вас на удивление спокойно.

— Но мне все-таки любопытно, чем могут заинтересовать обломки старого здания инженера? Если можете, объясните мне поподробнее.

— Они интересуют меня из чистой любознательности, сержант. Развалины и деревья вокруг представляют собой живописный островок в

степи, вы не находите? Они хранят следы прошлого, как и ваша церковка со стертыми фресками. На меня подобные места навевают грусть, погружают в мечтательное настроение. В больших городах романтические руины не попадаются за каждым поворотом. Останки прошлых времен заперты в музеях и оттого потеряли все очарование.

— Вот оно что! И вы попали туда совершенно случайно?

— Конечно. Вы же прекрасно знаете, сержант, что поселок я осматриваю впервые. А почему вы меня об этом спрашиваете?

— Да так, на тот случай, если окажется, что развалины представляют собой какую-то ценность или из-за них может нарушиться наша мирная жизнь. Кто знает, почему инженеры суют свой нос то туда, то сюда, не спросив разрешения.

— Поостерегитесь, сержант Отто, вы, мне кажется, переходите допустимые границы. Я не знал, что нуждаюсь в вашем разрешении для того, чтобы прогуливаться по окрестностям и любоваться живописными видами. На будущее прошу уточнить, на что я имею право и на что нет, чтобы не утомлять вас необходимостью следовать за мной по пятам.

— Да не сердитесь вы так, мсье Адриан! Я беспокоюсь только о вашей безопасности.

— Вы прекрасно знаете, как мучительно для меня ожидание и с каким нетерпением я жду автомобиля, чтобы уехать отсюда. Так оставьте хоть вы меня в покое и дайте возможность бродить, где мне хочется, время и так тянется невыносимо долго. И успокойтесь, никогда в жизни я не слышал об этих развалинах, уверен, что никто на свете о них не знает и ни для кого они не представляют никакого интереса. Впрочем, можете наблюдать за мной, если вам так мило это занятие и других дел у вас нет. Рано или поздно вы убедитесь, что я всего-навсего пассажир, отставший от поезда и не имеющий никаких подозрительных намерений. У меня одно-единственное дело — ждать, а прогулки — единственная возможность справиться с тоской и скукой. Сообщаю вам, что завтра собираюсь навестить старину Кирилла, начальника станции, с одной-единственной целью: узнать, не ожидает ли он в ближайшее время поезда. Вернусь к полудню, чтобы выпить с вами и с мсье Матиасом аперитив, как положено добросовестному отдыхающему. Программа вас устраивает?

— Да не нервничайте вы, мсье Адриан, — прервал его хозяин гостиницы. — Отто тоже скучно, вот он и развлекается, играя в ищейку. А иначе ему некого пасти кроме овец, а овцы у нас не гуляют. Правильно я говорю, Отто?

— Так оно и есть, мсье Адриан. Я не слежу за вами, я вас оберегаю со всем моим к вам уважением. И конечно мне любопытно, что же у нас есть такого, что может заинтересовать человека, привыкшего жить в больших городах. Для меня это вопрос чести, поверьте. Отсутствие новостей от вашего семейства неизбежно продлевает ваше присутствие у нас в поселке, и кто как не я обязан этим заниматься? Мы должны както объяснить эту задержку, если вы не захотите объяснить другой причиной ваше появление среди нас. Вы по-прежнему уверены, что за вами приедут?

— Ничего не могу вам сказать, сержант. Жду точно так же, как вы, находясь в полном неведении. Не думаю, что моя семья может оставить

меня здесь навсегда, просто-напросто забыв о моем существовании. Люди воспитанные так не поступают. Вот и мы, как люди воспитанные, наберемся терпения и будем ждать. Слушая вас, я перестаю верить, что мое появление для вас приятно и радостно, как вы уверяли меня вначале. Куда же девалось ваше гостеприимство?

— Что вы такое говорите, мсье Адриан?! — воскликнул сержант. — Мы в восторге от вашего прибытия и печемся только о вашем благополучии.

— И еще имейте в виду, — прибавил Адриан, — у меня достаточно средств, чтобы обеспечить свое пребывание здесь на тот срок, который понадобится. И поскольку наш друг мсье Матиас в дальнейшем пообещал мне открыть кредит, мне волноваться не о чем. К вашему сведению, мадам Мила называет меня своим сыном, и я отношусь к этому совершенно спокойно.

— И правильно делаете, Адриан, — подхватил Матиас. — Я ведь могу называть вас просто Адрианом? А вы меня зовите Матиас, к чему нам лишние церемонии? Я сразу понял, что вы человек миролюбивый и сумеете ужиться со старушкой Милой, несмотря на все ее причуды. Кстати, Адриан, если вы завтра собираетесь на станцию, может, прихватите с собой кое-какие припасы для старины Кирилла? Будьте так добры, он, я думаю, очень обрадуется. Дорога до нас ему стала длинновата, а в последнее время у него было столько треволнений, что запасы успокоительного, скорее всего, подошли к концу.

— Отнесу, Матиас. Если груз не слишком тяжелый, отнесу с удовольствием. Упакуйте, и я прихвачу пакет вечером, когда пойду домой, к мадам Миле. Завтра я выйду на рассвете, чтобы добраться до станции по холодку.

— Какая там тяжесть! Табак для трубки, водка, чай, соль и спички, больше ничего он обычно не покупает. Ну, иногда еще кусочек сыра. У Кирилла огород, своя картошка, мясо он себе позволяет только изредка. Здешний народ над ним посмеивается и зовет отшельником. Он славный человек, а когда как следует выпьет, настоящий весельчак и душа общества. Если проживете у нас до Рождества, увидите, как он лихо отплясывает и веселится до упаду.

— Выпьем за развалины, сержант, — сказал Адриан, поднимая рюмку и желая подколоть полицейского. — А вас, Матиас, попрошу, налейте рюмочку бедняге Панкрасу, он так смотрит на нас, что нет сомнения, ему тоже хочется выпить. Думаю, ему нелегко ходить за мной целый день по пятам.

– Иди сюда, Панкрас, — позвал хозяин дурачка и протянул ему большую стопку водки. — Адриан тебя угощает. Скажи ему спасибо и отправляйся пить куда-нибудь подальше, чтобы не мешать нашему разговору.

Изумленный дурачок посмотрел на Адриана и улыбнулся беззубой слюнявой улыбкой, потом, урча от удовольствия, схватил обеими руками стопку и, выделывая ногами кренделя, отправился в дальний угол.

Головная боль у Теодора прошла, и Адриану не пришлось его даже упрашивать, он охотно согласился рассказать о проселке все, что знал. Но ничего особо нового не сообщил, подтвердил, что дорога и впрямь очень скверная и совершенно пустынная, он прошагал целые сутки,

день и ночь, не повстречал ни души и решил повернуть обратно: побоялся умереть один в степи и очень стосковался по шахматам.

— Именно так, — искренне признавался Теодор. — Устал до чертиков и понял, что нет никакого смысла идти дальше. Сил у меня хватило ровно на то, чтобы вернуться, но я понял и еще более важную вещь: мне совершенно безразлично, где находиться. Шахматная доска не меняется от города к городу, где бы ты ни жил, она одна и та же. Мне удобно здесь, в поселке Вокзал. Замечу только, что в отличие от вас, мсье Адриан, я приехал сюда с приличным багажом, со мной даже были все необходимые для занятий книги. Путешествие, на мое счастье, окончилось переселением. Я не отстал от поезда, как вы. Я просто-напросто высадился здесь со всем багажом, потому что слишком глубоко задумался и вышел не на той станции. Но я самодостаточен и могу продолжать работу и здесь, по крайней мере пока не исчерпаю тему, которую сейчас изучаю. Это потом мне, очевидно, придется поехать в какой-нибудь крупный центр, чтобы дальше совершенствоваться в теории шахматной игры. Года через три или четыре. Тогда как вы — так я понял — оказались здесь по несчастной случайности и подобно изгнаннику, да позволено мне будет такое сравнение, ищете для себя убежища. У меня все было по-другому. Пока я шел, а шел я очень долго по скудной, однообразной степи, я очень тосковал о своих книгах и шахматах, которые вынужден был оставить у старой ведьмы, теперь у нее живете вы. Должен сказать, что она совершенно сумасшедшая. Мне жаль было времени, которое я теряю на ходьбу вместо того, чтобы заниматься шахматами. Я знал, что у Матиаса умирает мать — царствие ей небесное! — и что ее комната скоро освободится. И коль скоро для меня важнее всего была возможность продолжать занятия, то самым разумным было вернуться и дождаться ее кончины. Я ведь и на поезд сел с тем, чтобы попасть в тихий, спокойный городок, где я мог бы целиком погрузиться в размышления о шахматах. Какая мне разница, что это будет за город, они все друг друга стоят. Уже больше года, как я сошел здесь с поезда. Поначалу я твердил себе, как вы: это только остановка, короткая остановка... Но время бежит так быстро. В конце концов привыкаешь, пускаешь корни и уж точно забываешь, по какой причине пустился в путь. Ваши вопросы сначала очень меня удивили, я словно бы выслушал необыкновенную историю. А знаете почему? Потому что я уже забыл, что когда-то садился в поезд и собирался куда-то ехать. Мне кажется, все приснилось однажды ночью, когда беспокойно спалось. Реальность блекнет и расплывается у меня в памяти. Ничего не поделаешь. Вопреки нашим намерениям, партия вынуждает нас порой менять тактику, искать другие ходы, новые комбинации фигур. Когда разыграешь партию по-новому, мысль, что лучше было бы воспользоваться старыми избитыми ходами, кажется абсурдной. Должен сказать, что в редчайших случаях ты можешь конец партии счесть логическим завершением выбранного тобой начала.

— Так, значит, проселком никто не пользуется? — спросил Адриан после долгого молчания.

— Не могу вам сказать, — отозвался Теодор. — Я о нем больше не вспоминаю. Нет смысла размышлять о неиспользованных возможностях, о путях, которые не понадобились. Сожаления и упреки парализуют творческую мысль. Использованные варианты имеют смысл только на шах-

матной доске, когда мы готовимся к игре, в шахматах мы без конца проигрываем одну и ту же жизнь, которая всегда оказывается разной. Поэтому так важно прорабатывать варианты, все, какие только возможны. Но как только мы разыгрываем партию в реальности, главным становится мат, который мы стремимся поставить в конце. Я дам вам только один совет: вникните хорошенько в суть вашего первого хода. Когда мы играли с вами в шахматы, вы совершенно пренебрегали выгодами, которые таило начало вашей игры. Начало обязывает к неким очевидным действиям, и они вас благополучно доводят до середины партии, а вот концы партий непредсказуемы из-за множества осложнений, которые не способен предвидеть ни один заданный алгоритм. Подумайте о моих словах. Зато допущенная в самом начале ошибка может повлечь за собой последствия, которые дурно скажутся в самом конце. Я сказал бы, что искусство игры состоит в продуманном первом шаге и умении защитить сулимые им выгоды. Поэтому будьте внимательны к первым шагам, что бы вы ни начинали. Я могу вам дать учебник, где проанализированы все начальные ходы и классические виды защиты, какие им соответствуют, вы убедитесь в непреложности высказанной мной истины и немного расширите свои познания в области шахмат. О проселочной дороге забудьте. Одному вам никогда не выбраться из поселка, я в этом убежден. Наберитесь терпения и дожидайтесь Гаспара, лучшего не придумать. Я не хотел бы, чтобы у вас создалось впечатление, будто я отговариваю вас, желая иметь партнера-шахматиста. С вашей стороны это было бы самонадеянностью. Вы не можете быть интересным противником для знатока вроде меня. Сыграв еще несколько партий с вами, я окончательно разочаруюсь и больше не стану играть, потому что не люблю терять время. Обижаться не стоит, речь не об отношении. Жизнь слишком коротка, и ни минуты нельзя отрывать от любимого дела. Учить вас играть мне тоже неинтересно. Учить любят люди ограниченные. Я осознал эту истину на собственном опыте, оставил работу преподавателя и теперь наслаждаюсь одиночеством. Кто знает, вполне возможно, ваше пребывание здесь тоже сыграет решающую роль в вашей жизни. Но не делайте шахматы главной целью вашей жизни, вы слишком стары, чтобы погрузиться в них всерьез.

* * *

Когда поздно вечером Адриан вернулся домой, Мила сказала, что Мария плохо себя чувствует и давным-давно спит. Адриан обрадовался, что они не встретились, он не сомневался, что день она провела с любовниками, и к тому же опасался ее насмешек по поводу того, что стал для Милы Жозефом. Адриана заскоки Милы не трогали, но Мария, похоже, ненавидела брата, так что ее издевки вполне могли превратить Милу в ту самую злобную ведьму, от которой страдал Теодор. Адриан дорожил спокойствием в доме, оно было ему необходимо, чтобы рано или поздно все-таки найти выход из безвыходной ситуации. Он увидел свое положение по-новому и мешок, собранный Матиасом для начальника станции, счел подарком судьбы.

Мила решила, что Адриан, вернее, ее сынок Жозеф нашел себе работу, нанялся в услужение к хозяину гостиницы, и радовалась, что те-

перь он будет честно зарабатывать себе на хлеб и никто не обзовет его пьяницей. Однако кое-что в монологе Милы насторожило Адриана.

– Я знала, что любовь твоей сестрицы-гулёны вернет тебя на добрую дорогу, – говорила Мила. – Что была за дурь с ее стороны отказывать тебе в том, в чем она никому не отказывает. Ей это ничего не стоит, а ты у нас красивее многих. Теперь, когда все у вас уладилось, сыночек, тебе и ехать никуда не надо. Теперь мы и заживем мирно и счастливо.

Адриан не спал добрую половину ночи, пытаясь привести свои мысли в порядок. Мышиная беготня вдоль стен ему мешала, но на этот раз он не стал глушить себя водкой и постарался сохранить ясную голову. Сегодня вечером он окончательно понял, что ему не придется удовольствоваться ролью несчастной жертвы, ожидающей помощи, что ему нужен четкий план спасения или хотя бы стратегия выживания, если он застрянет в поселке на долгие месяцы. Стоило Адриану почувствовать себя несчастной жертвой, как молчание его семейства начинало казаться ему обидным и оскорбительным. Он хотел бы знать, что они там думают. Уже похоронили его? Забыли? Или все-таки разыскивают? Он задавал себе сотни вопросов, не находя на них ответов, и ни одно из его предположений так и не превратилось в уверенность. Но по мере того как он думал и перебирал варианты, горечь обиды куда-то улетучилась, и вместо нее возникло острое любопытство. Его вопросы были сродни ребусам, и подходить к их решению можно было с самых разных сторон. Адриан только запутывался, выдвигая в качестве ответов все новые предположения, которые никак не мог проверить. Да, Теодор был прав, следовало разобраться с первым шагом и тогда стало бы понятнее, как действовать в середине партии. На этот раз Адриан осознал, с какой необычайной легкостью пошел на странное приключение. И подобно шахматисту попытался хоть как-то упорядочить происходящее, выстроить хоть какую-то защиту против беды, в которой оказался. Но это плохо ему удавалось. В отличие от шахмат ходы человеческих фигур были слишком разнообразны, а передвижения их по шахматной доске реальности слишком непредсказуемы. Адриан припомнил несколько романов, которые читал когда-то, несколько схожих историй, которые ему рассказывали, но в отличие от учебника по шахматам они не исчерпывали всех дебютов. Жизнь человеческая слишком сложна, чтобы исчерпать ее несколькими версиями. Придя к такому глубокомысленному заключению и вспомнив, как он, солидный инженер, прятался в туалете, словно мальчишка, курил и мечтал, он рассмеялся. И как ни странно, успокоился.

Подумал о плотненькой, пухленькой Марии с детским бесстыжим личиком и решил, что все, что с ним творится, – настоящий абсурд. Абсурд в его самом прямом значении, в смысле отсутствия разума, логики, меры. В этой новой жизни не годилось даже то, к чему он привык. Даже его манера вести себя, и та не годилась. Но с другой стороны, привычки, манеры, то, чего от нас ждут окружающие, часто рождено инерцией, механическим повторением одного и того же, а поступок несуразный и нелепый может быть согрет искренним чувством и соответствовать твоей внутренней логике. Все зависит от точки зрения, от того, как именно ты будешь смотреть.

И почти сразу Адриан заснул, сам не ведая, что его так утешило, и на губах у него бродила улыбка.

9

И на следующий день долгожданные спасители не приехали, еще день прошел, и еще, и еще, а их все не было и не было. Адриан по-прежнему ждал их, но уже без лихорадочного нетерпения первых дней. Помощь извне словно бы стала и менее вероятной и менее необходимой. Пожалуй, он ждал этой помощи из чувства долга, ведь, оказавшись в беде, положено ждать помощи, и как потерпевший он обязан быть на месте в тот момент, когда она придет. Он будто дал слово, будто давным-давно заключил договор и теперь всеми силами старался не забыть о нем. Он ждал помощи еще и из любопытства, ему очень хотелось знать, как расценило его исчезновение семейство и почему оно не спешит ему помочь. Адриан вовсе не собирался спускать жене эту проволочку, задержка здесь была чистой глупостью, или — что еще постыднее — недостойной местью. Однако ожидание больше не угнетало его, как в первые дни, он более или менее применился, притерпелся к новым обстоятельствам. Разумеется, и сейчас на него находило уныние, и порой он чувствовал себя несчастной брошенной жертвой, отданной на произвол судьбы теми людьми, которые без труда могли бы вызволить его из беды. Покоя у него тоже не было: то его тянула к себе прошлая жизнь, то кружила голову неизведанными возможностями новая, громко заявляя о себе каждое утро, когда он просыпался, не дождавшись автомобиля, все там же — в поселке под названием Вокзал. Иной раз Адриан поглядывал на маленькую площадь чуть ли не с опаской, боясь увидеть лимузин, который положит конец едва начавшимся каникулам. Адриан не скрывал от себя, что относится к долгожданному автомобилю весьма двойственно. Думая о нем, он сразу же почему-то вспоминал о поезде, который в начале сентября увозил его в город, где его ждали нелюбимые школьные занятия. Он представлял себе тестя — тот лично сидел за рулем, и с ним рядом дорогая супруга, оба сурово смотрят на его деревенскую рубаху, загорелое лицо, отросшую щетину. Что они скажут, когда он предложит взять с собой молоденькую девчонку, проголосовавшую на дороге? Как поведут себя, если не смогут сразу уехать и им придется переночевать в поселке?

Рисуя в воображении то одну картину, то другую, Адриан не торопился с решениями. Он был согласен на любое, какое подскажет ему ход событий, а пока наслаждался множеством самых разнообразных внезапно открывшихся ему возможностей. Мысленно он усаживался за рабочий стол у себя в кабинете на заводе и брался за проект, пытаясь понять: а сейчас он ему так же дорог и интересен? Бродил по С., заглядывая в кафе и кинотеатры, — с тех пор как он женился, он никуда не выходил один. Отправлялся в другие города, работал то инженером на шахте, то в геологической экспедиции в далеких горах. То он возвращался к жене, то жил совсем один, то проводил время с красоткой любовницей. Иногда в постели с Марией он мысленно занимался любовью с женой или, превратившись в стороннего наблюдателя, цинично срав-

нивал обеих женщин, их физические достоинства, поведение. Отдаваясь игре воображения, Адриан не искал ответа на какой-то определенный вопрос. Он отвлекал себя, лечился от тоски и скуки. Но, вернувшись из страны фантазий на грешную землю, он теперь не испытывал ни уныния, ни раздражения, как прежде. Да, ему приходилось ждать, ожидание настраивало на особый лад, и он с удовольствием перебирал открывшиеся перед ним пути. На губах Адриана частенько бродила улыбка, он наслаждался, вторгаясь в запретные области. Его мысленные странствия отличались теперь необычайной отчетливостью, стали почти осязаемыми, бесплотные ностальгические воспоминания обрели плоть и весомость реальных возможностей.

Смирившись с ожиданием, Адриан не смирился со своим положением, считая его безысходным. Он и представить себе не мог, что просуществует в качестве забытого пассажира в Вокзале до весны. Однако странствие пешком по пустынной степной дороге представлялось ему настолько нереальным, что мысль о нем он хранил в самом дальнем уголке сознания, как последнее, крайнее средство, если вдруг ожидание станет непереносимым. Утешала его надежда увидеть в один прекрасный день фургон бродячего торговца. Именно его прибытие он чаще всего представлял себе и сотни раз проделывал путь по степи рядом с легендарным Гаспаром. Именно такое избавление от плена представлялось ему лучшим и самым желанным: уехав в фургоне, он ничем не был бы обязан своей семье.

Дни проходили за днями, одинаковые, тягучие. Адриан ждал, повторяя про себя, что не все еще потеряно, да и жизнь Вокзала не была для него так мучительно безысходна, как твердил он себе в минуты отчаяния. Больше всего Адриан сожалел об отсутствии книг, с огорчением вспоминая множество томиков, купленных на протяжении многих лет, что стояли нечитаные на полках книжного шкафа, и обещал себе, что непременно прочитает их все. А пока попытался припомнить книги, которые читал во времена студенчества. Но помнил он их смутно, так что пришлось снова заняться собственной жизнью, перевоплощая ее в фантазии и вымыслы. Адриан между тем ел с большим аппетитом и привык за едой выпивать рюмку-другую водки за неимением вина и пива. Табак, купленный у старого Кирилла, у него вскоре кончился, и он с легкостью перешел на местный табак, немалые запасы которого хранил у себя Матиас. Хозяин гостиницы охотно открыл Адриану кредит, а тех денег, что были у Адриана с собой, надолго бы хватило на житье у Милы. Освоившись, Адриан почувствовал себя гораздо уверенней среди грубого местного народа, отшучивался от сержанта Отто и не обращал внимания на дурацкую слежку.

Подозрительность полицейского, надо признать, тоже явно поуменьшилась, хотя он по-прежнему следил за каждым шагом Адриана. Но дурачок Панкрас, отряженный следить за ним, уже растягивал рот в идиотской улыбке при встречах и называл Адриана Айян с тех пор, как тот стал угощать его во время вечерних посиделок водкой. Обитатели Вокзала пока еще держались с Адрианом настороженно, и все-таки с каждым днем он все отчетливее ощущал, что ему уже отвели место, и оно примерно такое же, как у Теодора. Даже поселковые собаки признали Адриана и больше не лаяли, когда он проходил по улице. Колка дров

и долгие пешие прогулки вернули Адриану мускулы и уверенность в собственных силах. Инстинктивная опасливость горожанина при встрече с деревенскими растаяла как дым, Адриан перестал за себя бояться.

Другое дело Мария. Она тоже представляла собой опасность, и она, и желание, которое она возбуждала у Адриана, желание, столь непривычное для него. Отношения их менялись. Мария, становясь все нетерпеливее, уже почти перестала верить, что за Адрианом когда-нибудь придет автомобиль. Однако, вернувшись от кого-нибудь из своих настойчивых любовников, она все еще заботилась о приличиях и превращалась дома в милую молоденькую девушку, в первый же день вскружившую голову Адриану. Они занимались любовью так, словно никого другого у нее в жизни не было, она казалась влюбленной, твердила, что хочет вырваться на свободу, и негодовала на ту жизнь, к которой приучил ее Вокзал. Адриан спрашивал, почему она не отстаивает себя, почему продолжает торговать собой, когда в этом уже нет никакой необходимости, предлагал остаться с ним дома.

— Я же здесь, я могу помогать вам обеим, пока не приедет посланная за мной машина, — твердил Адриан. — Они поймут, что ты влюбилась, и найдут себе кого-нибудь еще. Вот увидишь, они оставят тебя в покое.

Она ответила не сразу, а когда ответила, постаралась обойти затронутую тему.

— Ты уверен, что за тобой приедут? — спросила она. — Что-то они не слишком торопятся... А может, ты все-таки приехал сюда, чтобы поселиться у нас, как Теодор?

Адриан вновь попытался убедить ее, что намерений поселиться у него не было даже близко. Однако необъяснимое отсутствие обещанных спасителей подогревало недоверчивость Марии, да и сам Адриан, похоже, прижился у них в Вокзале. Адриан в ответ повторял одно и то же, никаких других, более убедительных доводов у него в запасе не осталось, и он снова спросил:

— Почему ты им уступаешь? Почему не постоишь за себя? Почему не хочешь, чтобы я помогал тебе?

— Ты хочешь, чтобы я принадлежала тебе одному? Если автомобиль не придет и ты решишь у нас остаться надолго, я стану твоей женой. Этого ты хочешь?

— Мы уедем. О том, чтобы остаться здесь, не может быть и речи. Рано или поздно приедет Гаспар, и мы уедем вместе с тобой в его фургоне. Он обязательно возьмет тебя, потому что мы будем вместе. Я хорошо ему заплачу, и он согласится нас с тобой увезти.

— А если не согласится, ты уедешь один? — спросила она, уставившись в пол.

— Он согласится, Мария! Только бы приехал! Я заплачу ему столько, сколько он попросит. Он же торгаш, в конце концов. Разве нет?

— А я — Мария! *Их* Мария, — заявила она вдруг, и голос ее зазвучал с неожиданной гордостью. — Ты до сих пор так ничего и не понял? Мужчины Вокзала никогда не простят Гаспару, если он увезет отсюда единственную женщину, которую они по-настоящему любят. Гаспар так и говорил мне. Не первый год он отказывается увезти меня, хотя я ему обещала быть только с ним и столько, сколько ему захочется, но он боится. Ты не знаешь здешних мужчин, Адриан. Приходило тебе в голову

задуматься, почему я до сих пор не замужем? Для мужчины, который рад иметь дома привлекательную женщину, прошлое шлюхи не помеха. Я знаю не одного и не двух, кто с удовольствием взял бы меня в жены. Но нет, невозможно, они тоже боятся.

– Чего боятся?

– Что их убьют. Ты, может, думаешь, я набиваю себе цену? Ничего подобного, такое правда возможно. Чтобы сохранить свою Марию, они не раз уже шли на убийство.

– Ты имеешь в виду солдата-дезертира? – ошеломленно уточнил Адриан.

– Первым они убили Жозефа. Это давняя история. Я была совсем девчонкой, когда Отто взял меня силой в первый раз. Вообще-то не совсем силой, потому что я успела раздразнить его. Мне хотелось не меньше его, хотя я, конечно, предпочла бы кого-нибудь помоложе. Но не будь это Отто, меня взял бы Матиас. И я бы не стала сопротивляться, потому что он всегда дарил мне подарки, оглаживая меня, как оглаживают овечку, поставленную на откорм. Но Отто оказался проворнее. Я боялась его, поэтому позволила ему все, что он хотел, не дралась и не ревела. Потом Матиас предъявил на меня права, а за ним и остальные...

– Бедная девочка...

– Да нет, почему бедная? Представь себе, я не чувствовала себя несчастной. Наоборот. Когда Матиас обнимал меня громадными лапищами и снимал с меня трусы, я чуть в обморок не падала от возбуждения, так хотела, чтобы он поскорее в меня вошел. И к жене его ревновала. Знаешь, чего я боялась? Боялась, что Отто захочет меня для себя одного и я долго не узнаю, как любят другие мужчины. И еще мне нравилось прогуливаться среди моих мужчин и ловить на себе их взгляды, когда они были со своими женами, и в любую минуту мог вспыхнуть скандал. Я чувствовала себя настоящей принцессой, меня так и подмывало на всякое разное.

– Надо же! – потрясенный признаниями Марии Адриан не знал даже, что сказать.

– Мила уже овдовела, когда я родилась. К ней ходили многие местные, и она окрестила меня в честь девы Марии, понадеявшись, что Царица Небесная меня убережет. Как видишь, не помогло. У нас с ней это в крови, тут уж ничем не поможешь.

– У твоей матери были любовники? Верится с трудом.

– А вот представь себе, были. Помоложе она была очень даже любвеобильная, а потом вдруг враз постарела и немного тронулась умом. Говорят, отцом мне приходится Илларион, наш пастор, но так оно или нет, доподлинно никто не знает. Но пастор точно не мог без нее обойтись и проповеди свои еле мямлил, когда у Милы были месячные. Старый козел и сейчас называет меня дорогой Людмилочкой, когда хочет со мной потискаться.

– Они убили Жозефа, потому что он попытался тебя защитить?

– Жозеф? Защитить? Еще чего! Когда Жозеф все узнал, он пришел в ярость из-за того, что не был первым. И тут же потребовал своей доли. Мила тоже стала меня уговаривать, мол, он тебе брат, сначала своим, потом чужим. Я бы и согласилась, да терпеть не могла Жозефа, над ним, пьянчугой, весь поселок потешался, а он свои унижения вымещал

кулачищами на нас с Милой. Я отказалась наотрез, но вышло только хуже. Жозеф сначала поколотил меня, а потом взял, и брал, когда вздумается. Мои парни не вмешивались, брат есть брат, он надо мной все права имеет. Но они ему этого не забыли. А когда Жозеф принялся надо мной измываться и, бывало, таких синяков наставлял, что я даже на свидания к ним приползти не могла, тут они ему не спустили. Для начала отмутузили как следует, чтобы образумить. Но он все бил меня и все насильничал, и тогда однажды ночью они покончили с ним в степи, неподалеку отсюда. Я видела его смерть собственными глазами. Меня предупредили заранее, хотели, чтобы я полюбовалась, как его будут кончать. Не скрою, я была довольна, когда гада пришибли как бешеную собаку. Миле они сказали, что Жозеф вскочил в проходящий поезд, вот с тех пор она и ждет, что он вернется тоже на поезде.

— "Они" — это кто? Сержант и Матиас?

— Да, эти двое и другие — словом, все, кто меня любит. Они не совершили преступления, они восстановили справедливость.

— А потом они убили солдата?..

— Да, и солдата... Его звали Стефан, и гадом он не был. Он тоже звал меня в большой город. Я тогда уже поумнела, и мне захотелось уехать отсюда. Мила помогала Стефану, спрятала его, когда Отто надумал его арестовать. Я влюбилась в Стефана, но всем было наплевать на мою любовь. Я дала ему одежду Жозефа, чтобы он мог убежать, но они меня опередили. Не знаю, как они с ним расправились, но знаю, что убежать ему не удалось. Вот так-то. И если я последую твоим советам, жизнь у меня превратится в ад, и за твою я тоже не поручусь... Мы с тобой друг друга не любим, так что и рисковать нам незачем. Я живу здесь совсем неплохо, и если ты мне не веришь, то зря. Плохо мне с одним Теодором, он бесчувственный мужлан и не умеет порадовать женщину. Берет меня молча, я одеться не успею, а он уже уткнулся в проклятые шахматы.

— Но ты все же хочешь отсюда уехать? — пробормотал Адриан, ошеломленный ее откровенностью.

— Конечно, мне хочется жить в большом городе, красиво одеваться, иметь дело с культурными мужчинами вроде тебя. Всем женщинам этого хочется, разве нет? А с деревенскими я бы имела дело только изредка, когда захочется любиться, как любятся у нас в поселке бараны с ярочками, — сказала она и как-то особенно развратно усмехнулась. — Мне Вокзал нравится, здесь мне совсем неплохо, и я не намерена рисковать своим благополучием. Если ты увезешь меня тайком на машине, я согласна, если нет, буду дожидаться другой оказии.

— Мария! Если я тебя правильно понял, тебе даже нравится оказывать мужчинам услуги? А я-то считал, что тебе это претит! — Адриан не мог скрыть гнева и злости.

— Не сердись, моя лапочка, — Мария ласково погладила его отрастающую бородку. — Ты же меня не любишь, так чего сердишься? И ревновать тебе тоже не из-за чего. Когда ты со мной, чем тебе мешают мои мужчины? Женщина помылась, и следа нет, что было у нее с другими. Но они живут здесь, были до тебя и останутся, когда ты уедешь. Если тебе моя жизнь не нравится, увези меня отсюда и поскорее, и я тебе обещаю, что буду только с тобой и столько, сколько тебе захочется. А пока...

— А пока ты подстилка для всего поселка.

— А ты знаешь, что я и теперь чувствую себя принцессой, — сказала она и засмеялась. — В поселке я одна молоденькая, и никто мне не мешает думать, что все до одного мужики по мне сохнут. Да так оно и есть, от меня все без ума. И все рады доставить удовольствие. Может, им кажется, что они мной командуют, но на самом деле я распоряжаюсь ими, как малыми детьми. И чувствую, как их жены просто лопаются от зависти. Все другие девчонки пока маленькие, им меня не заменить. Вот подрастут, и те, что пошустрее и побесстыжее, заменят меня. Так было всегда и так всегда будет. Но когда девчонки опушатся и у них отрастут сиськи, я уже буду жить в большом городе. А пока я совсем не подстилка, а обожаемая всеми принцесса.

— Солдат хотел тебя увезти?

— Увести, пешком, по дороге, представляешь? Совсем с ума сошел. Я, конечно, его любила, но не до такой же степени, чтобы жизнью в степи рисковать. Я хочу уехать с человеком вроде тебя на автомобиле — раз и нету! — а не тащиться полумертвой от жажды и усталости до такого же Богом забытого поселка, где принцесса не я, а другая.

— Мне кажется...

— Ты неправильно представляешь себе моих друзей, Адриан. Они очень милы со мной, дарят подарки, балуют, рассказывают смешные истории о женах и дочках. Даже старики, и те славные. Мы с Милой никогда ни в чем не нуждались. Вот разве только мне в большой город захотелось. Но спеха нет, могу и подождать.

— Все это мерзко! Ты же не любишь их!

— Не сказала бы! Они ждут меня с таким нетерпением, так цепляются! Прямо как утопающие за соломинку. А мне это очень нравится. И конечно же я каждого понемножку люблю. Для женщины главное — желание, которое к ней испытывают, и власть, которой оно ее наделяет. Старушки и дурнушки лишены такой власти, и у них мозги плывут, как у Милы, так что в конце концов они свихиваются на любви к своим сыновьям.

— Ты не права, Мария, женщины могут быть женщинами совсем по-другому.

— Что ты о нас знаешь, Адриан? Лично я знаю это, и это мне нравится. Спроси у своей жены, когда вернешься домой, нравится ей или нет, что она над тобой главная и в постели, и вообще. С тех пор как она тебя заарканила и пришпилила к своей юбке, только принцесса вроде меня может дать тебе передохнуть. Мужчины, поверь мне, если не бесчувственные колоды вроде Теодора или Панкраса, настоящие младенцы. Даже убийца Матиас становится младенцем, когда я обнимаю его ногами и пришпориваю, чтобы побыстрее вошел.

— Мне такое в голову не приходило, — честно сознался пораженный Адриан.

— Останешься здесь, станешь как они и не будешь осуждать моих любовников. А когда придет время и меня заменит молоденькая, ты тоже попросишь для себя кусочек. Почему бы и нет? Таковы мужчины, такими мы их любим, даже если хотели бы оставаться принцессами навсегда. Вот ты сказал, что женат, но ведь не оттолкнул меня, когда я с тобой легла, так ведь? Надеюсь, ты меня не обманешь, и автомобиль рано или поздно приедет. Я привыкла, что мои друзья держат слово.

— Ты так необычно рассуждаешь, Мария. И кто тебя такому научил?

— Знала, когда еще ни с кем не трахалась. Овцы меня всему научили. Видел когда-нибудь, как ярочки баранов заводят? Трясет молоденькая задом, делает вид, что возбуждена до крайности, хоть сейчас седлай, но она просто злит старушек, показывает, что подросла и хочет занять их место. А бараны, бедняги, верят, что она готова к любви, и не могут взять в толк, с какой радости их отогнали. И женщины ведут себя так же.

Этой ночью Мария, распаленная собственными рассказами, готова была любить Адриана еще горячее, еще бесстыднее. Но не вышло. Адрианом овладело отвращение — физическое и душевное — к новой, похотливой Марии. Ему стало неловко за самого себя, за свою тягу к девушке, которая таким странным образом сочетала невинность и похоть. Хотя на короткий миг ему захотелось обладать и новой Марией, с которой он только что познакомился, однако тело отказалось повиноваться посланному мозгом сигналу, и Адриан улегся спать один.

С этой ночи Адриан, встречая Марию, сразу напрягался. Он попрежнему хотел ее, и его нежность к ней с каждым днем возрастала. Но теперь в его желании таилась двойственность, и эта двойственность душила его и сковывала. Адриану никак не удавалось отделаться от образа похотливой сучки, которую он внезапно увидел перед собой и теперь никак не мог забыть. Адриан представлял себе, как бесстыдно она отдается любовникам, по-детски хохоча от удовольствия, вызывая в ответ еще более страстное желание. Насилие сержанта Отто он видел словно собственными глазами, оно преследовало его, наяву и во сне он не мог отделаться от ужасной сцены. Почему-то при этом он слышал звонкий голосок Марии, она рассказывала, как баран седлает ярочек. Нежность и похоть равно терзали Адриана. Мария прекрасно видела его мучения и забавлялась ими, как новой игрушкой. Теперь она играла с ним как кошка с мышкой, то привлекая лаской, то отталкивая циничной грубостью, то деликатничая, то выставляя напоказ похотливую разнузданность. Любящая, скромная молодая женщина напоминала об обещании увезти ее, и волна нежности захлестывала Адриана, но тут же над ним хохотала бесстыжая распутная шлюха. Мария наказывала его за слюнявый романтизм, она его презирала. Особое удовольствие она получала, рассказывая ему о любовниках, о беспутных ночах, словно старалась посильнее ранить его и запачкать.

Поддавшись власти странной, непредсказуемой девушки, Адриан опять и опять уступал ей. Молодость, нежная пухлость тела, гнездышко, переполняющееся влагой от малейшего прикосновения, возбуждали его настолько, что он не мог обходиться без Марии. Однако ее смех и всхлипы удовольствия смущали проснувшегося в нем самца, которого он и сам опасался. Ему казалось, что Мария смеется над соитием вообще, словно не ее хочет насытить мужчина, словно она всего лишь зритель потешного зрелища. Мария словно бы смеялась вообще надо всем на свете — над мужчинами, над их желанием, над торопливыми уколами, которые не ранили ее, а принуждали крепче сжиматься мускулы влагалища. И в то же время, несмотря на смех, она подстегивала и пришпоривала возбуждением самки в течке — реальным или притворным, какая разница! — жаждой принять самца, оглушить его полуобморочными стонами, взять в плен прикосновениями налитых ляжек и влажных губ.

Уже лежа один у себя в постели, он испытывал к себе отвращение, смешанное с гневом и ревностью, а во сне ему снились оргии, в которых участвовала Дева Мария. Но Адриан больше не тешил себя иллюзиями, он стал одним из клиентов.

Мария уже не таила от него приходов и уходов, снова ярко красилась и крикливо одевалась, потрафляя вкусам своих грубых любовников. И вела она себя опять нагло и насмешливо, как в первый день. Ее грубость и бесстыдство ранили его и шокировали, но он продолжал судорожно за нее цепляться, а Мария, когда считала, что настала его очередь ложиться с ней в постель, умела так к нему подластиться, что он терял голову. Адриан впервые открыл для себя чувственность и телесную любовь и, конечно же, не мог устоять перед любовницей.

Днем, совершая долгие прогулки по степи или занимаясь на дворе колкой дров и все яростнее обрушивая на чурбаки топор, Адриан ухитрялся забыть о Марии. Он по-прежнему ждал автомобиля, который не приезжал, и услаждал себя воображаемой жизнью, предаваясь мечтам о том, чего бы ему хотелось. Но он прекрасно чувствовал, как опасна Мария; в сонном унылом поселке она была для него разверзшейся бездной, манила и готова была поглотить. Бессмысленное пребывание в глухом поселке обернулось для Адриана множеством новых возможностей, но все они могли кануть в пустоту из-за этой постыдной связи, которая с каждым днем все крепче забирала его в плен. Адриан интуитивно чувствовал, как теряет частичку души, стоит ему поддаться своему влечению, и это влечение казалось ему таким же гибельным и безнадежным, как гибелен и безнадежен был этот поселок. В противоположность Вокзалу Мария была сама жизнь, хоть жизнь изрядно порочная, и Адриан, успешно справляясь с засасывающим унынием, которым веяло от покосившихся домов и кривых улиц поселка, не в силах был справиться с Марией, ее власть над ним пугала его и ставила в тупик.

Приходя по вечерам в гостиницу, Адриан засиживался допоздна в общей комнате, наблюдая за сидящими там деревенскими. Он пытался понять их и узнать как можно лучше с тем, чтобы никогда не стать на них похожим. С тех пор как Мария снова стала обслуживать всех своих клиентов, он больше не представлял для них угрозы, хотя, вполне возможно, для подозрительного полицейского все еще оставался загадочным чужаком. Адриан сидел, смотрел на неотесанных мужланов и без конца задавал себе вопрос: как могло случиться, что эти грубые чурбаны испытывают точно такую же страсть, что и он сам? Адриан принимал участие и в общих беседах, всегда стараясь свести их на жизнь Вокзала, будто не было для него ничего интереснее поселка и его обитателей. Но дело было не в том, что он восхищался Вокзалом, а в том, что он искал причин презирать и даже ненавидеть его. Он хотел от него отгородиться, пообещав себе, что никогда не станет местным обывателем. Дни текли, и Адриан чувствовал, как к нему подползает липкое безразличие, отнимающее какие бы то ни было стремления. Одиноко бродя по степи, он ненавидел жалкую и постыдную жизнь Вокзала и горько корил себя за двоедушие. Зачем, спрашивается, он смеется дурацким шуткам хозяина гостиницы? Зачем выслушивает запутанные семейные истории местных жителей, какие так охотно рассказывает сержант Отто? Его возмущало собственное молчаливое попустительство грубым нравам, которые он про себя счи-

тал варварскими, и пугала рабская зависимость от Марии. Но как он должен был вести себя, попав в эту злокозненную дыру? Только молчать, не показывая своего отвращения. Противиться жалкому бытованию при Вокзале можно было только про себя. Поддерживая и раздувая внутреннее возмущение Вокзалом, он оберегал себя от обывательской заразы.

Адриан попробовал точно так же бороться с привязанностью к Марии, но большого успеха не достиг. Он не мог утаить от себя, что грубость и даже порочность, бесстыдство и цинизм, которые она больше не прятала, были свойственны и ему тоже, что все это было и в его порывистой и неуравновешенной натуре. Не закрывал он глаза и на то, что испытывает постыдную ревность к любовникам Марии.

Отдушиной служили ему только прогулки на станцию и беседы со старым Кириллом. Адриан привык навещать старика и приходил к нему даже тогда, когда не было надобности относить ему припасы. Начальник станции, похоже, тоже был рад Адриану. Он говорил, что Адриан — последнее напоминание о его железнодорожной службе, и, хотя он прибыл незаконно, Кирилл испытывает к нему ностальгическую приязнь. Кирилл тоже свысока относился к жителям поселка: "Деревенщина, — говорил он о них, — темнота". Сам-то он был человеком бывалым, служил техническому прогрессу, не чуждался современной жизни. Кирилл обходил стороной и поселковую церковь, осуждал слепца Иллариона за малограмотность, за постыдное поведение, не сомневался, что тот давно впал в старческий маразм.

Едва свернув на дорогу к станции, Адриан уже радовался — хоть дурачок Панкрас не встречается каждые пять минут, как в поселке. Видно, сержант не считал нужным следить здесь за Адрианом, дорога-то никуда не вела. А поскольку Адриан согласился относить старику съестное, прогулки его в сторону станции не вызывали ни у кого никаких подозрений. На станции они выпивали с Кириллом по чашке чаю, а потом блаженствовали, сидя на платформе, греясь на солнышке и слушая птиц. Кирилл называл свое отношение к жизни философским и ни за что не желал давать Адриану советов, которые могли бы как-то помочь ему в его плачевном положении.

— Вы сами, молодой человек, упустили свой поезд и остались на моей станции, — сказал он как-то Адриану. — Значит, сами должны понять смысл своего вызывающего поступка или хотя бы придумать сносное оправдание, которое придало бы всему вид осмысленности. Не забудьте поделиться со мной своими выводами. Вы меня озадачили, молодой человек, и я очень хотел бы знать, каков будет конец вашей истории. Не удивлюсь, если вы все-таки окажетесь преступником, которого повсюду разыскивает полиция, или в ближайшем будущем натворите немыслимых дел в поселке. Мне-то это все безразлично, мною движет бескорыстное любопытство. Я просто не могу себе представить, чтобы молодой человек вроде вас, выдающий себя за инженера, преспокойно жил у сумасшедшей Милы в обществе ее шлюхи-дочери! Согласитесь, такое в голове не укладывается.

— У меня нет выбора, — отозвался Адриан. — А что я, по-вашему, должен делать?

— Понятия не имею. Это вы получили то, к чему стремились, тайком соскочив здесь с поезда. Вы и должны сообщить мне разгадку. У Теодо-

ра есть оправдание — его привела сюда одержимость шахматами. А вы для меня тайна, покрытая мраком. Пролейте свет, скажите, какая мания у вас?

— Никакой. Жду, когда за мной приедут.

— Вы излишне надеетесь на других, молодой человек. Хорошо бы в один прекрасный день вы взяли все свои дела на себя. Ведь умрете вы самостоятельно, не правда ли? Так почему бы вам не начать отвыкать от помощи других? Мне-то сдается, что вы сами не слишком торопитесь уехать отсюда. Ваше безудержное стремление покинуть Вокзал сейчас несколько ослабело, как мне кажется. Кто знает, может, пройдет еще какое-то время, и вы станете одним из обитателей Вокзала.

— Я стараюсь набраться терпения и сохранять спокойствие. А что мне еще остается? Пешком по проселку, говорят, не дойдешь, а значит, я должен ждать фургона Гаспара.

— А если ваши помощники прибудут слишком поздно? — осведомился старик с насмешливой улыбкой. — Вы готовы остаться здесь до старости и терпеть, сохраняя спокойствие, как я?

— Я об этом еще не думал. А вы, Кирилл, сожалеете, что остались здесь на всю жизнь? Вам бы хотелось работать на большом вокзале, в большом городе?

— Конечно хотелось, когда я был таким молодым, как вы. Потому-то я и удивляюсь, глядя, как спокойно вы здесь сидите, да еще приехав из большого города. У меня другой случай, я служил на железной дороге и был назначен на эту станцию. Во времена паровозов наша ветка была очень важной. Потом я состарился... Когда линия перестала действовать, я был уже слишком стар, чтобы двинуться с места. Но я по-прежнему служу на железной дороге, я на рабочем посту, при исполнении служебных обязанностей. А вот вы, вы, похоже, бросили свои обязанности с большим удовольствием, и это очень меня удивляет. Все вопросы, которые вы адресуете мне, потому что мы сидим здесь вдвоем, друг напротив друга, вы должны обратить к самому себе. Может, вы задумали жить в тихом, спокойном месте, вдалеке от больших городов и ваших внутренних неурядиц?

— Вы в самом деле философ, уважаемый начальник станции, раз пытаетесь заставить меня задуматься, — отвечал Адриан с улыбкой.

— Я и не думаю стараться, молодой человек. Я спокойно себе отдыхаю, разом и дома и на работе, и болтаю с вами, потому что вы хотите поболтать со мной. Я отлично вас понимаю, вам невыносимо скучно проводить вечер за вечером с поселковыми мужланами. Но загадочность ваша только возрастает. Вы скучаете, ищете общества человека не такого грубого, как они, и все-таки не стремитесь уехать. Очень любопытно. Ведь когда вы еще ехали в поезде, вам хватило энергии и сил на то, чтобы тайно здесь высадиться. Или вами двигал сильный страх? Или вы там скучали еще больше, чем здесь, и поэтому поступили так неожиданно?

— Я сейчас на перепутье, — после долгого молчания отозвался Адриан. — После того как я соскочил с поезда, я попал в ловушку. Мне нужно выждать какое-то время, прежде чем снова пуститься в путь, эта остановка завела меня в тупик. Вот я и прихожу на станцию повидать вас, а еще из суеверной надежды — вдруг поезд уже пришел?

— Но вы же прекрасно знаете, что никакого поезда тут быть не может.

— Я только начинаю это понимать. Но станция — единственное место, связанное с моим появлением здесь, она дорога мне как воспоминание об утраченном прошлом, которое я хотел бы вернуть. Жизнь в поселке удручающа со всех точек зрения, более того, она губительна. Вовсе не ради нее я пошел на риск и сошел с поезда. Здесь меня засасывает гнусное, мерзкое болото, и, боюсь, пройдет немного времени, и я не узнаю того себя, который смог расстаться с удобством и безопасностью своего вагона, с багажом и положением инженера.

— Значит, вот с чем вы расстались... Я был прав, когда не поверил вашим легковесным объяснениям при первой встрече. Поймите, это не упрек — сейчас, я имею в виду, — а в чистом виде любопытство. День проходит за днем, и вы уже не отставший пассажир и не сбежавший тоже. Ваше неожиданное появление на пустынной платформе после того, как поезд ушел, мало-помалу расплылось в воздухе и его уже не различить. Вас тоже не узнать в загорелом бородаче, одетом как простой работяга. С тех пор как вы обосновались в поселке Вокзал и смирились с его скудной жизнью, поезд утратил значимость, он всего лишь мелкая частность в этой новой, большой и куда более нескладной жизни. Вы больше не пассажир, но настаиваете на том, что хотите продолжать прерванное путешествие. Мне это непонятно, и я опять в тупике.

— Что же тут непонятного? Все яснее ясного!

— Какая уж тут ясность? Если вы покинули поезд намеренно, не желая продолжать путешествие, то на что вам жаловаться? Вы прибыли в пункт вашего назначения. Вновь пуститься в путь — значит предпринять другое путешествие, если только вы не пожалели о первом. Но если вы не раскаиваетесь, если Вокзал не отвратил вас от новых путей, то вы совершенно не обязаны снова ехать в старом направлении. Мир велик, молодой человек, в нем множество дорог, и каждая по-своему увлекательна.

— Я согласен с вами. Но Вокзал, мне кажется, слишком уж вдалеке...

— Вдалеке от чего? Помнится, один пассажир рассказал мне историю: какой-то его приятель то ли все потерял, то ли сам все бросил и задумал уехать в Новую Зеландию. Кто-то из друзей спросил его, не кажется ли ему, что Новая Зеландия слишком далеко. И знаете, что он ответил? "Далеко от чего? У меня же нет центра, от которого я бы мог отдалиться. Я переберусь туда и не окажусь ни далеко, ни близко, потому что кроме меня самого у меня ничего нет". Правда, интересно?

— Правда, интересно, даже очень. Но у меня, Кирилл, вот какая проблема: оставшись в Вокзале, я боюсь потерять самого себя, тогда у меня вообще ничего не останется. И моя предыдущая жизнь начинает казаться мне менее опасной, чем то, что меня ждет здесь.

— Не стану спорить, вы попали в форс-мажорные обстоятельства, — с улыбкой подтвердил старичок. — И, разумеется, сейчас самое время подумать об отъезде. Иначе потеряет смысл и ваш прыжок с поезда. Риск погибнуть по дороге ведь не так существенен по сравнению с утратой самоуважения. Меня поражает ваша апатия в столь решающий миг вашей жизни. Хотя вполне возможно, вам недостает зрелости, и поэтому вы не в силах воспользоваться закономерными следствиями вашего

первого шага. Или вы еще не получили от Вокзала всего, что вам нужно было от него получить? Вы один знаете, что происходит. Подождите еще какое-то время, но будьте осторожны, постарайтесь не забыть, где для вас находится север.

10

Время, говорят, наилучший целитель. Собственно, целительно не само время, а некий достаточно протяженный срок, свидетельствующий о том, что жизнь по-прежнему длится, упорно борясь с бедами, находя выходы из тупиков. Справиться с несчастьем — значит испить горькую чашу до дна, насытиться горем, пресытиться им, отрешиться от боли первого удара, притерпеться и обрести новое понимание случившегося. Труд забвения и приноравливания требует времени, а какого именно, зависит от человека и тяжести ран, нанесенных судьбой. Становление, приобщив нас к неспешному движению Вселенной, часто кажется нам умиранием, потому что нас лишили возможности действовать и сопротивляться. Терпеливое ожидание, похожее на стоячую воду, помогает порой накапливать могучую духовную энергию, а иногда приносит конкретное разрешение проблем.

Три недели спустя после своего прибытия Адриан все еще не расстался с Вокзалом, жил у старушки Милы и, казалось, поселился у нее навсегда. Ничего не менялось и в его отношениях с Марией, хотя наваждение чувственности уже потихоньку отступало. Телесная страсть, раскалившись добела, мало-помалу остывала, любопытство насытилось, чары понемногу теряли силу. Объятия еще горячили молодую кровь, но Адриан уже не думал о Марии с утра до ночи и уже не огорчался ее готовности гулять с кем угодно. Он окончательно убедился, что Мария не хочет прилагать никаких усилий, чтобы изменить свою жизнь, раз не случилось чуда, которое в одно мгновенье переменило бы все вокруг. Зародившаяся было в Адриане влюбленность уступила теперь место жалости, и телесные утехи стали тоже чем-то жалким и даже постыдным. Жалость в любви сродни презрению, от нее трудно ждать глубины и нежности.

И все-таки Адриан предложил Марии убежать вместе с ним, уйти пешком по деревенскому проселку, когда заточение в Вокзале станет невмоготу. Он говорил о такой попытке, сам не слишком веря в возможность бегства. Важнее всего ему было услышать ответ Марии, может быть, ради того, чтобы отчетливее понять, как он к ней относится, проверить, насколько связывает его обещание непременно увезти ее с собой. Мария ответила с полной откровенностью:

— Ты что, с ума сошел? Да ни за что на свете! Никогда я не потащусь пешком по степи! Мне и тут хорошо, Адриан. И потом, я же тебе говорила, это невозможно! Пойми, я не собираюсь рисковать своим благополучием ради неведомо чего, что вилами на воде писано. Ты мне уже пудрил мозги, когда сулил автомобиль. Он оказался миражом, обманом, так что не начинай сызнова. И потом, не забывай, что за нами следят. Панкрас и сержант ни на секунду не выпускают меня из виду. Будь осторожен и ты тоже. Они не позволят тебе уйти.

— Почему это?

— Потому что, Адриан. У нас тут было немало покойников, я тебе о них не хотела рассказывать.

— Покойников? Немало? — переспросил он недоверчиво.

— Да, Адриан, покойников. Ты представить себе не можешь, что происходит за закрытыми дверями в домах нашего поселка, забытого на краю света. Жизнь здесь убогая, дикая, как в хлеву или свинарнике. Днем она кажется спокойной и мирной, но ночью здесь царит насилие, раздаются плач и стоны. Вопли наслаждения тоже. Почему бы нет? Водка помогает людям спать тяжелым сном пьяниц, и они считают, что такой сон лучше смертного. Да, у нас было немало покойников. Но люди это были незначительные, незаметные, а ты совсем другое дело. Ты приехал из города С., может статься, ты в самом деле инженер. Твое исчезновение может возбудить беспокойство, привлечь к Вокзалу внимание. А кто у нас заинтересован в расследовании, в расспросах? Да никто! Я уверена, тебе не дадут уйти пешком из опасений, как бы с тобой чего по дороге не случилось, как бы сюда не приехали следователи. Тебя будут держать на привязи, как корову, как лошадь, ожидая, пока не приедет Гаспар. Поверь мне, у тебя ничего не получится. Да и сам подумай, глупо умереть от голода и жажды посреди голой степи. Если ты настолько сумасшедший и хочешь попытаться сбежать несмотря ни на что, будь осторожен и постарайся не подставить меня. Меня никто не должен считать твоей сообщницей! Они не любят тебя, Адриан, ты это знаешь. Тебя здесь в самом деле никто не любит, ты слишком не похож на нас и всегда останешься чужаком. Ты не отсюда, и вообще непонятно, откуда ты. Явился без вещей, без чемодана, как вор, ищущий укрытия, или солдат-дезертир. У тебя ни друзей, ни семьи, ни собственности. Трудно не заподозрить, что ты готов на все, лишь бы выжить. Людей такие пугают. Если бы они не допускали, что ты здесь и впрямь случайно, что тебя где-то ждет семья, они бы тебя давно уничтожили и присвоили себе твои денежки. Держится за тебя одна Мила, и то только потому, что ты заменяешь ей Жозефа и никуда не собираешься уезжать. Мила и настучала на Стефана, солдата-дезертира, когда он собрался отсюда сбежать. Так что будь осторожен, держи ухо востро. А еще лучше, оставайся, нам ведь хорошо с тобой в постели, разве нет?

После этого разговора Адриан почувствовал немалое облегчение: он был свободен, как в первый день, и мог поступать как ему вздумается. Опасность, которую представляла собой Мария, рассеялась сама собой, не оставив по себе ничего, кроме легкой горечи и небольших сердечных царапин. Адриан невольно задумался о собственном семействе и надумал нечто необычное. Но еще до того он задумался о Миле, о Марии, и до него вдруг дошло, что ни для той, ни для другой он ничего не значит. Стоит ему исчезнуть, и они будут жить точно так же, как жили до него, так, как привыкли. Его появление в поселке Вокзал для обеих женщин незначительная случайность, и если он попытается сбежать отсюда один, то не совершит по отношению к ним ничего непоправимого или криминального. Мария, во всяком случае, именно так и считала. Потом он понял, что точно так же к нему относятся жена и сын, для них он тоже всегда оставался чужаком.

"Впрочем, это не совсем так, — продолжал Адриан свои размышления, — хотя по отношению к жене и к Марии я, по сути, в одинаковом

положении. Я назвал бы его патовым, воспользовавшись термином шахматной игры. Я не причина горя здесь, не причина горя там. Кто знает, может, моя жена почувствовала большое облегчение, когда я исчез? Может, она даже наслаждается моим отсутствием, радуясь, что наконец-то ей никто не досаждает. А чем она порадовала меня в семейной жизни? Местом инженера на заводе своего отца? Мной она никогда не была довольна и не будет. Она и сына заполучила, буквально вымотав меня вздохами и жалобами на тоску и скуку. Бедный паренек! Что ж! Ничего не поделаешь! Пусть сама теперь им занимается, ваяя идеал, который надеялась изваять из меня. Жаль, конечно, но приходится признать, что мы с ней ошиблись оба и теперь настала пора расстаться. А если быть совсем честным, то приходится признать, что мы уже расстались. В самом деле, по какой дурацкой прихоти судьбы я должен всю жизнь таскать на руках эту, видите ли, принцессу, эту фею домашнего очага, которая в постели в сто раз хуже простой деревенской девки? Обречь себя пожизненно на жалкие постельные пантомимы все равно что навечно обречь себя на здешнюю нищету. А остаться навсегда здесь, в этом всеми забытом поселке, значит, быть погребенным заживо! Так пусть сама разбирается в дальнейшем со своими проблемами, что, вполне возможно, уже и делает. На взгляд ничего общего, а суть одна: как Мария, она будет продаваться за положение в обществе", — заключил он, подведя черту под своей семейной жизнью.

Адриан вспомнил, как ненавидит Мария Теодора, единственного, кто остался глух к ее очарованию принцессы и нуждался только в ее теле крестьянки. Она имела все основания ненавидеть его. У Теодора была страсть, какой не было ни у кого из жителей поселка, — игра в шахматы, вот кто заменял ему жену и подругу. И если он иногда прибегал к услугам бесстыдной девчонки, то только ради того, чтобы оттенить свою великую страсть, потому что ни на миг не забывал о ней. Ну и был ли так порочен Теодор, как говорила о нем Мария? Заслуживал ли он ее порицаний и осуждений? Задав себе этот, казалось бы, неуместный вопрос, Адриан, будто в кривом зеркале, вдруг увидел себя совершенно иными глазами. Своими собственными усилиями он разверз у себя под ногами пропасть, и она росла, пожирая одно за другим все, что, казалось, было его неотъемлемым достоянием: манеру одеваться, профессию (он работал инженером на химическом заводе). Цинично улыбнувшись, Адриан признался себе, что инженером стал в подражание отцу, решив следовать наиболее легким, уже проторенным путем, и к тому же порадовать дорогого родителя. И тут же вспомнил, как увлекался чистой математикой и как бросил ее еще в университете, потому что занятия наукой не сулили в будущем больших материальных благ. Адриан не сомневался: если сумеет покинуть Вокзал, впредь будет тверже и мужественнее; по сравнению с пережитым испытанием все будущие перемены покажутся ему забавными мелочами.

Адриан честно признавался, что новые решения, рожденные, казалось бы, пустяком, случайной задержкой на степном полустанке, далеки от общепринятых или, точнее, идут с ними вразрез. Но отступать не собирался. Абсурдная жизнь Вокзала, лишившая его привычного быта, подействовала на него как волшебное зеркало: он различил и в собственной жизни много чуждых нелепостей. В его глазах смертельный

риск ради спасения из капкана и отказ от моральных устоев, ведущих к порабощению, стали равнозначны.

* * *

Разговоры с Кириллом укрепляли Адриана в новом самоощущении. Нет, начальник вокзала не переменил образа мыслей и не стал давать Адриану советы. Дело было совсем в другом. Привычка к жизни без быта на полустанке породила в старике своего рода отстраненность, и что-то отрешенное часто звучало в его словах, настраивая Адриана на новый лад. Старичок испытывал к Адриану приязнь сродни отеческой, но никогда бы не отважился ее обнаружить. В один прекрасный день Кирилл был особенно словоохотлив, и, слушая его, Адриан словно бы уловил важный сигнал.

— Вокзал, — рассуждал Кирилл, — место пересадок. Я, конечно, повторяюсь, потому что не раз уж вам толковал об этом. Кроме железнодорожника вроде меня, никому и в голову не придет поселиться на вокзале. Да и железнодорожник на вокзале тоже временное лицо, так как его долг перемещаться с вокзала на вокзал и следить за путями для других пассажиров. Помните лодочника, который перевозит души умерших через реку забвения? Так вот, железнодорожный служащий точно такой же проводник, он всегда в движении, поддерживая другой движущийся поток. Я, к примеру, работал механиком на паровозе, а потом уже стал начальником станции. Теперь, пользуясь старыми расписаниями поездов, я продолжаю мысленно странствовать по всей Европе. Для перемещения в реальном пространстве я слишком стар, но мысленные путешествия меня не утомляют. А вот вы, молодой человек, меня удивляете своей инертностью. Если бы я учился столько, сколько вы, я стал бы настоящим путешественником, а не служащим на железной дороге. Вы можете заработать себе на жизнь где угодно, вам не обязательно служить. Однако ходят слухи, что вы тайком прибыли к нам со странным намерением изучить мое ремесло и занять мое место, когда меня уже не будет на этом свете. А я себя спрашиваю, чем вы скрасите себе жизнь на старости лет, если не переживете ничего интересного, о чем стоит вспомнить в старости? И еще: с какой стати вы все время спрашиваете совета, когда все и так у вас перед глазами? Взгляните вокруг по-новому, найдите новую точку зрения, только и всего. Мне кажется, в вас маловато творческого начала, что весьма странно для инженера. Похоже, вы уже настолько сжились с деревенскими, настолько отупели, что готовы совершить очередную глупость и попробовать выбраться отсюда по их никуда не годящемуся проселку.

— А что же мне делать? Так и жить здесь?

— Пораскиньте мозгами, господин инженер! Вокзал — место пересадок, зато поселок — глухое захолустье, затерянное на краю света, я бы назвал его Иудиной задницей, если бы вы мне позволили такое смелое выражение. А по этой ветке никто не ездит! — воскликнул он, обхватив руками голову. — Почему вы не задумались об этом?

— Вы хотите сказать... — Адриан уставился на рельсы, высоко подняв брови.

— Я ничего не хочу сказать, молодой человек. Но раз вы сами об этом подумали, то почему бы вам так и не поступить? Вы же путешест-

вовали по железной дороге, если я правильно запомнил ваши первоначальные объяснения? Ну так продолжайте ваше путешествие. Вам не пришелся по вкусу поезд, вы сделали пересадку. Если по-честному, откуда вы ехали?

— Я ехал с курорта, с пляжа, с юга. Проводил на юге отпуск.

— Если вам не понравился поселок, поменяйте направление, и все дела. Отправляйтесь снова на пляж, отдыхайте и разбирайтесь с вашей жизнью. Там вам будет куда лучше, чем здесь. Может быть, на пляжном песке и началась ваша самоизоляция. А может, не на пляже, а еще раньше. Но вы дождались моей станции, чтобы осуществить задуманное, хотя это было ошибкой. Вы допустили ее из-за вашей нерешительности, сомнений и колебаний. Я правильно вас понял? Ну так возвращайтесь в исходный пункт и начинайте все по-новому.

— А что, можно идти по шпалам? — осведомился Адриан, удивившись собственному невежеству.

— Скажу вам только одно: путь по шпалам не самый каменистый. И потом, этот путь привел вас сюда. Вы не рискуете потеряться, забыть, проснувшись утром, в каком направлении двигались. Можете счесть меня глупцом, но поскольку вы мне кажетесь тугодумом, я напомню, что удачливые люди умеют ориентироваться по солнцу, — прибавил он с насмешливой улыбкой. — По шпалам получится дальше, чем по проселку, лье около восьмидесяти, если мне не изменяет память. Сначала наша ветка, а потом основная дорога пойдет огибать холм за холмом. Но идти вам будет куда легче: неподалеку от путей наверняка найдутся цистерны с водой. Другое дело, что на нашей ветке вы не встретите ничего, что обычно встречается на железных дорогах, разве что увидите экспресс, когда окажетесь на главном направлении. Но ясное дело, ради вас экспресс не остановится. Даже если вы ляжете поперек путей, он промчится и ничего не заметит. А вот на проселке у вас есть слабая надежда повстречать фургон Гаспара или какого-нибудь еще крестьянина. Возможно даже, ваш пресловутый автомобиль, который родня должна отправить за вами. Но я-то считаю, что всеми этими иллюзорными возможностями лучше пренебречь. Когда рискуешь всерьез, когда речь идет о жизни и смерти, мне кажется, рисковать лучше цивилизованно, а не как грубый темный поселянин.

— Отличный совет!

— Заметьте, я не даю никаких советов, я просто-напросто размышляю вслух. Должен сознаться, что лично мне решение вернуться обратно по железной дороге кажется наиболее грамотным. Удалившись в обратном направлении, вы как бы аннулируете ваше подпольное прибытие, совершенное, скажу прямо, против всяких правил. Таким образом, вы исчезнете и из моего поля зрения как ревностного службиста и начальника станции. Способ мало употребительный, что правда, то правда, уставом он не предусмотрен, но тем не менее он позволит мне закрыть глаза на ваши перемещения. Если же вы отправитесь в направлении ушедшего поезда, вы будете упорствовать в своих правонарушениях. Раз вас не устроило это направление тогда, почему оно устроит вас теперь? Разве только...

— Что? Я вас слушаю.

— Разве только вы натерпелись такого страху, что в дальнейшем постараетесь скрыть ваше уклонение в сторону, как школяр-прогульщик, которого схватили на половине дороги. Так тоже бывает. Мне трудно сказать, насколько успешным окажется ваше путешествие, потому что я не знаю никого, кто бы его совершил. Но если вы дорогой умрете, что весьма вероятно, то умрете, не добравшись до моей станции, умрете на территории, не подведомственной полномочиям начальника станции "Вокзал". Вы понимаете, что я имею в виду? По сути, получится, что вы никогда сюда не приезжали, и таким образом вы избавите меня от груза ответственности, который так тяжело меня гнетет. Зато если вы, высадившись на моей станции с поезда, погибнете на поселковом проселке, вопрос с вами останется открытым, и я до конца своих дней буду неспокоен. Надеюсь, вы не желаете мне такой неприятности?

— Конечно, я не сделаю вам такой гадости, особенно после того, как вы дали мне такой хороший совет.

— Я повторяю еще раз, мсье инженер, я ничего вам не советую и даже не желаю знать, каковы ваши намерения. Просто-напросто я, будучи служащим железной дороги, размышляю и размышляю как железнодорожник, а не как обыватель или бродяга, вот и все. А поскольку вы упорно меня посещаете, я вынужден размышлять в вашем присутствии. Но не вздумайте сказать после этого, что я вам что-то посоветовал. Это будет ложью. И еще признанием в слабости характера, в отсутствии воображения, в боязни взять на себя ответственность за собственную судьбу. Вы, наверное, забыли, что свойственная вам болезненная нерешительность успела доставить вам множество неприятностей? К вашей смерти я не желаю иметь никакого отношения! Вы меня поняли? Если не готовы рисковать, не трогайтесь с места. Живите себе мирным обывателем поселка Вокзал и не приходите больше ко мне на станцию, разыгрывая из себя пассажира. Решите, кто вы, раз и навсегда, а то зима, которая уже не за горами, решит все вместо вас.

— Большое спасибо, господин начальник станции. Мне будет вас не хватать, дорогой Кирилл, — сказал Адриан с искренней нежностью к старику.

— И мне будет не хватать вас, Адриан. Но это не основание для того, чтобы здесь оставаться. Не знаю почему, но вы заставили меня вспомнить старинное присловье. Я слышал его по поводу настоящих путешественников, не тех, что меняют один вокзал на другой и ни с места. Звучало оно примерно так: "Не обгоняй, мне за тобой не угнаться. Не иди следом, я тебе не поводырь. Пойдем рядом, и мы непременно куда-нибудь придем". Хорошо сказано, правда?

— Очень хорошо, — отозвался Адриан задумчиво. — В самом деле хорошо, если у тебя есть компаньон или компания, чтобы вместе пуститься в путь. Но если ты один-одинешенек, присловье тебе ни к чему.

— Человек никогда не бывает один, юноша. Впрочем, нет, бывает, если еще не встретил друга, если вы друг с другом еще не нашлись. Разве это не повод, чтобы пуститься бродяжничать в поисках своей собственной судьбы. И не забывайте, что человек всегда наедине с самим собой, каждый наедине со своим собственным демоном, а это совсем недурная компания. Так что присловье всегда пригодится, если оно и мудрое, и складное.

* * *

Из суеверного страха Адриан не поделился ни с кем своим решением. В день, когда Матиас попросил его отнести съестные припасы начальнику вокзала, он опять лег с Марией в постель. На этот раз он любил ее с бесконечной нежностью и нашел удивительно проникновенные слова, чтобы выразить свою благодарность за то, чем она стала в его судьбе. Адриан признался, что вместе они в последний раз, потому что дня через два или три он уйдет отсюда. Мария всплакнула и принялась уговаривать его остаться. Он обещал подумать, чтобы она успокоилась и заснула без тревог.

Среди ночи, когда поселок спал себе крепким сном, Адриан взял мешок со съестным, положил туда хлеб, большую бутыль с водой, старую плащ-палатку, которую солдат-дезертир оставил когда-то в дровяном сарае, и двинулся в путь. На столе в кухне он положил деньги для Милы и записку, написав, что отправляется к себе в С. степным проселком. Деньги он оставил почти все, забрав с собой несколько бумажек на тот случай, если действительно куда-нибудь доберется.

Начинался сентябрь. Ночь была такая же теплая и звездная, как и та, первая, когда он шел по этой дороге впервые. Насколько же сейчас тверже и уверенней шагал Адриан! Мешок не сильно давил ему на плечо и будет давить еще меньше, когда он вытащит из него водку и оставит ее на станции Кириллу. Шел Адриан легко и радостно, не сомневаясь, что никто не станет его искать на железной дороге, тем более в обратном направлении, которое вело к морю, пляжу, на юг. К тому же у него был немалый выигрыш во времени: старушка Мила проснется часов через шесть, не раньше. "А читать-то она умеет?" – задал вдруг Адриан себе вопрос.

Впервые за долгое-долгое время Адриан чувствовал себя совершенно свободным, испытывая счастливое доверие к окружающему, – он был действительно один, шел навстречу настоящему приключению, рисковал своей собственной жизнью и никому не был обязан отчетом.

№: Роман Джонатана Литтелла "Благоволительницы"

"Казнить нельзя помиловать"

Написанный на французском языке девятисотстраничный роман американца Джонатана Литтелла "Благоволительницы", в котором от лица вымышленного персонажа, эсэсовца Максимилиана Ауэ, повествуется о массовых убийствах, совершенных во время Второй мировой войны, вышел в свет два года назад, в августе 2006-го. Заглавие и композиция книги нуждаются в некоторых пояснениях; как представляется, уместно рассказать и о том, какую бурную реакцию он вызвал в литературных кругах.

Название романа отсылает к мифологическим богиням мщения Эриниям, преследовавшим Ореста за убийство матери. Убийцу Афина Паллада оправдала, а гнев богинь усмирила, пообещав, что все афиняне будут их почитать. С тех пор как Эринии сменили гнев на милость, их называют Эвменидами, то есть "Благоволительницами". Хронология событий в романе выстроена в соответствии с военными действиями, происходившими во время Второй мировой войны на Восточном фронте. Композиция "Благоволительниц" повторяет музыкальную форму сюит любимого композитора Литтелла — Жан-Филиппа Рамо. Книга поделена на семь частей-глав: за токкатой-вступлением следуют шесть классических танцевально-песенных фрагментов — аллеманда, куранта, сарабанда, менуэт, ария, жига. Завершается повествование торжественным макабрическим танцем — "Пляской смерти", напоминающей вагнеровские "Сумерки богов".

Книга не только стала главным литературным событием сезона (она отмечена самыми почетными наградами: Гонкуровской премией и Гран-при Французской академии), но и — что гораздо важнее — распродавалась огромными тиражами задолго до объявления результатов голосования жюри. Вскоре о ней заговорил весь мир: в 2007-м ее перевели и издали в Бразилии, Италии, Испании, в 2008-м — в Германии и Израиле (в этих странах книга вызвала особенно бурные дискуссии), к началу следующего года готовят английскую версию романа — права приобрели издательства Англии, США и Канады. Американца Литтелла даже удостоили французского гражданства, в котором до выхода "Благоволительниц" очень долго отказывали — по причине *заурядности биографии*.

В оценках романа критики расходятся и не перестают посвящать ему не только обширные статьи, но и целые монографии. Например, известный эссеист и теолог Пьер Доза написал о "Благоволительницах" книгу "Заурядный Холокост", историки Эдуард Юссон и Мишель Терещенко детально разобрали произведение (обыграв его название) в работе "'Попустительницы': Джонатан Литтелл и изображение зла", а член Французской академии Пьер Нора выпустил целый номер возглавляемого им журнала "Деба", где от первой до последней страницы говорится о гонкуровском лауреате 2006 года и его произведении.

Среди достоинств романа исследователи называют достоверность в описании мельчайших деталей: "Читая Литтелла, мы узнаем то, о чем историки нам обычно не рассказывают. Уничтожение евреев? Избитая тема. Зачем столько раз

© А. Лешневская, 2008

повторять одно и то же? Однако Литтелл как будто тычет нас носом в кровь, в грязь всех этих преступлений и спрашивает: 'Ну а это? Об этом вы тоже знаете?' И оказывается, что не знаем, или по крайней мере никогда не смотрели на происходящее так, как предлагает взглянуть нам автор 'Благоволительниц'", — пишет газета "Либерасьон", а постоянный автор французского журнала "Мир книг" Самюэль Блюменфельд замечает: "Неосознанное стремление нацистов к геноциду, беспрецедентно хорошо организованное и с такой точностью описанное Максом Ауэ, преподнесено нам не просто как исповедь. Нам протягивают зеркало, ибо от этих 'людей-братьев' нам не откреститься, сославшись на дальнее родство. Вызывать такую реакцию у читателя под силу только настоящим мастерам, к каким я и причисляю Литтелла".

Ругают Литтелла не меньше. Так, литературный критик Флоран Брэйя сочла главного героя "слишком искусственным" и сравнила с пробежавшим через всю Америку Форрестом Гампом из нашумевшего одноименного романа Уинстона Грума (у нас в стране широко известна его экранизация). Славящийся глубиной критических разборов молодежный журнал "Энрокюптибль" назвал роман несовременным: "Как в 2006 году можно писать в манере XIX века? Словно Пруста, Джойса, Фолкнера и Роб-Грийе не было и в помине. Словно запредельные зверства можно спокойно описать полированным академичным языком".

Самые острые разногласия вызывает содержание романа. С одной стороны, автора обвиняют в эстетизации зла и сочувствии преступникам, с другой — считают, что точность и беспристрастность Литтелла способствуют пониманию механизмов насилия и тем самым помогают предотвратить подобное в будущем.

Бушевавшие вокруг романа страсти привели к тому, что Литтелл перестал давать интервью. Исключение он сделал для представителя израильской газеты "Гаарец", что вполне понятно. На обвинения критиков писатель в этом интервью отвечает: "В принципе, жертвы меня интересуют намного меньше, чем палачи. Совершают поступки и тем самым изменяют действительность как раз палачи. Жертву понять очень легко: с человеком происходит нечто ужасное, и его реакция вполне очевидна. Чтобы составить четкое представление о случившемся, анализировать тут нечего. А вот преступник устроен сложнее, равно как и система, толкнувшая его на преступление. Если попытаться дать слово виновному, из услышанного можно извлечь урок, который изменит наше нынешнее мироощущение".

Что бы ни писали критики, ясно одно — появился новый значительный писатель. Пока российские издатели раздумывают, стоит ли переводить книгу Литтелла на русский язык, редакция "ИЛ" решила познакомить читателя с "Благоволительницами" опосредованно, представив взгляд на роман с двух "берегов" — французского и российского. Мнением о прочитанном делятся литературоведы Жорж Нива и Сергей Николаевич Зенкин.

А. Лешневская

Сергей Зенкин

Джонатан Литтелл как русский писатель

Когда и если русский читатель станет читать книгу Джонатана Литтелла (то есть когда и если какой-нибудь издатель решится выпустить в русском переводе этот огромный том, рассказывающий о не самых приятных вещах), она неизбежно вызовет у него не предусмотренные автором ассоциации с сериалом "Семнадцать мгновений весны". И тут и там действие происходит в немецких СС, и тут и там встречаются одни и те же исторические персонажи: Гиммлер, Кальтенбруннер, Мюллер, Шелленберг, Борман. И тут и там эсэсовцы — по крайней мере многие из них — изображены "по-человечески", у них понятные, типичные характеры, проблемы, недостатки, а кое у кого и достоинства (скажем, образованность, художественный вкус, критическое мышление), их внешность и быт не лишены эстетической привлекательности. И тут и там главные герои служат примерно в одних и тех же чинах, общаются по службе с высшими лицами нацистской иерархии, но сами остаются "чужими среди своих". В какой-то момент может даже возникнуть головокружительное чувство соприкосновения двух историй, созданных в разных странах, в разное время и с разными намерениями: так, у Литтелла упоминается о том, как Мюллер в апреле 1945 года "искал 'крота', вражеского агента — кажется, в окружении одного из высших чинов СС"[1], — позвольте, мы же знаем, это ведь он нашего Штирлица искал?..

Разумеется, не надо преувеличивать это случайное, внятное лишь для наших соотечественников сближение. Хотя герой и рассказчик "Благоволительниц"[2], оберштурмбанфюрер Макс Ауэ, преступен перед рейхом (по неполитическим статьям), скрывает свою истинную жизнь и обманывает следователей, но он никакой не иностранный агент и служит этому рейху не за страх, а за совесть, не останавливаясь перед самыми жуткими делами. На его примере видно, чем реально должен был заниматься какой-нибудь Штирлиц, чтобы сделать карьеру в СС, — прежде всего это участие в массовых убийствах, в "окончательном решении еврейского вопроса". Правда, Ауэ обычно как-то умудряется служить не прямым исполнителем, а наблюдателем, офицером связи, аналитиком, разработчиком более или менее "гуманных" проектов реорганизации концлагерей. В разговоре с приятелем-врачом он пытается отмежеваться от настоящих палачей: "Я наблюдаю и ничего не делаю", тогда как "некоторые из моих дорогих коллег здесь — сущие мерзавцы" (они "практи-

© Сергей Зенкин, 2008

1. Jonathan Littell *Les Bienveillantes.* — Paris: Gallimard, 2006.

2. Как известно, таков смысл имени Эвмениды, которым древние греки опасливо называли злобных Эриний, богинь мщения. Не будет ошибкой так и переводить название романа — "Эвмениды", — но поскольку автор все же выбрал для заголовка не греческий, а французский вариант "Les Bienveillantes", то и я предпочитаю пользоваться не греческим словом, а русским неологизмом.

куют без наблюдения", — подхватывает собеседник, обыгрывая двусмысленность этих медицинских терминов). Но в другой беседе, с сестрой, он без всякой словесной игры признает: наблюдатель расстрелов — такой же их участник, как и те, кто стреляет. "Когда приходится это делать, не важно, кто именно это делает. И я считаю, что в плане ответственности смотреть — то же самое, что делать самому". К тому же оставаться простым свидетелем удается не всегда: Макс Ауэ участвует-таки в массовом расстреле евреев в Бабьем Яру, командует группой палачей и сам добивает раненых — а потом, вернувшись к тихой роли наблюдателя, изготовляет роскошный фотоальбом с картинами этой "акции", чтобы командование могло с гордостью преподнести его высшему начальству. Во время другой "акции" на Украине ему приходится отвести за руку к расстрельному рву испуганную еврейскую девочку и отдать ее эсэсовцу-палачу с "довольно глупой" просьбой: "Повежливее с нею..."

Значительная часть действия "Благоволительниц", включая большинство самых страшных сцен, происходит на территории Советского Союза, и наша страна вообще играет большую роль в книге и в личной судьбе ее автора. Джонатан Литтелл — сын американского журналиста и писателя Роберта Литтелла, автора известных шпионских романов, потомок еврейских эмигрантов конца XIX века, чья фамилия Лидские[1], по-видимому, указывает на происхождение из нынешней Белоруссии. Сам он родился в Нью-Йорке в 1967 году, вырос во Франции (отсюда его билингвизм и решение написать свой роман по-французски), а в 1993—2001 годах, окончив Йельский университет, работал в разных странах мира как сотрудник одной из гуманитарных организаций; он провел два года и в России, в частности в Чечне, где однажды подвергся нападению каких-то повстанцев/бандитов, был легко ранен и чуть не попал в заложники[2]. С детства увлеченный историей Второй мировой войны, особенно на Восточном фронте, он впервые стал думать о своем будущем романе еще в университете, увидев на фотографии "труп русской партизанки, убитой нацистами под Москвой и превращенной в икону советской военной пропагандой"[3], — то есть Зои Космодемьянской, чье имя упомянуто в "Благоволительницах", а сам эпизод казни (другой, вымышленной партизанки) перенесен в Харьков, поскольку герой романа проходит службу на южных направлениях фронта — на Украине, Северном Кавказе, в Сталинграде. Джонатан Литтелл, знающий русский язык, специально ездил по этим местам, осматривал натуру, основательно изучал историю. Сдержанно, с почти научной объективностью он рассказывает об ужасных и отталкивающих фактах: о массовых расстрелах заключенных в западноукраинских тюрьмах НКВД сразу после начала советско-германской войны, о еврейских погромах, устроенных украинскими националистами после захвата этих приграничных городов немцами, о русских и украинских "вспомогательных добровольцах" СС, которым нацисты поручают самые грязные дела (впрочем, один из них, ординарец Макса Ауэ в окруженном Сталинграде, честно служит немецкому офицеру, несколько

1. См. интервью Дж. Литтелла израильской газете "Гаарец" (Sat., June 21, 2008, Sivan 18, 5768).
2. Paul-Eric Blanrue *Les Malveillantes: Enquête sur le cas Jonathan Littell.* Scali, 2006, p. 36. Это одна из нескольких книг, уже написанных о Литтелле и его романе.
3. *Le Figaro Magazine*, 29 décembre 2006.

раз спасает его от смерти, хотя и не строит иллюзий относительно участи, ожидающей его самого после взятия города советской армией), об убийствах и насилиях, творимых русскими солдатами в оккупированных странах на исходе войны[1]. В мыслях и разговорах действующих лиц неоднократно всплывает тема родства двух сильных и жестоких режимов – немецкого и советского. Нацисты, понятно, оправдывают этим свои преступления – дескать, не мы одни так себя ведем, – но в подобных сравнениях звучит и искреннее восхищение, даже признание некоторого превосходства своих врагов. Русские, размышляет Макс Ауэ, откровеннее немцев в своей жестокости, меньше прикрывают ее благоприличными эвфемизмами; в Сталинграде пленный советский комиссар доказывает ему преимущество мировых притязаний коммунизма перед этнической ограниченностью нацизма: "для меня национал-социализм – это ересь внутри марксизма"; когда же Ауэ рассказывает об этой поразившей его встрече французскому приятелю – профашистскому литератору Люсьену Ребате (историческое лицо), тот разделяет его впечатление: "Знаешь, я всегда восхищался большевиками. <...> Не будь Гитлера, я, возможно, стал бы коммунистом – кто знает". Русские и советские мотивы проникают не только в политическую идеологию, но и в личную жизнь героя: со своей сестрой он тайно переписывается молоком, используя его как симпатические чернила: "Мы придумали это, когда читали (разумеется, тайком) биографию Ленина, найденную у букиниста".

Однако между книгой Литтелла и Россией есть еще и другое, не менее важное соотношение: в романе широко присутствует русская литература. Параллели с нею не раз проводились критиками; некоторые из них – слишком банальные, и автор справедливо их отводит, например, сопоставление этого большого исторического повествования с "Войной и миром". Сходства с творчеством Достоевского он тоже склонен не признавать, но в данном случае уже менее обоснованно: и в "Преступлении и наказании" и в "Благоволительницах" герой совершает убийство топором, мучается кошмарами, действует в бессознательном состоянии... И уж совсем бесспорны реминисценции из "Жизни и судьбы" Гроссмана, откуда в книгу Литтелла перекочевал эпизод спора между нацистским офицером и пленным комиссаром, и особенно – из "Героя нашего времени" Лермонтова. Интеллигентному эсэсовцу, доктору права Максу Ауэ война с Россией не мешает восхищаться русской культурой, и, оказавшись осенью 1942 года в Пятигорске и Кисловодске, он не только читает (по-русски!) своего любимого автора, не только посещает его музей и место последней дуэли – он еще и сам начинает жить как лермонтовский Печорин. Рядом с ним, словно по волшебству, появляется персонаж, соответствующий Вернеру из "Княжны Мери", – умный и симпатичный немецкий врач. Поссорившись с другим эсэсовским офицером – жестоким негодяем, который, оправдываясь перед коллегами за свою "неарийскую" внешность, лютует над беззащитными евреями, Ауэ вызывает его на дуэль в точном соответствии с сюжетом

1. Справедливости ради надо сказать, что действия западных союзников показаны не более гуманными: в романе подробно описываются их смертоносные авианалеты на Берлин, по поводу которых один из нацистских вождей высказывает гротескную (но, собственно, что в ней абсурдного?) идею: "После победы надо будет организовать суды над военными преступниками. Виновные в этих зверствах должны понести ответственность".

Лермонтова (убитого спишем на партизан...). Его самоидентификация с автором "Героя нашего времени" может толковаться как очередное нелицеприятное уподобление России и Германии: у нас ведь нечасто вспоминают, что Михаил Юрьевич Лермонтов участвовал в кровавых карательных экспедициях против горцев[1]. А самоотождествление с Печориным вообще выводит Макса Ауэ за пределы исторической действительности, открывает перед ним, по словам также любимого им французского писателя Мориса Бланшо, "пространство литературы" — пространство неопределенности, зыбкости, находясь в котором "никогда не знаешь, действительно ли ты в нем находишься"[2].

Присутствие России/Советского Союза в "Благоволительницах" может по-разному восприниматься по разные стороны границы. У нас книга Литтелла способна прозвучать болезненным, но полезным напоминанием о прошлом, расчет с которым до сих пор не состоялся до конца, — в частности, о том, что наш народ страшнее многих пострадал от Второй мировой войны, но и сам несет долю ответственности за ее жестокости и даже за ее разжигание. На Западе же, где проведение параллелей между гитлеровским и сталинским режимами часто встречают с недоверием, усматривая тут попытку смягчить ответственность нацистов, объяснить их политику необходимостью отвечать на советскую угрозу и т. д.[3], — книга Литтелла (где подобные идеи действительно высказываются — но лишь устами самих нацистов!) неизбежно должна была встретить, и действительно встретила, возмущенную критику за "профанацию", банализацию памяти об истреблении евреев, за отрицание исключительности этого преступления[4]. Память о геноциде окружена культом, и в таких условиях реминисценции из классической литературы, помогающие увидеть в персонаже-эсэсовце не просто врага и преступника, но и мыслящего, чувствующего человека, тоже могут читаться как поругание святынь, "сведение свидетельства к литературе"[5], кощунственная попытка дать слово палачу, а не жертвам. Этот перенасыщенный интертекстами роман легко способен вызвать реакцию отторжения у поборников благочестивой документальности: дескать, постмодернистские игры докатились и до Холокоста.

На самом деле проблема стара: литература действительно все превращает в слова, в условные формы — даже самый страшный документ, самое трагическое свидетельство. Когда в 1952 году Робер Мерль выпустил роман "Смерть — мое ремесло", то писатель и поэт Жан Кейроль, сам бывший узник немецкого лагеря, осудил эти вымышленные мемуары коменданта Аушвица за недопустимую беллетризацию исторической трагедии. Между тем роман Мерля (переведенный на русский язык) был

1. Б. М. Эйхенбаум *Мой временник.* — СПб.: Инапресс, 2001, с. 456. Трудно сказать, насколько это известно Литтеллу, вообще-то хорошо осведомленному в нашей истории. О кавказских "зачистках" образца XIX века говорится в "Казаках" Льва Толстого, глава XV: "...ваши черти солдаты в аул пришли <...> ребеночка убил какой черт, взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то?" Аналогичный эпизод есть и в "Благоволительницах" Литтелла, дело происходит в 1941 году на оккупированной Украине.
2. Так сам Литтелл объясняет это понятие в интервью (*Le Monde des livres*, 16.11.2006).
3. У нас до сих пор мало известен знаменитый "спор историков" в Германии 1980-х годов по этому вопросу, в котором участвовали, в числе прочих, историк Эрнст Нольте и философ Юрген Хабермас.
4. Так, в частности, оценивает ее французский эссеист и переводчик Пьер-Эммануэль Доза: Pierre-Emmanuel Dauzat, *Holocauste ordinaire*, Bayard, 2007, p. 53.
5. Ibid. p. 181.

довольно непритязательным, добросовестно-натуралистическим повествованием. Случай Джонатана Литтелла гораздо сложнее. Писатель проделал огромную работу над источниками, его книга не имеет ничего общего с безответственной псевдоисторической беллетристикой. Ее девятьсот плотно набранных страниц полны точных фактических данных: имен, географических названий, цифр, — и за два года, прошедшие после ее выхода, самые придирчивые историки нашли в этой массе фактов лишь кое-какие мелкие ошибки, не подрывающие достоверности целого. Но вместе с тем в некоторых местах — и чем дальше по ходу действия, тем чаще — повествование открыто порывает не просто с исторической точностью, а с элементарным правдоподобием: незаметно, без всяких композиционных швов, оно соскальзывает в пересказ снов и бредовых видений (некоторые из них так и остаются не проясненными до конца — то ли это померещилось герою, то ли все-таки было на самом деле), в переделку греческого мифа о матереубийце Оресте (которого как раз и преследовали "Благоволительницы"-Эринии), в реминисценции из художественной культуры. Источниками последних служат не только шедевры русской прозы или средневековой европейской поэзии[1], но и массовая культура, вплоть до эротического кино 70-х годов, эксплуатировавшего антураж Третьего рейха для постановки садомазохистских сцен. Иногда литературной игрой, вроде бы всерьез, но на грани пародии, начинает заниматься сам герой романа: за несколько месяцев до разгрома Германии — вот уж выбрал время! — направляет Гиммлеру проект "глубоких социальных реформ, которые СС должны будут поставить своей задачей после войны", — черпая идеи этих реформ из научно-фантастических романов о Марсе Э. Р. Бэрроуза, автора "Тарзана". Рейхсфюрер СС якобы принял марсианский прожект с осторожной благожелательностью... Длинный "лермонтовский" эпизод представляет собой еще более впечатляющее отступление от документальности: перемежая историческое повествование очевидными вариациями на тему "Героя нашего времени"[2], "обнажая прием" художественного вымысла, романист одновременно и передоверяет эту литературную игру своему преступному герою, и сам подыгрывает ему.

Выше уже было сказано об исключительности этого персонажа: он и "свой" и "чужой" в СС, и верный слуга режима, и уголовный преступник, по следу которого идет полиция. Еще исключительнее то, что он сам *рассказывает* о своих наблюдениях, переживаниях, сомнениях. В этом некоторые критики романа (например Клод Ланцман, автор знаменитого документального фильма "Шоа")[3] увидели искусственность,

1. Уже отмечалось, например, что обращение к "братьям-людям", которым Макс Ауэ начинает свой рассказ, является цитатой из "Баллады о повешенных" Франсуа Вийона. По словам автора (из уже цитированного интервью газете "Гаарец"), "первоначально там стояло 'друзья', но так звучало хуже"; то есть при правке текста сработала культурная память начитанного франко-американского писателя. Литературные реминисценции содержатся и в имени героя романа: критики вычитывают в нем — по чисто графической аналогии, без всяких содержательных сходств — имя испано-французского писателя-сюрреалиста Макса Ауба (Max Aue/Max Aub), но не менее оправданно было бы вспомнить жившего незадолго до Вийона немецкого поэта-миннезингера Гартмана фон Ауэ, автора знаменитых любовных стихов и романов.

2. Положим, они очевидны не для всех читателей, а лишь для тех, кто помнит Лермонтова (мы, русские, здесь в выигрышном положении); но во всяком случае автор сам сослался на свой источник, указал, в какой книге его искать.

3. *Le Nouvel Observateur*, 21 septembre 2006.

неправдоподобие: настоящие палачи не бывают столь разговорчивы, они стараются скрыть и даже забыть свое прошлое. Сам Литтелл в интервью признал это неправдоподобие:

...социологически достоверный нацист никогда не мог бы высказываться так, как мой рассказчик. Подобный рассказчик никогда не мог бы так осветить окружающих его людей. <...> Мой Ауэ — это рентгеновский луч, сканер. Он действительно не является правдоподобным персонажем. Я стремился не к правдоподобию, а к правде[1].

Итак, исключительность Макса Ауэ может объясняться его повествовательной функцией, он условный, не совсем настоящий нацист, необходимый для "освещения" всех остальных, для того, чтобы о них можно было *говорить*. Чуть выше в том же интервью Литтелл вспомнил фразу Жоржа Батая: "У палачей нет языка, а если они говорят, то на языке государства"[2]. Поэтому, продолжает он, многочисленные и даже полезные своими фактическими сведениями тексты нацистских преступников (показания, мемуары и т. д.) не годились ему как образец для художественного повествования; надо было самому "влезть в шкуру палача", вообразить себе его внутренний мир, его речь, которая опирается на личные переживания, а не на абстрактные идеологические ценности и оттого по определению не находит себе выхода во внешний мир. Многословный рассказ о себе Макса Ауэ — трудно назвать его исповедью, хотя в нем и говорится о преступлениях и даже страданиях автора, — это текст на небывалом, невозможном языке, которому нет ни места, ни названия в реальной действительности. Это одновременно и язык палача, и язык писателя, который в жизни близко насмотрелся на всевозможных палачей и на их деяния[3]. На этом языке рассказчик-эсэсовец долго, с бесконечными подробностями описывает технологию своей службы, ее оперативные планы, административные процедуры и коллизии; за бюрократическими подробностями впору позабыть, что перед нами технология уничтожения. Но время от времени язык словно восстает против рассказчика: когда автор расчетливо перебивает это чиновничье занудство прямыми сценами убийства, насилия, унижения людей — иногда масштабно-массовыми, как расстрел в Бабьем Яру или газовые камеры в Аушвице с пропускной способностью "семь тысяч единиц в день", а иногда индивидуальными, окрашенными жестоко-эстетским гротеском: у подножия виселицы немцы один за другим целуют в губы русскую партизанку, "некоторые целовали ее нежно, почти целомудренно, как школьники, <...> а когда прошли все, ее повесили"; еще

1. *Le Monde des livres*, 16.11.2006.
2. Вот эти слова Батая, сказанные именно по поводу нацистских концлагерей: "Как правило, палач пользуется не языком насилия, которое он творит от имени установленной власти, а языком самой власти, который по видимости извиняет, обеляет его и дает ему возвышенное оправдание. <...> Поскольку человеку хочется мучить других, роль законного палача дает легкий выход этому желанию; с другими же людьми, если ему есть до них дело, палач говорит на языке государства" (Жорж Батай *Проклятая часть: Сакральная социология* / Перевод Е. Д. Гальцовой. — М.: Ладомир, 2006, с. 632–633.).
3. "В своей работе мне часто приходилось вести переговоры с людьми, похожими на него, — с убийцами сербскими, руандийскими, чеченскими, русскими, афганскими... Я пожимал им руку, широко улыбаясь. Это профессиональный вопрос: наша задача добиться от них желаемого, и все. Мы их не судим" (*Le Figaro Magazine*, 29 décembre 2006).

одна женщина висит в центре Харькова на вытянутой руке памятника Ленину; после боев в здании сталинградского театра "на балконе сидели, развалившись в креслах, два трупа русских, которых никто не озаботился оттуда снять, и словно ожидали начала все время откладывающейся пьесы" (не навеяна ли эта картина кадрами из зрительного зала "Норд-Оста"?); постояльцам эсэсовской гостиницы в оккупированном Люблине не только горничные оказывают сексуальные услуги, но даже в нужнике специальные служители подтирают их после отправления физиологических потребностей, просовывая руку сквозь отверстие в стене... Кошмарно-зрелищный гротеск подобных сцен (в последнем случае напоминающий "Сто двадцать дней Содома" маркиза де Сада) построен по кинематографическому принципу: показ чудовищного и невероятного ничем технически не отличается от изображения заурядной реальности[1], реальность естественно переходит в бред: например, в той же сцене казни партизанки Макс Ауэ, когда приходит его очередь, под "ясным и светлым, очищенным от всего" взглядом обреченной девушки переживает что-то вроде никем не замеченного обморока: "...я вспыхнул огнем, <...> сгорел, мои останки превратились в соляную статую, <...> наконец, я весь рухнул к ее ногам, и ветер унес и рассеял эту кучу соли". Автор исподволь сотрудничает с героем, подыгрывает ему, помогает высказываться; их общая, сплетающаяся речь обычно лишена броских стилистических эффектов, но в глубине она нестерпима — не просто из-за чудовищности вещей, о которых говорится, а потому, что мы никак не можем решить, "наша" она или "чужая". Вероятно, особенно сильно эту нестерпимость должны ощущать представители тех народов, которые непосредственно изображаются в роли жертв, — будь то мы, русские, или же еврей Джонатан Литтелл. Для повествования об абсолютном зле требуется исключительный язык.

С другой стороны, абсолютность и исключительность — это жизненные убеждения Макса Ауэ, которые сделали его нацистом:

> Я с детства был одержим страстью к абсолюту и к преодолению границ; теперь же эта страсть привела меня к расстрельным рвам на Украине. Я всегда стремился мыслить радикально; а тут само государство, Нация тоже выбрали радикальность и абсолют...

От своих убеждений Ауэ не отрекается и в конце войны, уже видя обреченность гитлеровского рейха. Вспоминая стихи английского поэта-викторианца Ковентри Пэтмора (1823—1896) о том, что "истина велика и должна восторжествовать, даже если никого не интересует, восторжествует она или нет", он продолжает:

> Мне всегда казалось, <...> что национал-социализм может быть только совместным, добросовестным поиском этой истины, <...> я тоже хотел положить свой камень в общее здание, я тоже хотел чувствовать себя частью целого. Увы, в нашем национал-социалистическом государстве, и особенно вне круга СД, мало кто думал как я.

1. Роман Литтелла вообще написан под сильным влиянием техники кино, хотя автор категорически заявляет, что не станет никому предоставлять права на экранизацию: "Не думаю, чтобы эту книгу можно было перенести в кино" (*Le Monde des livres*, 16.11.2006).

Ауэ действительно мыслит радикальнее многих своих соратников по партии. Истребление евреев, в котором он участвует, он пытается логически осмыслить, оправдать и рационализировать: евреи — объективные враги рейха, с ними необходимо что-то делать; не будь войны, их можно было бы просто изгнать, принудить к эмиграции, но в военных условиях приходится их уничтожать, включая женщин и детей; что ж, надо выполнять эту тяжкую работу организованно, эффективно, без ненависти и излишней жестокости. Когда по мере затягивания войны узники концлагерей начинают цениться как дешевая рабочая сила, он получает новое служебное поручение — заботиться о ее сохранении; ничего, если Германия победит благодаря труду заключенных-евреев. Однако сам он довольно рано приходит к еще более "абсолютному" объяснению, отбрасывая всякие соображения пользы и даже необходимости: в конечном счете геноцид евреев обусловлен не практическими соображениями и не идеологическими принципами, а скорее понятиями сакрального[1] — стремлением дойти до конца, до абсолюта в "поиске истины", превратить германскую нацию в особенный, исключительный, священный народ, стоящий по ту сторону обычного человечества.

По сути, убийство евреев ни для чего не служит... — рассуждает Ауэ, развивая логику незнакомого ему (но не автору романа!) Жоржа Батая. — В этом нет никакой экономической или политической пользы, никакой практической целесообразности. Наоборот, это разрыв с миром экономики и политики. Это расточение, чистая растрата. Вот и все. А значит, здесь может быть только один смысл: это бесповоротная жертва, которая бесповоротно связывает нас, раз и навсегда закрывает нам дорогу назад.

Как революционеры в "Бесах" Достоевского сплачивали боевую группу коллективным убийством, так и нацисты пытаются сплотить нацию, связав ее жертвенной кровью, — и, конечно, для целой нации крови требуется пролить много. Жертвенное преступление совершается не ради внешней выгоды, а для того, чтобы самим преступникам утвердиться в собственной исключительности. Но в реальности такая программа полна противоречий, и Макс Ауэ слишком умен и внимателен, чтобы не понимать этого. Уникальность Германии — иллюзия, на самом деле не только нацистский режим очень похож на советский, но и, хуже того, немецкий народ в своем самосознании представляет собой зеркальное отражение еврейского, фактически он сражается с собственной тенью. Оба народа стремятся к исключительности, сакральности, каждый завидует и подражает другому: евреи пытаются сделаться добропорядочными бюргерами, а немцы — чистыми в своей вере идеалистами. За долгие столетия евреи привыкли к скаредности, стали народом "неспособным к дару и трате, народом, который не знает войны, <...> который умеет только копить, но не расточать"; теперь же сами нацисты "расточительным" уничтожением евреев "научили их трате, на-

1. Ауэ отдает себе отчет в (квази)религиозной природе режима, бороться с которым можно было разве что с позиции *другой* религии: его "редкие оппоненты <...> были в большинстве своем верующими: они сохраняли альтернативную инстанцию морали, могли судить о Добре и Зле, обращаясь не к фюреру, а к кому-то другому, и Бог служил им точкой опоры для измены вождю и стране..."

учили их воевать". Восстания в гетто и концлагерях показывают, что "евреи снова стали воинами, они становятся жестокими, они становятся убийцами. По-моему, это очень красиво. Мы снова создали себе из них достойного врага"[1].

И все же главная слабость нацистского интеллектуализма проявляется не в логических изъянах и противоречиях (их-то Ауэ достаточно легко забывает), а в собственной участи самого интеллектуала. Прежде всего, он непосредственно, на уровне телесных ощущений переживает последствия совершенного им шага по ту сторону человеческой морали. Он хотел бы не только свой народ, но и себя лично воображать особенным, исключительным. В Сталинграде, тяжело больной, он видит в бреду ангела, вставляющего ему в уста пылающий уголь (неточная реминисценция из псалма или же из "Пророка" Пушкина? – во всяком случае, подобными мотивами обычно описывается превращение человека в шамана), а будучи вслед за тем раненным в голову[2], воспринимает эту рану как третий глаз – "не направленный к солнцу и способный видеть его слепящий свет, а обращенный к мраку, наделенный властью смотреть в лицо смерти" – еще одна отчетливая реминисценция из Батая. Но главным результатом пережитого на войне становится не столько сверхъестественная прозорливость, сколько психосоматические расстройства – ночные кошмары, бред наяву, приступы рвоты и поноса. Ауэ никогда не смотрит на себя как на больного, не пытается обращаться к врачам, словно понимая, что его недуги не физического, а духовного порядка.

Отвергая либерально-гуманистическую критику нацизма, он пишет в своих воспоминаниях: "После войны, пытаясь объяснить происшедшее, много говорили о бесчеловечности. Но, простите, бесчеловечного не существует. Есть только человеческое и снова человеческое..." Здесь важнейшая этическая проблема, на которую не раз указывали до Литтелла: злодеяния нацизма совершались не чудовищами, а людьми достаточно нормальными по своим личным качествам; от них нельзя отмахнуться как от извергов рода человеческого, как от клинических маньяков. "Такие больные ничего не значат. Зато обыкновенные люди, из которых образуется государство, – особенно в нестабильные времена, – вот истинная опасность". Так рассуждает задним числом Ауэ-теоретик. В жизни же он ощущает себя именно "извергом", об отверженности которого свидетельствует сама природа, сам организм. После того, чем он занимался на Украине, невозможно жить спокойно; отсюда его алкоголизм, психосоматические болезни, чувство тоски и бессмысленности, "отсутствия воздуха", – как говорит он сам, вспоминая слова

1. Опять пример авторского "сотрудничества" с персонажами: романист незаметно заставляет их высказывать нечто такое, чего они не могут знать, – то философские категории Батая ("трата", "дар", "расточение"), то опыт позднейшей истории, включая воинственную политику государства Израиль (намек на нее довольно прозрачен); зато вместе с ними он соглашается эстетизировать ужасные, невыносимо жестокие события: "По-моему, это очень красиво..."

2. Фронтовое ранение способствовало дальнейшей карьере Ауэ, но фактически он был ранен не в бою, а опять-таки в бреду: больной, в полубессознательном состоянии среди бела дня побрел на советские позиции – не в атаку, не в разведку, даже не сдаваться в плен, а просто "посмотреть на Волгу" – и, естественно, получил снайперскую пулю. Вообще, состоя на военной службе и не раз попадая на фронт, он так и не становится воином; по ходу повествования он собственноручно убивает нескольких человек и соучаствует в планомерном истреблении бессчетного числа других, но среди этих людей нет ни одного вооруженного врага.

Блока о Пушкине, убитом не пулей Дантеса, а этим самым отсутствием воздуха. В "Преступлении и наказании" Раскольников не раскаивается в своем преступлении вплоть до отправки на каторгу; если он не выдержал и донес на себя, то не из-за нравственного чувства вины и ответственности, а из-за физической невыносимости жить среди людей, будучи среди них чужим, отверженным — "убивцем". Так и Макс Ауэ даже много лет спустя после войны не выказывает раскаяния (самое большее — признает геноцид политической ошибкой...), но за него "раскаивается" его собственное тело, его исключительность запечатлевается в физических страданиях, как у шамана — в конвульсиях, а у великого поэта — в "нехватке воздуха". Нет ничего кощунственного в том, чтобы сопоставлять поэта и злодея, — сакральная чужеродность, позитивная или негативная, равно отражается на них обоих.

Наряду с темой исключительности в "Благоволительницах" звучит и другая сакральная тема — тема Судьбы, каковая, собственно, только и бывает у людей исключительных, остальные живут по обстоятельствам. В романе говорится (а Джонатан Литтелл еще и от себя повторяет в интервью) о греческом понимании вины и ответственности, которые не отменяются неведением или волей рока. Эдип убил отца, не желая того, не зная, кто перед ним, — но это не важно, он виновен в отцеубийстве и проклят. Так и Макс Ауэ не хочет становиться палачом — но становится, и теперь уже напрасно взваливать свою вину на кого-то другого ("Вот ведь что они сделали со мной, — подумал я, — не могу видеть лес, не вспоминая о расстрельных рвах"). Такая же непреднамеренная ответственность падает на него и в личной жизни. С детства боготворя (как потом выясняется, напрасно) пропавшего без вести отца-воина, он ненавидел "офранцузившуюся" мать и в конце концов убил ее вместе с отчимом-французом — в очередном приступе беспамятства, до конца повествования отказываясь признаться себе в содеянном, несмотря на все улики. Что ж, пусть он и не желал сознательно этих смертей, пусть и реализовал таким образом предначертанную ему судьбу Ореста — все равно вина на нем. Кстати, эдиповская тема в видоизмененном виде тоже присутствует в романе: в юности Макс Ауэ вступил в кровосмесительную связь с собственной сестрой и, судя по всему, даже прижил с нею двоих детей[1]; насильственно разлученный с нею, он отказался иметь дело с другими женщинами и обратился к гомосексуальным наслаждениям, строго запрещенным в жаждущем "чистоты" нацистском рейхе. Эта его "запятнанная анкета" удивительным образом остается неизвестной начальству и не мешает его служебной карьере; критики "Благоволительниц" не преминули отметить искусственность такого сюжетного хода. Сам писатель, вообще не очень многословный в беседах о своем романе, наотрез отказывается комментировать эту эротическую линию; собственно, досужей публике и незачем знать, какие психические комплексы и фантазмы могли ее питать. Важнее другое: не в меньшей степени ее питают классические сюжеты культуры — тут и миф об Оресте, и "Человек без свойств" Роберта Музиля, и проза Жана Жене...

1. Эти два мальчика, случайные свидетели совершенного Максом убийства, потом бесследно исчезают, до конца войны он не может их найти, а после войны, кажется, уже и не пытается. Непричастные к безумию нацизма, они своим взглядом со стороны вывели бы повествование из заколдованного круга судьбы.

Джонатан Литтелл не мог не понимать, насколько опознаваемы эти реминисценции и какой эффект они произведут. Своей авторской волей он нейтрализует, обесценивает эротические фантазмы своего героя, сводит и их тоже к игре заемными мотивами.

Волю фатума знаменуют несколько персонажей-посредников, которые помогают преступному главному герою вступить в закрытую корпорацию СС, совершавшую массовые убийства, но каравшую за индивидуальные прегрешения. Сначала, еще в университете, он был завербован своим профессором, юристом и национал-социалистом Отто Олендорфом (историческое лицо, впоследствии один из начальников Ауэ на Восточном фронте) в качестве осведомителя, обязанного изучать реакции населения на политику нацистов, обеспечивая тем самым обратную связь между властью и народом: "В каком-то смысле это заменяло выборы..." А потом, после неприятной истории с уголовной полицией, едва не раскрывшей гомосексуальные похождения Ауэ, его покровителем и закадычным другом становится некто Томас Хаузер, который делает его кадровым сотрудником СД, способствует его карьере, не раз спасает его в отчаянных ситуациях. Этот вымышленный персонаж — очень странный, двусмысленный человек: неунывающий, энергичный, верный друг, любимец женщин, а вместе с тем офицер тайной полиции, циник, успешно шагающий по ступеням должностной лестницы. То ли, по какому-то чудесному стечению обстоятельств, он так и не проведал о предосудительных деяниях своего друга, то ли знает о них и приберегает свое знание для шантажа (но никогда открыто этого не признает). Внешне он верный Пилад — друг Ореста из греческого мифа, а по сути — скорее Мефистофель из гётевского "Фауста", воплощение рокового соблазна[1]. Именно он окончательно толкнул Ауэ на путь кровавых дел, заставил его сделаться участником геноцида. С этой дороги уже не сойти: в какой-то момент, после ранения, герой романа пытается искать себе другую, более "чистую" службу, что-нибудь по дипломатической линии, но все его попытки вязнут в бюрократических хитросплетениях, все появляющиеся было возможности поистине *фатально* закрываются — зато ему настоятельно предлагают новый пост в системе концлагерей, и, когда он наконец скрепя сердце соглашается, приказ о назначении ему приносит не кто иной, как Хаузер. Этот симпатичный соблазнитель служит условной, но самой сильной фигурой Судьбы. От его дружеской опеки можно избавиться, только убив его, зато на этом и обрывается роман, подчеркивая литературно-повествовательную природу этой Судьбы. История героя закончена, теперь ему остается только до конца своих дней скрываться под чужим именем — от человеческого правосудия, но не от внутренних терзаний, от которых не уйдешь: "Благоволительницы нашли мой след".

Джонатан Литтелл предпринял необычный и очень серьезный художественный эксперимент. Литература часто изображает злодеев, нередко они бывают умны, наделены глубокими чувствами, превосходят окружающих по значительности своей личности. Но у Литтелла такой герой

1. О двусмысленности и литературности фигуры Хаузера, который (наряду с Олендорфом) выступает в роли образца, идеала для главного героя романа, пишет Антуан Компаньон: Antoine Compagnon *Nazisme, histoire et féerie: retour sur "les Bienveillantes"*. — *Critique*, 2007, n° 726, p. 881–896.

действует не на свой страх и риск, а как верный солдат гитлеровского рейха, беря на себя ответственность за все его деяния, и с такой ответственностью не сравнится вина никакого индивидуального злодея. Преступления Макса Ауэ – часть преступлений государства, они совершаются по убеждению, во имя идеологии, претендующей на тотальный охват мира и оперирующей не только рационально-политическими, но и сакральными понятиями. Эта мыслительная система способна быть сильным конкурентом рационалистической этики, некоторые ее ценности – "жертва", "трата" и т. д. – близки к ценностям, на которых зиждется художественное творчество. Автор романа признает, принимает ее в качестве рабочей гипотезы: предположим, всеобщей морали не существует, предположим, категорический императив Канта сводится к исполнению приказов вождя, предположим, в основе справедливости – только сила, и сильный сам определяет, что справедливо, а что нет. На такой территории эстетического имморализма, в неопределенном "пространстве литературы" он исследует мотивы и последствия поступков своего героя, "влезая в его шкуру"[1]. И тогда выясняется: подобную гипотезу можно открыто развертывать лишь *в литературе*. У палачей нет собственной речи, а идеология их государства, даже самого свирепого, никогда не дойдет до такой степени откровенности. Такие идеи держатся лишь до тех пор, пока нам не дают забыть о художественной условности, пока их подпирают книжными реминисценциями и стереотипами массовой культуры; где кончается литературность – там эти идеи рушатся, теряют убедительность, и вместо них начинает звучать язык телесной боли[2]. Литература, художество всегда радикальны; оттого это единственная среда, где имморализм способен *высказываться*, а следовательно роман Литтелла может – пожалуй, даже должен, если мы хотим понять всю его сложность, – читаться как творческая самокритика литературы средствами самой же литературы.

Для нас, русских читателей, этот роман интересен вдвойне. Во-первых, фигура тоталитарного интеллектуала, идеалиста на службе у палачей отнюдь не чужда нашему собственному национальному опыту. А во-вторых, русская литература, пожалуй, вправе гордиться тем, что именно в ней американо-французский писатель нашел так много материалов, средств, точек опоры, чтобы вывести из мрака и молчания на свет разума своих "благоволительных", желающих добра бесов.

1. "Единственным средством было влезть в шкуру палача. А палачей я знал по опыту. Я близко общался с ними", – вспоминал Литтелл (*Le Monde des livres*, 16.11.2006). И в другом интервью, говоря о главном герое "Благоволительниц": "Это как бы мое возможное 'я', если бы я родился немцем в 1913 году, а не американцем в 1967-м. <...> Люди не всегда сами делают выбор. <...> Он служит нацизму с такой же искренностью, с какой я служил в гуманитарной организации. <...> Но это не значит, что я его оправдываю" (*Le Figaro Magazine*, 29 décembre 2006).

2. Мысль о языке тела, языке боли присутствует у Литтелла. Его герой наблюдает агонию своего смертельно раненного друга, лингвиста Фосса, и описывает издаваемые им странные звуки в выражениях, характерных для Мориса Бланшо: "Древний голос, идущий из глубины веков; но то была именно речь, она не говорила ничего и выражала лишь свое собственное исчезновение".

Жорж Нива

Эринии Литтелла – судьи или судимые?

Перевод с французского Марии Аннинской

Эта книга хватает за горло, въедается в мозги, в кишки, подхватывает и швыряет вниз, как огромная волна. Давно французский язык не взваливал на себя такого тяжелого, мутящего душу груза. Эта книга – литературная революция, и дело не в том, *как* она написана, а в том, *о чем*: она как корабль, груженный историей со всей ее беспросветностью, кровопролитиями, стремлениями, заблуждениями. Давно в наши литературные гавани не заходили такие громады. В чужих гаванях были – у русских, в частности. В нашем случае владелец корабля – французский язык, морской разбойник – автор (живущий в Барселоне американец), ну а стихия, которую он бороздит, – это человеческое море, необъятное и безбрежное.

"Все течет", – говорит Гроссман, вкладывая саркастический смысл в афоризм Гераклита: "Все течет, все изменяется". Груды умирающих от голода на дорогах, зверски изнасилованные девочки, мерзавцы, в которых нет ничего человеческого, – все течет, все изменяется, ничего не остается... Ан нет! Такое не "изменяется", оно поднимается из глубины, как отрыжка из набитого брюха. Достоевский, узнаваемый в "Благоволительницах" до подробностей, в свое время уже задавался вопросом: палач и жертва – не один ли черт? Не могут ли они поменяться местами? Не является ли палач неотъемлемой частью меня, как желчь или лимфа? Книга основательно выбивает из колеи – именно потому, что проза эта хоть и не документальная, но в большой мере состоящая из документов. Она буквально нашпигована документами, демонстрирующими, как функционировала фабрика нечеловеческих зверств XX века. И теперь эти свидетельства чудовищных мерзостей, которые происходили в обезумевшей, бьющейся в истерике Европе, обрели форму девятисотстраничного романа, написанного молодым американцем – как раз в Европе и живущим. Кто-нибудь, пожалуй, заподозрит, что истоки безумия, переданного в романе с невероятной реалистичностью, следует искать в воображении самого автора – ведь сам он не был в лагерях, да и семья его избежала ужасов геноцида. Может ли литератор так глубоко проникнуть в кошмар истории? Ответы на эти вопросы следует искать в романе, который хочется охарактеризовать именно так: "кошмар истории", "исторический бред". Но Литтелл – не Антонен Арто, и бред для него – не способ самовыражения. Кроме того,

© Georges Nivat, 2008
© Мария Аннинская. Перевод, 2008

Литтелл не пишет в жанре, который у русских и американцев называется размытым термином "non-fiction"; хотя сразу же бросается в глаза, что автор перелопатил горы этого самого нон-фикшена, от мемуаров Геринга до "Сталинграда"[1] Гроссмана. Хочу заметить, что устрашающий полет литтелловских Эвменид, то есть благоволительниц, как раз доказывает, что такое не забывается, а если не забывается, значит, уже бывало раньше, и не раз — и во времена Атридов, и во времена Эдипа — с тех самых пор, как было совершено первое в истории убийство. Отвратительный инцест — соитие разумного и зверского — испокон веков известен человечеству. Литтелл поражает тем, что всю историю насилия XX века выворачивает наизнанку, словно освежевывает кролика. Более того, насилие над личностью в эпоху тоталитаризма он толкует по Фрейду: как снятие внутреннего контроля — контроля "сверх-Я". Результат — садизм, сексуальные извращения, инцест. То обстоятельство, что рассказчик — психопат, не делает поток мерзостей менее отталкивающим, но показывает, в чем его, этого потока, "движущая сила", пугающая, как всякий кошмар. Движущей силой, то есть отправной точкой изображаемого бреда становится сексуальная связь между братом и сестрой, а массовые убийства подкрепляются матереубийством — и это лишь малая толика того, что ждет нас в книге. Вспоминаются два другие романа, которые, в отличие от "Благоволительниц", не касаются ужасов истории, а лишь описывают людей, преступивших грань дозволенного. В первом из них — "Человеке без свойств" Музиля — об инцесте говорится намеком, в непринужденно-музыкальной повествовательной манере; второй роман — "Ада" Набокова — это бредовый, населенный фантазмами круговорот воспоминаний. У Литтелла кровосмешение и кровопролитие взаимосвязаны, одно подпитывает другое; это драконьи головы, растущие из одного тела. Но и два упомянутых романа (можно сказать, провозвестники "Благоволительниц") извергались из той же переполняющей европейца магмы: наблюдая ужасы Холокоста, он тем не менее слушает Баха.

Выпотрошенный вывернутый наизнанку кролик — это мы с вами. Наш последний оплот пал вместе со всем тем, что оставалось гуманного в европейской культуре. Мы перешли на сторону преступления — этой неотъемлемой (а значит, легко забывающейся) части нашей цивилизации. Мы смирились с такими немыслимыми вещами, как нацистские фабрики смерти, доктор Менгеле, палачи колымских лагерей (о них рассказывает Евгения Гинзбург[2]), изощренные эротические пытки, описываемые сербским писателем Александаром Тишмой[3]. Но от этого моря запредельных зверств нас отделяла некая преграда: оставались живые свидетели, для которых все увиденное относилось к области аморального, ибо они были воспитаны на Библии. Среди них можно назвать Эли Визеля, написавшего "Ночь", Шварца Барта, автора "Последнего из праведников", Имре Кертеса, создателя "Без судьбы", — их кни-

1. Речь идет о документально-художественной книге В. Гроссмана "Сталинград", написанной во время Второй мировой войны. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Имеется в виду "Крутой маршрут", одно из первых литературных произведений, рассказывающих о сталинских репрессиях в СССР.
3. Александар Тишма (1924–2003) — сербский писатель, выступал против правительства Тито.

ги стали нашими бастионами. Кроме того, существуют и другие *соборы* во граде спасения. Например, "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына, где озверевшие садисты, даже упиваясь вседозволенностью, никогда не забывали, что творят зло, а не добро, а также "Жизнь и судьба" Гроссмана, второй том его романа о Сталинграде. Если первый том еще как-то вписывался в советскую литературную норму, хотя и с неслыханной смелостью отступал от нее, то во втором писатель отказался от идеологической благопристойности, а заодно — и от веры в прогресс и светлое будущее. Изобразив сходство советских и нацистских лагерей, Гроссман бросил вызов коммунизму — продемонстрировал, что у них одно лицо! Впрочем, Гроссман, как и Чехов, был скептиком, верившим в силу маленьких людей — в их благородство и способность к робкому протесту. Чехов и еще, пожалуй, Диккенс — вот у кого все мы учились сносить унижения.

Гроссман, конечно, не совершил такого переворота в сознании, как Солженицын, познавший и показавший всю бесчеловечность лагеря. Зато у Гроссмана мы порой видим добро, пусть и в малых дозах, — оно, как и у Чехова, противостоит человеческой низости. Визель, Солженицын, Гроссман — именно они воздвигли преграду на пути зла. И даже Шаламов, саркастичный исследователь крайних жизненных ситуаций, все-таки пытался изобразить исчезающую, но все еще существующую человечность — вопреки тому, что души на Колыме замерзали быстрее, чем плевок на морозе, и "блатные" в лагере играли в карты на жизнь "доходяг". Даже в этом бесчеловечном мире Шаламов встречает тех, кто не утратил способности сострадать, — например, врачей, вытащивших его с того света. Да и других людей, ведь "блатные" — это еще не все человечество.

Описывая кромешный ад Сталинградской битвы, Гроссман не забывает о существовавшем там крошечном островке добра — "доме шесть дробь один". Всех его обитателей ждет неминуемая гибель, но перед тем, как она наступит, комиссар дарит двум влюбленным час уединения и счастья — в этом романе еще признается существование любви и сострадания. Сталинград воссоздан и в романе Гроссмана, и в романе Литтелла, и небезынтересно сравнить, как каждый из них описывает ужас происходящего: горы трупов, нечеловеческий страх, тайный каннибализм и, самое главное, лютый холод (этот "белый ад абсолютного нуля" сближает Литтелла с Шаламовым, который описывает стужу, как Данте в XXXII главе "Ада") — в обеих книгах люди деградируют и доходят до скотского состояния, причем равно палачи и жертвы. Остается лишь один уголок человечности — гроссмановский "дом шесть дробь один". Что же там происходит? Бойцы во главе с капитаном Грековым вдруг обретают свободу: Греков может больше не подчиняться политруку. *Жизнь – зло*, но ад войны избавил людей от лжи, от *великой и светлой идеи общественного добра*, которая *беспощадно убила одних, исковеркала жизнь другим*. Греков свободен и, нарушая приказ, отпускает солдата Шапошникова и телефонистку Катю. А для читателя этот островок любви становится символом борьбы со смертью и рабством. *В бессилии бессмысленной доброты тайна ее бессмертия* — эту фразу можно считать ключевой для Гроссмана, ее могли бы взять девизом и те, кто пытаются возродить человечность в человеке.

Автор "Благоволительниц" отлично знает русскую литературу. Он словно вступает с ней в перекличку, но эхо постепенно заглушает голос. Негромкий напев (роман поделен на части, как музыкальное произведение) вливается в огромную человеческую реку. И тут оказывается, что это не напев, это шумит поток нечистот. От токкаты и аллеманды до жиги Литтелл выворачивает всю русскую литературу наизнанку: великие сцены из романа Гроссмана представлены с точки зрения эсэсовцев и карателей — изменены психологические полюса. Людей толкают в огромную выгребную яму, и высшее проявление гуманности — войти по колено в кровь и дерьмо и добить агонизирующую девочку. Помните великую гроссмановскую сцену между оказавшимся в нацистском лагере Мостовским и Лиссом, начальником этого лагеря? Лисс говорит: *Для меня братство с вами важней, чем война с вами из-за восточного пространства. Мы строим два дома, они должны стоять рядом.* У Литтелла похожая сцена разворачивается не в лагере, а в "ледяном аду", напоминающем осажденный Сталинград и населенном призраками. На этот раз действующие лица — доктор Ауэ, оберштурмфюрер[1], и политрук Правдин. *Вы не следуете марксизму, вы его извратили,* — заявляет Правдин. — *Подмена класса расой, приводящая к пролетарскому расизму, это нонсенс, абсурд.* — *Не более чем ваш постулат о перманентной классовой борьбе,* — отвечает Ауэ. — *Классы появились в определенный исторический момент и со временем исчезнут, но не уничтожат друг друга, а сольются в одно целое,* — с невозмутимым спокойствием парирует политрук. *В сущности, мы оба отвергаем homo economicus,* — заключает нацист этот странный, инцестоподобный разговор двух завзятых политиков, происходящий в зловонном подземелье; вокруг них — сваленные в кучу трупы и полчища вшей, скачущих в поисках свежей крови. Так, в этом болоте, полном нечистот, растерзанной плоти и гниющих останков, в этом Богом забытом подвале соединяются два важнейших исторических течения XX века.

Ауэ — меломан, обладающий к тому же тонким филологическим вкусом. Но любовь к изящным искусствам и словесности сливаются в его душе с животным страхом, над которым человек не властен. Ауэ даже рассуждает о том, какого рода слово "смерть" в разных европейских языках: в немецком "Tod" он видит одеревенелость трупа; в русской "смерти" — что-то тяжелое и рыхлое, похожее на то, что она значит; французы же, подражая латинянам, ее феминизируют... И только в греческом величественное и страшное слово "thanatos" сохраняет нежно-эротическую окраску. Есть в герое Литтелла что-то хайдеггеровское, какое-то тяготение к древнегреческому, попытка преодолеть латинскую и христианскую сентиментальность, пришедшую вместе с латынью... Рассказчик вспоминает, как в его лицее ставили "Электру" и он исполнял роль Электры. Читая ее монолог, он вдруг ощутил себя Уной, своей родной сестрой (это имя напоминает нам о другой кровосмесительной паре — Моносе и Уне, героях Эдгара По). Ауэ почувствовал, что обречен на запретный и одновременно священный союз, и через греческий язык к нему пришло осознание: он — орудие смерти. *Когда я вышел на сцену, мной до такой степени владели любовь и ненависть, я до того перевоплотил-*

1. В романе Литтелла главный герой получает повышение по службе, Жорж Нива последовательно называет его по первому званию.

ся в юную девственницу, что ничего вокруг не видел, ничего не слышал. Я простонал "О, мой Орест, с тобой я умираю", и тут слезы хлынули у меня из глаз. Потом снова вышел Орест, терзаемый Эринией, и я стал выкрикивать фразы на греческом, на этом прекрасном и величественном языке. Дальше убийства в доме Атридов оборачиваются убийствами в его собственном доме, в его собственном теле, в его собственном лоне. Эти выкрики на греческом перемещают кровопролитие в *дом, где убийствам несть числа*, то есть в дохристианскую Европу, до которой еще не дошла благая весть, и она даже не может ее отринуть, потому что не ведает ее. Но силы Мести, Эринии, завладевшие Электрой и толкающие ее к отмщению, Эринии, перевоплотившиеся потом в Эвменид, не отзываются на призыв Ауэ.

Рассказывающий о своих бесчинствах доктор Ауэ после войны осел во Франции, обуржуазился, и жившая в его существе кровожадность несколько схлынула — остался лишь маленький ручеек. Превратившись в безликого обывателя, оберштурмфюрер, подобно рассказчику в "Лолите", не без наслаждения повествует о своих гнусностях — правда, не перед судом присяжных: процесса не будет, не будет отмщения, может, и следов-то никаких не останется, помимо его девятисотстраничных излияний.

Кроме утопического слияния двух тоталитарных режимов — двух фабрик насилия и бесчеловечности, есть в книге Литтелла еще одна сюжетная линия. Нечто подобное уже было у Джорджа Стейнера в романе "Как перевозили А. Г. в Сан-Кристобаль" (на мой взгляд, это лучшее, что написал автор, если не считать критических статей). У Стейнера появляется Гитлер, который прячется в лесах Амазонки (совсем как Эйхман[1]), и там его ловят агенты израильских спецслужб. Сначала они ведут пленника сквозь непроходимую чащу, затем их окружают вертолеты латиноамериканских диктаторов, и, наконец, агенты получают приказ судить Гитлера на месте. Фюреру предлагают адвоката, тот отказывается и заявляет, что будет защищать себя сам. В свое оправдание подсудимый выдвигает только один довод: *Я всего лишь повторил то, чему вы сами меня научили, – я действовал от лица избранного народа. <...> Я воспринял урок... Ваш. Воспринял от начала и до конца. Надо выбрать расу. Сохранить ее в чистоте, без примесей. Поставить перед ней цель – землю обетованную. Очистив эту землю от тех, кто на ней жил, или обратив жителей в рабство.* Оберштурмфюрер Ауэ, герой Литтелла, видит Гитлера во сне, на Гитлере — еврейское молитвенное облачение. *Пленка была зернистой, то и дело прыгала, временами изображение гасло. Должно быть, ее проявляли и склеивали наспех. Мне показалось, что голова и плечи фюрера были покрыты большим полосатым покрывалом.* Ауэ кажется, что это галлюцинация, но странная сцена повторяется через четыре сотни страниц, в конце книги: в Померании, в поместье, где уже ждут прихода русских, всеми покинутый, больной, бредящий Ауэ находит прибежище у своей

1. Адольф Эйхман (1906–1962) — заведовал отделом гестапо, отвечавшим за "окончательное решение еврейского вопроса". После Второй мировой войны Эйхман скрывался под вымышленным именем в Латинской Америке. 13 мая 1960-го был схвачен группой израильских агентов Моссада на улицах Буэнос-Айреса и тайно вывезен в Израиль. Эйхман, будучи высокообразованным человеком, знатоком еврейской культуры, поразил сотрудников Моссада тем, что читал стихи на иврите. В Иерусалиме он предстал перед судом, длившимся более полугода. Эйхман был повешен 1 июня 1962-го; это единственный случай смертной казни в Израиле по приговору суда.

сестры-двойняшки Уны. Ее муж Юкскюль — утонченный аристократ, вырожденец-импотент, ненавидящий Гитлера и всех его приспешников. *Я знаю, почему мы убивали евреев,* — говорит Уна. — *Убивая евреев, мы хотели убить самих себя, убить евреев внутри себя, убить в себе то, что походило на наше представление о евреях. Мы хотели убить в себе пузатых буржуа, считающих денежки, ждущих почестей и мечтающих о власти. Но буржуа представляют себе эту власть в обличии Наполеона III или в крайнем случае банкира. Мы хотели уничтожить в себе узколобую, убаюкивающую буржуазную мораль. Убить экономику, убить привычку подчиняться, убить покорность наемного солдата и вообще все хваленые немецкие добродетели.* Уна выражает скрытый страх Ауэ: а вдруг он и сам еврей? *И тут в памяти моей всплыло видение, посетившее меня в Цейхгаузе: Фюрер предстает перед народом, на нем еврейское молитвенное покрывало, к рукам привязаны крохотные коробочки, но никто его не замечает, кроме меня.* В этом видении сливаются палач и жертва — взаимоотрицающие идеологии, а также панический страх лишиться своей подлинной сути.

В прологе к своей страшной исповеди Ауэ, обращаясь к "людям-братьям", говорит, что хотел быть как все, и сожалеет, что не стал обыкновенным палачом, одним из тех, о которых пишет в своей книге "Добровольные палачи Гитлера" американский историк Дэниел Голдхаген. Но "быть как все" не получилось. Все в том же прологе, ища читательской благосклонности, он замечает: *воспоминания накатывают тяжелыми черными волнами.* Тем не менее Ауэ — человек по-своему незаурядный, меломан, страдающий от того, что не умеет играть на фортепьяно; он даже читает Бланшо. Он был другом Бразильяка и Ребате[1].

Воспоминания не оставляют Ауэ ни на мгновение. Вернувшись в родные места, он невольно задумывается о своем происхождении: его отец, немец, прошел Первую мировую, покорно и старательно исполняя роль палача. Подобно Электре, Ауэ ненавидит мать — за то, что она второй раз вышла замуж и живет во Франции. Он превращается в Ореста, но Ореста, лишенного величия софокловского героя. На вилле в Антибе Ауэ убивает и мать, и ее мужа. За ним пускается в погоню пара карикатурных немецких полицейских, оповещенных коллаборационистами Виши, — это единственная комическая линия во всем романе, описания их похождений больше напоминают дневник сумасшедшего, — но, выражаясь театральным языком, таковы законы сцены. Постепенно Ауэ отходит от нацизма и даже вполне трезво комментирует безумство "окончательного решения", проводит пародийные социологические опросы с целью выяснить: горские евреи Кавказа — таты — это евреи по крови или по культуре? Он читает Лермонтова, посещает места, где поэт стрелялся с Мартыновым, цитирует Блаженного Августина и дивится тому, что святой Иероним умел читать про себя. Встречается с Юнгером[2], восторгается "Гавотом с вариациями" Рамо... Но все это эстетство, возвы-

1. Робер Бразильяк (1909–1945) — французский писатель и публицист. Сотрудничал во многих газетах и журналах, новеллист, историк, литературный критик. Во время оккупации активно сотрудничал с германскими властями. Казнен по приговору французского суда. Люсьен Ребате (1903–1972) — французский писатель, журналист, музыкальный критик, приверженец фашизма, антисемит. Во время Второй мировой войны выступал в поддержку правительства Виши.
2. Эрнст Юнгер (1895–1998) — немецкий эссеист и писатель, один из главных теоретиков немецкой консервативной революции.

шающее Ауэ над творящимися вокруг мерзостями, — лишь видимость. Главное в том, что внутренний мир Ауэ полностью соответствует происходящему вокруг — безудержной кровавой оргии. В его сознании — извращенные эротические фантазии, и видение лона Уны, напоминающего голову Медузы Горгоны, и подступающее к лицу дерьмо, и огромные кровавые выгребные ямы, как в Бабьем Яру. Эти ямы мы когда-то видели глазами жертв, чистыми и ясными, теперь смотрим циничным взглядом эстета и изувера Ауэ, исполненного ненависти к женскому началу, материнству и той природной чувственности, которую воспевает и прославляет иудаизм: в том омерзительном аду, в котором существует Ауэ, нет места Песни Песней. При этом ему хочется быть евреем, *Judelein*, — достаточно вспомнить сцену с рейхсфюрером Гиммлером: *Рейхсфюрер взял меня за руку: "Доверьтесь мне, – сказал он. – Что бы ни случилось, я не оставлю вас. Либо мы оба выберемся из этой передряги, либо вместе сгинем". Не понимаю, зачем ему надо защищать меня, еврейчика, Judelein, — только я ему верю. Я знаю, что он говорит правду, я мог бы даже проникнуться к нему любовью.*

Как и Ставрогин у Достоевского, Макс Ауэ — душевный импотент, и к тому же недоразвитый садист. Ставрогин забирается на чердак, чтобы повеситься и освободиться от силы притяжения, тянущей вниз — к земле — мужчин и беременных женщин. Ауэ тоже забирается на чердак дома своего зятя в Померании; там в полубреду он видит сестру-близняшку, с которой в отрочестве предавался запретным играм. Брат и сестра снова сливаются в садистско-онаническом угаре, после чего Ауэ имитирует самоубийство Великого Грешника из романа Достоевского. Имитирует — и не более того, так как остается в живых, потому что он не Ставрогин, а лишь воплощение всего чудовищно-детского, дремлющего в каждом человеке. В определенном смысле исповедь Ставрогина, в которой он описывает насилие, совершенное над девочкой Матрешей, эти двенадцать страниц, которые он отпечатал в типографии и вручил архиерею Тихону, предвещает девятисотстраничную исповедь Ауэ, читай Ганса Франка[1]. Но в "Бесах" извращение идей Добра, приводящее на путь Зла, показано с целью предотвратить его. Правда, у Достоевского нет литтелловского размаха, зато есть метафизическая глубина. Так, фамилия Ставрогин образована от греческого "stauros", что значит "крест" — получается, что Ставрогин несет крест. Тогда как герой Литтелла — просто монстр, как Жаба-Падук у Набокова в романе "Под знаком незаконнорожденных"[2]. Жизнь Ауэ проходит в полном мерзостей, кошмарном полусне; на глазах у близнецов — плода его тайного соития с собственной сестрой — он убивает мать и отчима; зверски душит старика, играющего музыку Баха посреди разрухи, царящей в Рейхе. Если Ставрогин, главный среди бесов, способен различать Добро и Зло, то для Ауэ Зла нет вовсе: *Бесчеловечного, простите, не существует. Есть только*

1. Ганс Франк (1900–1946) — рейхсминистр юстиции Германии, рейхсляйтер, позднее — генерал-губернатор оккупированной Польши. Казнен по приговору Нюрнбергского трибунала. Был личным адвокатом Гитлера.
2. В. В. Набоков. Под знаком незаконнорожденных / Пер. с англ. С. Б. Ильина // В. В. Набоков. Собрание сочинений американского периода в 5 тт. — СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 1. С. 192–399.

человеческое и еще раз человеческое. Бесчеловечное — лишь результат дьявольски-упрямого утверждения человеческого в человеке, утверждения, за которым последовали Бабий Яр, Собибор, Дора[1], Майданек, вступление в войну Венгрии вопреки сопротивлению Хорти, упомянутое выше "милосердие" Гиммлера, ад Сталинграда — вся эта бесовщина, захватившая не провинциальный российский городок, а всю Европу, за исключением Англии. Нет больше границы, разделявшей некогда Добро и Зло. Они уже не противостоят друг другу, и человек с этим смирился и не пытается ничего изменить... Все решают собаки, собаки-Эринии. Те самые, что отгрызли грудь девушке, повешенной в Харькове.

Родство Ставрогина и Ауэ подчеркнуто Литтеллом в одной из последних сцен безумия главного героя: в полузатопленном бункере Гитлер, дряхлый, трясущийся, вручает награды отличившимся эсэсовцам. Когда он подходит к Ауэ, тот, подобно Ставрогину в гостиной у губернатора, хватает его за нос. Но этот несуразный жест упоминается не в начале книги, как в "Бесах", а в конце. В чем легко увидеть своеобразный автограф: ну да, Ауэ — тоже бес, только не главный. Главный — Ставрогин, недаром Верховенский-младший мечтает объявить его царем. А герой "Благоволительниц" — даже не Великий Грешник, а обыкновенное животное, оказавшееся в утопающем в грязи и крови Берлине. Потому что греха как такового больше нет — а может, как утверждает Ауэ, никогда и не было.

Дальше пленка прокручивается все быстрее, действие принимает все более гротескный характер, пока, наконец, не переносится в горящий берлинский зоопарк. "Раковый корпус" Солженицына, кстати, тоже заканчивается в зоопарке, только в ташкентском, где выставлен напоказ весь животно-басенный мир, но вот какой-то злой человек бросил табак в глаза мартышке, и она ослепла... Господи, какая микроскопическая доза зла и как зоопарк Солженицына похож на кукольный по сравнению с тем, что происходит у Литтелла в берлинском! — там в предсмертных судорогах бьется бегемот, гибнут страусы и животные, а сам Ауэ, превратившийся в гориллу, вырывает прут из решетки и дубасит своего единственного друга Томаса, эсэсовского весельчака, который пришел помочь обезумевшему Ауэ. Но нет, волшебный чертог Валгалла не для нашего героя, он не последует туда за своим фюрером.

Что значат эти Эринии, эти богини мести, принимающие облик собак? Согласно Литтеллу, греки не признавали никаких смягчающих вину обстоятельств, даже если преступление было совершено непреднамеренно. Эдип не знал, что убивает своего отца, — ну и что? Именно этот закон лег в основу древнегреческой трагедии, и он справедливей, чем тот, что учитывает намерения или подсчитывает количество попыток. Литтелл не моралист, он не предлагает искупления, и никакому "deus ex machina" не спасти положения ни по воле языческих богов, ни по воле Бога. Собаки до самого конца следят за тем, чтобы ни один спасительный луч света не проник внутрь и не помешал привести приговор в исполнение. Но суд, вершимый на античный манер и выносящий

1. Собибор — нацистский концентрационный лагерь в Польше. Здесь было убито около 250 тыс. евреев. Дора — нацистский концентрационный лагерь вблизи города Нордхаузена в Германии — подразделение уже существовавшего Бухенвальда.

приговор всей Германии вместе с ее Бахами и Кантами, приобретает другой смысл и снимает с нее вину: так уж устроен мир. А всевозможные садисты, с которыми судьба сводит оберштурмфюрера Ауэ, — жалкие типы, палачи волею случая, прислужники богини правосудия Дике.

Роман Литтелла в некотором смысле идет вразрез с официальной "историей", берущей за точку отсчета "сумерки" гитлеровских богов: уже принят за правду лишенный противоречий "исторический вымысел", уже объяснена смерть Бога, уже, с легкой руки Достоевского, измерена доля зверского в человеке. Однако никто не увидел, что суть всего происшедшего в Европе — грандиозный инцест, смешавший разум и безумие, эротику и смерть. Сцены любви у Гроссмана противостоят абсурду происходящего. Беспорядочные же совокупления литтелловских умирающих богов неотделимы от этого абсурда. Все когда-либо придуманные утопии замешаны на инцесте, они лишь разрушают человечность.

Одна из самых впечатляющих сцен в романе — это сцена в человеческом зоопарке, в "Menschengarten". Тут сразу вспоминаются туземцы, выставленные в Парижском зоологическом саду после войны 1870 года, когда, во время осады города, население съело зверей. Перечитывая американского писателя Берроуза, Ауэ в описаниях убранства марсианской принцессы и военных доспехов видит истоки идей национализма, "völkisch". Как и в нарочитом подчеркивании роли евгеники, налоге на бездетность, сексуальной эксплуатации неимущих молодых людей... Прочтя все это, Ауэ строчит донесение Гиммлеру.

Инфантильный, извращенный, бредовый мир Ауэ — это ядовитые испарения, пронзаемые, словно лучами, комментариями рассказчика, который бросает читателям вызов. Видимо, пришло время уравновесить длинные покаянно-искупительные саги в духе Гроссмана и Солженицына, покончить с "возвышенно-умозрительными воззваниями к Богу" и понять, что бесчеловечное как раз и есть человеческое, самое что ни на есть человеческое... Я говорил о вымышленности сюжета, о бредовости повествования — но помилуйте! Роман "Благоволительницы" вызывает отвращение, вязкое и прилипчивое, тошнотворное, как истлевшие лохмотья. Черепа заживо похороненных, смотрящие с картин художника Музича[1], будто шепчут: "Мы не последние"...

От этого делается не по себе, волосы встают дыбом. Перед нами исповедь, которую не услышать ни одному духовнику.

1. Зоран Музич (Мушич) (1909–2005) — словенский живописец и график, работал в Италии и Франции. В 1970–1975 гг. создал серию гравюр "Сцены и портреты в Дахау" — одном из первых концентрационных лагерей в Германии.

Элисон Лури
Поттериана, или Горшочек каши

Перевод с английского Германа Власова

Пожалуй, самая известная сказка в мировом фольклоре — история о бедной голодной девочке, мечтающей о том, чтобы у нее дома в горшочке всегда варилась каша. Желание это исполняется, однако героиня получает много больше, чем просила: сколько ни черпай из горшка — каша все варится. Она заливает печь, потом пол, заполняет весь дом, лезет за дверь и, наконец, почти затопляет всю деревню.

Памятуя об этом, представьте себе сумрачный, сырой зимний день в Эдинбурге. Молодая мать-одиночка живет на пособие и подолгу просиживает в кафе лишь потому, что снятая ею квартира не отапливается. Всякий раз, когда ее малыш засыпает в коляске, она принимается за книгу для детей, замысел которой возник у нее более двух лет тому назад. Вдруг появляется добрая фея и предлагает ей исполнить три желания. Женщина скромно просит о том, чтобы книга у нее получилась, чтобы ее напечатали и чтобы она понравилась детям всего мира.

Как и в сказке про горшочек каши, Дж. К. Роулинг получила больше, чем просила. Книга дописана, издатель нашелся, истории про Гарри Поттера расходятся по всему свету как в бумажной версии (сейчас они переведены более чем на 60 языков), так и в экранной. Появились игры, игрушки, костюмы, справочники, веб-сайты. Имеются многочисленные подражания, не более схожие с оригиналом, чем кусок раскисшего картона — с аппетитной овсянкой. Только в Китае, по данным "Нью-Йорк таймс", вышло с дюжину поддельных книг о Гарри Поттере, в которых шестерка китайских магов-подростков едет в Хогвартс, дабы спасти Гарри и его друзей от сил зла.

Между тем Дж. К. Роулинг стала самой богатой и знаменитой детской писательницей в мире. Уже в 1999 году более двух тысяч поклонников выстаивали очереди у магазина, чтобы познакомиться с ней и подписать экземпляры "Узника Азкабана". Причем, как свидетельствует "Паблишерз уикли", публика настолько разгулялась, что "покусала и поколотила директора книжного магазина". Вскоре у дома Роулинг стали дежурить толпы поклонников. В 2001 году в интервью Би-би-си она посетовала, что люди копаются даже в ее мусорном баке. "Это ужасно, — говорила она. — Они вторгаются в мою личную жизнь, а я ведь не политик и не артист. Вот уж не думала, что окажусь в центре внимания".

Гарри Поттер привлек к себе огромный интерес, хотя, по замыслу Роулинг, он вовсе не тщеславен. Он раз за разом твердит, что хочет быть самым обыкновенным мальчиком. Например, в фильме "Гарри Поттер

© Alison Lurie, 2007. Originally appeared in The New York Reviw of Books. Reprinted with permission by Melanie Jackson Agency, LLC.
© Герман Власов. Перевод, 2008
Печатается в сокращении.

и Орден Феникса" говорится: "Ему это опротивело. Надоело быть лицом, на которое все глазеют и о котором все только и говорят"[1]. Гарри не только жертва чрезмерного внимания публики: по мере развития сюжета он все чаще оказывается в опасности, а то и на волосок от гибели. Что ж, в реальном мире удача и слава также сопряжены с риском, и Роулинг здесь не исключение. Ее преследует психически неуравновешенный фанат, на нее подают в суд за плагиат (безрезультатно). В конце концов мэрия Эдинбурга разрешает ей увеличить высоту стен вокруг дома и поставить электронную сигнализацию.

Многие авторы, в том числе и я, уже и раньше пытались понять, почему книги о Гарри Поттере снискали такую популярность (если, конечно, оставить в стороне вмешательство потусторонних сил)[2]. Возможно, самое простое объяснение в том, что книги Роулинг находят дорогу к сердцу всякого читателя, ведь в них сочетается множество жанров: фантастика, истории из школьной жизни, приключения, триллер, мистика и — что особенно актуально сегодня — компьютерные игры. Некоторые главы последних книг воспринимаются как текстовая версия видеоигры, рисованные герои которой летают туда-сюда по экрану, пытаясь прикончить друг друга.

Кроме того, Роулинг дает читателю возможность выбрать образец для подражания. В Хогвартсе, как и в любой школе, есть заводилы, зубрилки, "свои парни" и коварные предатели. Гарри и двое его лучших друзей попадают на факультет храбрецов Гриффиндор, где "сердца <...> отваги и силы полны"[3]; в Когтеврane важнее "юмор и силы гранит грызть наук", в Пуффендуй берут "преданных и верных". (На самом деле Гермиона идеально подходит для Когтеврана, а Рон — для Пуффендуя. Не Распределяющей шляпе, а самому автору оказалось удобно поместить их в один факультет.) Однако, в отличие от большинства британских школ-интернатов, в Хогвартсе перемешаны культуры и сословия: здесь учатся богатые и бедные дети из китайских, индийских, темнокожих и еврейских семей. У одних родители волшебники, у других — обычные люди.

Безусловно, Дж. К. Роулинг — яркий писатель с поразительным даром воображения. Мир, созданный ею, неизменно привлекает и детей и подростков. Обыкновенные взрослые (или маглы) здесь невежественны или грубы (а порой и то и другое вместе), в то время как герой и его друзья наделены особыми способностями. Уникальными способностями, которые представляют собой метафору главных черт детства и юности: воображения, энергии, творчества и особенно юмора — ведь книги Роулинг не только увлекательные, но и веселые.

В мире, меняющемся так быстро, что за многими новшествами не поспевают даже дети, книги о Гарри Поттере идеализируют то время, когда промышленный бум только начинался. Школа Хогвартс — средневековый замок, отапливаемый каминами и освещаемый факелами и масляными лампами. Почту здесь доставляют совы, а в Министерстве магии служебные записки летают, как бумажные самолетики. Нет ни компьютеров, ни телефонов, ни радио. Впрочем, изредка появляется автобус, но это не сулит ничего хорошего. Волшебство заменяет многие современные приборы, и именно дети и подростки пользуются им всего искуснее. (Всякий, кто когда-нибудь просил девятилетнего ребенка очистить компьютер от вирусов, запрограммировать мобильник или разобраться, как работает пульт от нового телевизора, наверняка

1. Фильм режиссера Дэвида Йейтса "Гарри Поттер и Орден Феникса" по книге Дж. К. Роулинг. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. См. The Perils of Harry Potter в кн.: Boys and Girls Forever: Children's Classics from Cinderella to Harry Potter. Penguin, 2003. (*Прим. авт*ора)
3. Здесь и далее перевод романа "Гарри Поттер и тайная комната" И. В. Оранского. – М.: Росмэн, 2002.

испытал при этом такую же неловкость и раздражение, что и приемные родители Гарри, чета Дарсли, которые не выносят его дар.)

В интервью Дж. К. Роулинг часто говорила, что со временем книги ее будут все мрачнее. Свое слово она сдержала. Последняя, "Гарри Поттер и дары смерти", начинается с того, что лорд Волан-де-Морт и его подручные, Пожиратели смерти, овладевают тремя главными институтами мира волшебников: Министерством магии (расположенным, кстати, на Даунинг-стрит), Хогвартсом и газетой "Ежедневный пророк". Политическия платформа Волан-де-Морта — расистская и реакционная. Он выступает за передачу магии в руки "чистокровных" — тех, у кого в роду колдуны и ведьмы. И за уничтожение всех тех, кого он и его друзья презрительно называют "грязнокровками" (это люди, имеющие особые дарования, но происходящие от маглов), а заодно и "полукровок" (у кого только один из родителей занимался колдовством). "Ежедневный пророк" и его беспринципная колумнистка Рита Скитер всеми правдами и неправдами насаждают расистские убеждения и очерняют посмертную репутацию профессора Дамблдора. Он якобы "питал противоестественный интерес" к Гарри Поттеру, а последний будто бы виновен в его смерти.

Однако лорд Волан-де-Морт, а он и сам полукровка, в первую очередь стремится к абсолютной власти и бессмертию, а не к чистоте расы. Согласно пророчеству, неминуемая гибель грозит либо ему, либо Гарри Поттеру, поэтому одна из главных его задач — погубить героя. Себя Волан-де-Морт старается уберечь способом, многократно фигурировавшим в фольклоре: пряча душу или источник жизни в особые предметы. Пока эти предметы (хоркруксы или крестражи) существуют — он в безопасности. Сюжет "Гарри Поттера и даров смерти" — это главным образом бегство Гарри и его друзей от Волан-де-Морта и его приспешников и в то же время это поиски и уничтожение хоркруксов.

Не имея возможности вернуться в Хогвартс, большую часть осеннего семестра друзья проводят в бегах. Они живут в волшебной самовоздвигающейся палатке. Спасаясь от погони, кочуют по всей Британии. Мокнут под дождем, терпят голод и холод. Порой даже дуются друг на друга и ссорятся. Эта часть книги иногда пробуждает в нас не лучшие воспоминания о походной жизни. С другой стороны, она напоминает компьютерную игру в духе "Подземелий и драконов"[1]. Например, однажды Гарри с друзьями спасаются из подземного хранилища банка гоблинов на спине слепого дракона, которого сами освободили. Дракон их не видит и не знает, кому обязан своим спасением. Нечто подобное случается с добрыми волшебниками и в нашем мире — их попросту не замечают.

Гарри Поттер хочет быть просто человеком и не более того, однако он не так-то прост. Это понятно хотя бы по тому, что в игре в квиддич он "ловец", то есть не вступает в единоборство с игроками другой команды, а гоняется за летающим золотым мячом под названием снитч и, поймав его, приносит своей команде дополнительные очки. По мере развития повествования становится ясно, что Гарри не только идеальный протагонист, а тот мифологический образ, которого знаменитый британский ученый лорд Реглан[2] именует Героем. В свои семнадцать Гарри уже набрал шесть очков в рег-

1. "Подземелья и драконы" ("Dungeons & Dragons") — самая популярная в мире серия настольных и компьютерных ролевых игр в стиле фэнтези. В большинстве игр цель игроков — победить множество противников на пути к определенной цели, попутно развивая возможности управляемых ими персонажей.
2. Фицрой Ричард Сомерсет, барон Реглан (1885–1964) — британский антрополог и философ, автор трудов о теории мифа и о современной политике.

лановском списке геройских качеств[1].

В истории Гарри есть и другие отголоски мифа. Так, лорд Волан-де-Морт пытается переманить Гарри на свою сторону, обещая силу и бессмертие — обычное искушение сатаны. В конце "Даров смерти", зная, что одна из многочисленных душ лорда Волан-де-Морта помещена в нем самом, Гарри добровольно идет в лес, чтобы погибнуть от руки Владыки тьмы. Такой акт самопожертвования безусловно отсылает нас к главному мифу Запада. После смерти Гарри приходит в чувство в огромном зале, полном белого тумана и напоминающем вокзал Кингз-Кросс (отсюда поезда маглов уходят в Шотландию — на родину Роулинг — и отсюда же с платформы девять и три четверти отбывает поезд в Хогвартс). То обстоятельство, что именно здесь начинается посмертное существование Гарри, заставляет нас переосмыслить название вокзала и показывает, что текст Роулинг встроен в христианскую традицию. Есть и другая, более ранняя подсказка — лорд Волан-де-Морт, олицетворение зла, сам похож на змея и часто с ним появляется.

На преображенном вокзале Кингз-Кросс Гарри встречается с духом профессора Дамблдора. Тот предлагает ему выбор: сесть в поезд или вернуться в Хогвартс, чтобы сразиться с лордом Волан-де-Мортом в последний раз, — иными словами, воскреснуть. Ясно, что, будучи героем, Гарри выбирает второе. Его будто бы мертвое тело приносят в замок — показать безутешным друзьям, пока слуги зла насмехаются над ним и его сподвижниками. И тут он оживает, сражается на жезлах с Волан-де-Мортом и одерживает победу. Добродетель торжествует, а Министерство магии, Хогвартс и, хочется верить, "Ежедневный пророк" возвращаются к относительно благожелательным лидерам.

Мнения читателей о концовке сериала разошлись. Иные из моих многочисленных собеседников, в том числе подростки, довольны тем, что Гарри выжил. Другие же не просто ожидали его смерти, но и хотели бы, чтобы серия завершилась его гибелью. И в самом деле, постоянные заверения Роулинг, что она "убьет некоторых героев", предполагают именно такой финал. (В "Дарах смерти" гибнут более пятидесяти персонажей, но большинство из них — безымянные или второстепенные. Самые заметные и невосполнимые потери, по мнению информантов, — Фред Уизли и эльф-домовик Добби.)

Почти все опрошенные неодобрительно отозвались об эпилоге книги, который переносит нас на вокзал Кингз-Кросс девятнадцать лет спустя. Из него мы узнаем, что Джинни Уизли и Гарри Поттер — родители троих детей, двое из которых вот-вот отправятся в Хогвартс. Хотя многие пассажиры глазеют на Гарри, Роулинг, похоже, наконец сделала героя обычным человеком, о чем он так мечтал (и даровала ему то же количество детей, какое есть у нее самой). Гермиона и Рон теперь тоже женаты, у них двое детей, один из которых садится на поезд.

Автор не сообщает ничего нового о других персонажах цикла, разве только, что Невилл Долгопупс стал профессором гербологии в Хогвартсе. Хотя шрам Гарри не напоминает о себе уже девятнадцать лет, зло не исчезло с лица земли. В Хогвартсе все еще остается Слизерин, ученики которого "используют все способы для достижения цели", а значит, каждый четвертый будущий волшебник находится под влиянием темных

1. Lord Raglan. The Hero: A Study in Tradition, Myth and Drama. London: Methuen, 1936). (1) "При рождении [в случае с Гарри — когда ему был один год] предпринята попытка его убить", однако (2) "его похищают" и (3) "он воспитывается у приемных родителей в глуши" (Гарри попадает к маглам в Суррей, место не только географически удаленное от мира волшебников, но и никоим образом не связанное с магией). (4) "Достигнув возмужания, он возвращается <...> в свое будущее королевство..." (Хогвартс). (5) Он одерживает "победу... над драконом или диким зверем", а заодно побеждает целый ряд злодеев, как людей, так и в нечеловеческом обличье. Под конец (6) "смерть его окутана тайной". (*Прим. авт*ора)

сил. Эпилог также ставит крест на новых книгах о Гарри Поттере: вряд ли поклонникам будут интересны его похождения за минувшие девятнадцать лет или даже его дальнейшие приключения. "Как ни крути, — заметил один четырнадцатилетний читатель из Санта-Крус, — но кому он интересен, если стал обычным папашей средних лет?"

Резкая критика — реакция на быстрый успех книг о Гарри Поттере, — похоже, пошла на убыль. Надо сказать, что в основном ее высказывали убежденные христиане, в принципе не принимающие книг о добрых волшебниках или волшебницах (даже "Волшебника из страны Оз"). Жалобы на то, что Гарри и его друзья — отнюдь не примерные члены общества, что они нарушают самые разные правила, не слушаются взрослых, а порой даже воруют и лгут, также раздаются все реже. Впрочем, обвинения эти справедливы. Возможно, по мере взросления героев поступки их стало проще оправдать, особенно после того, как в Хогвартсе появились учителя, стремившиеся погубить Гарри Поттера и его друзей. Сегодняшнюю критику можно назвать более аналитической — как в литературоведческом, так и в психологическом смысле. Многие авторы недавно вышедшего сборника "Психология Гарри Поттера", имеющие (как и его составитель) степень по психологии, нередко описывают объект исследований с известной иронией[1].

Однако они сетуют на то, что в Хогвартсе, где дети вынуждены все зазубривать наизусть, их не учат критическому мышлению и не проводят с ними сколько-нибудь полезных занятий по профориентации. С другой стороны, проблемы во взаимоотношениях взрослеющих Гарри и Рона психологи объясняют обстоятельствами их жизни. Рон — один из семерых детей в бедной семье — страдает синдромом повышенной тревожности, потому что у его родителей просто нет возможности уделять ему достаточно внимания. А у Гарри, выросшего у нелюбящих родственников-провинциалов, развился синдром покинутости. (Гермиона, напротив, — прекрасный пример защищенности и уверенности в себе, ведь у нее любящие и заботливые родители.) Своевременное вмешательство дипломированного детского психолога-магла могло бы облегчить мальчикам жизнь, а вот Тому Риддлу, будущему лорду Волан-де-Морту, отвергнутому при рождении матерью и вкусившему всю горечь сиротства, уже ничем не поможешь: он страдает серьезным расстройством психики с ярко выраженной антисоциальной направленностью.

Рассмотрев весь цикл романов, невольно задаешься рядом вопросов. Прежде всего, трудно понять, почему так много волшебников и волшебниц присоединились к Владыке тьмы и стали Пожирателями смерти. Ведь Волан-де-Морт не обаятелен и не хорош собой, в отличие от многих других предводителей сил зла — как вымышленных, так и исторических. Один его вид вызывает отвращение, а со своими соратниками он неизменно холоден, высокомерен и жесток. С другой стороны, многие Пожиратели смерти по-своему очаровательны, не говоря уж об их сверхъестественных помощниках. Одна из лучших находок Роулинг — дементоры. Они носят черные плащи с капюшонами, а из рукавов у них торчат когтистые руки, покрытые струпьями. Существа эти распространяют вокруг себя волны безнадежности и депрессии. Где бы они ни появлялись, они пробуждают только худшие воспоминания, отчего у человека пропадает всякая охота что-либо делать, он становится апатичным, не замечает вокруг ничего доброго и прекрасного.

Дементоры — воплощение эмоций, которым время от времени подвержены все мы; кроме того, они напоминают личности, которые все

1. The Psychology of Harry Potter: An Unauthorized Examination of the Boy Who Lived, edited by Neil Mulholland. Benbella, 2007. (*Прим. автора.*)

мы имели несчастье встречать. Стоит таким людям войти в комнату и бросить пару безобидных вроде бы реплик, как жизнь становится невыносимой. Сошлюсь на собственный опыт: "Да-а, в вашем возрасте перелом — это серьезно. Скорее всего, вы так и будете прихрамывать"; "Жаль, что ваша статья вышла в журнале, который никто не читает".

Без сомнения, в книгах о Гарри Поттере есть и аллегорическое изображение современной политики. В самом начале цикла Министерство магии на Даунинг-стрит описано как бюрократическое учреждение, деятельность которого практически парализована чрезмерно суетливыми чиновниками и громоздким ведомственным уставом. Затем выясняется, что в руководстве сидят недотепы, главная цель которых — любой ценой избежать хлопот. Вот почему их нимало не заботит, что лорд Волан-де-Морт вернулся и над всем волшебным миром нависла угроза. Постепенно становится понятно, что кое-кто из чинуш берет взятки, вследствие чего этими людишками нетрудно манипулировать. В "Ордене Феникса" мистер Уизли, отец Рона, замечает, что министр магии Фадж — обратите внимание на его фамилию[1] — находится в подозрительных сношениях с богатым и могущественным Люциусом Малфоем. Мистер Уизли — человек скорее хороший, но слабый, да и администратор неудачливый. "Малфой годами проявлял щедрость к нашим начинаниям, — рассуждает он. — Если свести его с нужными людьми — он попросит об услуге. К примеру, отложить принятие нежелательных для него законов".

Еще одна политическая аллюзия — тюрьма из "Узника Азкабана". Азкабан — это уединенное место далеко на востоке, куда ссылают людей, которых министерство объявило преступниками, и где их пытают дементоры. В самом начале поттеровского цикла трудно было предположить, что Азкабан можно связать с печально знаменитыми тюрьмами ЦРУ в Восточной Европе. Сегодня, однако, такая ассоциация ни у кого не вызывает сомнений. Стоит также отметить, что в последующих книгах Роулинг выражает все большую тревогу в связи с самой этой системой контроля над преступностью. Читатель узнает не без удовольствия, что спустя девятнадцать лет после известных событий (теоретически в 2017 году) Азкабан и его магловские аналоги будут навсегда уничтожены.

1. To fudge — хитрить, ловчить; подделывать (*англ.*).

Александр Мелихов
Фабрика фальшивого золота

Какой интеллигент не сетовал на то, что бессмысленный и беспощадный рынок с его культом прибыли гибелен для высокой культуры. Но зато какое пиршество духа разворачивается в те дни, когда беспристрастный суд истинных знатоков венчает подлинные шедевры Нобелевской премией! И кажется, даже младенцы не смеют пикнуть, что Нобелевская премия по литературе — это истинная "панама" всех времен и народов.

Народы мира довольно часто продают чужеземцам свои природные ресурсы; продажа территорий — дело гораздо более редкое: когда сионисты обратились к благоволившему им турецкому султану с просьбой продать им какую-то часть Палестины, тот вежливо попросил их больше не делать ему подобных предложений, ибо земля не его личная собственность, а добытое кровью наследие предков. Территория страны, как правило, входит в единый образ родины в качестве одной из национальных святынь, а потому может быть изменена лишь путем каких-то тяжких потрясений, железом и кровью. Но поскольку народы создаются и сохраняются какой-то системой наследственных иллюзий — национальной культурой, — то самой высокой национальной ценностью является культурный суверенитет, право самим определять собственных любимцев и наделять их венцом бессмертия, самим определять собственных великих писателей и поэтов и выбирать любимцев в иных культурах. Это право издавна тоже могло быть отнято лишь железом и кровью. И только XX век додумался, что и это право можно купить.

Символично, что именно изобретатель динамита сумел взломать систему национальной культурной обороны всех стран отнюдь не взрывчаткой, а заработанным с ее помощью златом. Купив для своей прелестной страны, не являющейся великой литературной державой, право назначать великих писателей для всего мира. Тогда как до этого у деятелей духа было лишь одно орудие экспансии — обаяние, способность очаровывать мир плодами своей фантазии.

И те творения, которым удавалось в течение десятилетий выстоять во всемирном состязании грез без специальной финансовой и рекламной поддержки, — только они и только таким путем обретали право называться мировыми шедеврами.

Но, может быть, этот либеральный метод "естественного отбора" чрезмерно хаотичен и расточителен? Может быть, какая-то авторитарная группа экспертов способна загодя отобрать те произведения, которым предстоит сделаться украшением национальных культур и войти в культуру мировую? Может быть, с некой вершины легче заглянуть через национальные границы, чтобы определить, кто достоин бессмертного венца?

Увы — такого быть не может. Шедевры создают люди духа, творцы и служители наследственных грез, — премиями награждают люди

© Александр Мелихов, 2008

дела. Которые в своей узкой сфере могут быть вполне полезными и даже добропорядочными существами, но, вмешиваясь в сферу духа, неизбежно превращаются в ту самую пушкинскую чернь, которая оценивает на вес Бельведерский кумир, стремится высшее поставить на службу низшему, вечное — суетному. Иногда каким-нибудь философским умничаньям, но чаще всего — старой доброй политике, борьбе за физическое доминирование. Цветаева называла чернью тех, кто считает Гумилева великим поэтом за то, что его расстреляли, а Маяковского поэтом скверным за то, что он пошел на службу большевикам. И можно с уверенностью сказать, что Нобелевской премией аристократов духа награждает чернь. А значит, мотивы награждения у нее могут быть только фальшивыми, если даже в силу каких-то обстоятельств награжденным окажется настоящий классик.

Результат оказывается примерно таким же, как при награждении Ленинской премией: в основном награждаются *нужные* люди ("нужность" у каждой премии в каждый исторический миг своя), разбавленные знаменитостями, чьими именами премия поддерживает свой авторитет, заодно разрушая шкалу ценностей, протаскивая свои конъюнктурные креатуры в один ряд с истинными классиками, Елинек в один ряд с Гамсуном и Памука — с Киплингом. Разница между Нобелевской и Ленинской премиями, конечно, существенная: Ленинская премия выдавала за золото глину, а Нобелевская — только латунь, но зато и авторитет у Нобелевской неизмеримо выше, а потому и вред, который она наносит искусству, неизмеримо больше. Фальшивая монета, которую наивные люди принимают за чистую, представляет бóльшую опасность. Ленинскую премию, к счастью, никто всерьез не принимал...

И в ту пору, когда она была главным навязанным авторитетом, Нобелевская — ощущалась культурным союзником: премия, поддержавшая Бунина, Пастернака, Солженицына, Бродского... А теперь она сама сделалась навязанным авторитетом, забивающим наши души подделками. Заставляя вспоминать такие неуместные, вроде бы, в культуре слова, как суверенитет и самооборона. Но всякое влияние, ощущаемое как принуждение, именно в культуре порождает особенно острый отпор.

Сегодня Нобелевская премия лишь дискредитирует награжденных писателей, заставляет выискивать конъюнктурные мотивы, по которым оказались избранными именно они: что это — кость, брошенная феминисткам? Или какому-то угнетенному меньшинству? Правым, живущим под властью левых, или левым, живущим под властью правых? Либералам в коммунистическом окружении или коммунистам в либеральном? Традиционалистам, борющимся с модернизаторами, или модернизаторам, борющимся с традиционалистами? Тогда как подлинное искусство, наоборот, заставляет забыть обо всей этой дребедени...

Даже единственная ложка лжи в бочке правды уже заставляет с недоверием принюхиваться к каждой новой порции, а если лжи больше половины... Ведь если взять список нобелевских лауреатов за тот период, которому история уже вынесла свой приговор — скажем, до шестидесятых годов XX века, — то классиков среди них окажется не более трети. А если обратиться, так сказать, к истокам, к генотипу, рассмотреть, скажем, параллельный ряд литераторов и физиков из первой великолепной семерки...

У физиков каждое имя звенит бронзой: Рентген, Лоренц-Зееман, Беккерель-Пьер, Мария Кюри, Рэлей, Ленард, Дж. Дж. Томсон, Майкельсон.

А у литераторов — Сюлли-Прюдом, Моммзен, Бьёрнсон, Хосе Эчегарай-и-Эйсагирре, Сенкевич, Кардуччи, Киплинг, — если не считать Киплинга, эхо отзывается куда менее звонкое...

Зато звон монет толпа слышит более чем отчетливо: не может же быть, чтоб такое бабло давали за фу-

фло!.. Может, может, дорогие наивные товарищи, у нас уже давно все то же, что и у вас.

В списке первых нобелевских лауреатов блистательно отсутствуют Марк Твен, Золя, Чехов, Стриндберг, Ибсен, Толстой. Естественно, со всех сторон выдвигавшийся и каждый раз отвергаемый высоким собранием анонимов. Однако лишь по истечении полувекового срока давности (вот пример истинной прозрачности!) военная тайна обсуждения кандидатуры величайшего писателя всех времен и народов была приоткрыта. Не могу удержаться и не пересказать фрагмент статьи Абрама Блоха "Несостоявшиеся Нобелевские премии в русской литературе" ("Всемирное слово", 2002, № 15). Синклит или там ареопаг, возглавляемый Карлом Давидом Вирсеном (хороша перекличка: Лев Толстой — Карл Давид Вирсен, это еще покруче, чем восьмая нобелевская пара Резерфорд — Эйкен[1]!), требовала от претендентов "высокого и здорового идеализма", а Толстому всякий раз не хватало то здоровья, то высоты: "Насколько, в сущности, здоров идеализм писателя, когда в его особенно великолепном произведении 'Война и мир' слепой случай играет столь значительную роль в известных исторических событиях, когда в 'Крейцеровой сонате' осуждается близость между супругами и когда во многих его произведениях отвергается не только церковь, но и государство, даже право на частную собственность, которой он сам столь непоследовательно пользуется, когда оспаривается право народа и индивида на самозащиту".

Расшаркиваясь перед "бессмертными" "Войной и миром" и "Анной Карениной", всемирные судьи впадают в "чувство нравственного негодования" перед "Воскресением", "Власть тьмы" ужасает их "зловещими натуралистическими картинами", "Крейцерова соната" оскорбляет проповедью "негативного аскетизма"... Интересно бы заглянуть в протоколы нобелевских мудрецов, где обсуждаются Джойс и Пруст (Кафка-то наверняка остался незамеченным), — понизилась ли в них концентрация пошлости, пафос служения печному горшку банального морализма? Хотелось бы надеяться, но что-то не выходит: всякая власть развращает — власть абсолютная развращает абсолютно.

В итоге, берясь за книгу еще не успевшего обронзоветь естественным путем нобелевского лауреата, вместо того чтобы предвкушать освобождение от мира суеты, наоборот, ощущаешь недоверчивую настороженность: ну что там тебе еще собираются впарить? В чем заключается та примесь фальши, "нужности", которая позволила автору подняться на этот кратковременный пьедестал на современной ярмарке суеты?

Впрочем, это и хорошо — подвергать продукцию подозрительной фирмы независимой экспертизе. Те читатели, чей вкус воспитан Пушкиным, Толстым, Достоевским, Буниным — да и нобелевскими лауреатами из дымовой завесы: Анатолем Франсом, Гамсуном, Хемингуэем... — сделали бы благое дело для литературы, если бы регулярно разбирали особо приглянувшиеся им подделки в специальной рубрике "Фальшивое золото". Как еще мы можем противостоять этой организованной силе высококвалифицированной пошлости?

Последнее впечатление этого рода — Орхан Памук, нобелевский лауреат 2006 года. Его роман "Снег" читаешь, не веря своим глазам. Если бы его принес в толстый журнал какой-нибудь молодой писатель, ему бы наверняка посоветовали обратить роман, где искусство и не ночевало, в очерк, чтобы не потерять столь значительную тему — борьбу исламизма со светским государством в современной Турции. Сюжет, впрочем, был бы даже увлекателен, если бы герои подавали хоть

1. Рудольф Эйкен (1846–1929) — немецкий философ, удостоенный в 1908 году Нобелевской премии по литературе. (*Прим. ред.*)

малейшие признаки жизни, а не были идеологическими схемами. Впрочем, когда они произносят хотя и неестественные, но интересные идеологические монологи, это еще куда ни шло: "По отдельности беднякам, может быть, и сочувствуют, но когда бедна целая нация, весь мир первым делом думает, что это нация глупая, безголовая, ленивая, грязная и неумелая. Вместо того чтобы посочувствовать им, мир смеется. Их культура, их традиции и обычаи кажутся ему смешными".

Но когда они пытаются любить... "Наслаждаясь тем, что они держат друг друга в объятиях, они с большим желанием поцеловались и упали на кровать рядом друг с другом. За этот короткий миг Ка почувствовал такое потрясающее желание, что в противоположность пессимизму, только что владевшему им, он с оптимизмом и желанием, не ведающим границ, представил, как они снимут одежду и будут любить друг друга". "Он сразу же изо всех сил обнял ее; и, засунув голову между ее шеей и волосами, стоял так не шевелясь". "После этого они с огромной силой сблизились друг с другом, и остальной мир остался где-то далеко". Это уже похоже на издевку: что это дурачье (мы с вами) еще готово слопать? Ей-богу, я был бы этому почти рад — чтобы на литературном Олимпе сидели веселые бесстыдники, а не добропорядочные тупицы. В этом было бы как-то больше жизни.

Однако вряд ли, Нобелевская премия — это слишком серьезно. На задней обложке "Снега" приводится восторженный отзыв "Daily Telegraph": "Орхан Памук из тех писателей, для которых создана Нобелевская премия".

Для неглупых и актуальных публицистов, лишенных художественного дара? Теоретически, правда, можно допустить, что виною всему переводчик. Но ведь помимо языка есть еще и смысл, и, если смысл фальшив или пошл, с этим ничего не сможет сделать никакой мастер стиля...

К счастью, роман нобелевского лауреата Имре Кертеса "Без судьбы" (М.: Текст, 2007) очень быстро разгоняет недоверие — прежде всего предельной безыскусностью. Автор по крайней мере не пыжится, а точно перечисляет нарастающие обстоятельства: "В школу я сегодня не пошел. То есть пошел, но только чтобы отпроситься. Отец написал записку с просьбой освободить меня на весь день — 'по семейным обстоятельствам'. Классный наставник поинтересовался, что это за семейные обстоятельства. Я сказал: отца забирают в трудовые лагеря; больше классный наставник ко мне не цеплялся", — этот аскетичный, фиксирующий слог переводчиком Юрием Гусевым выдержан превосходно до самого конца.

И вот паренек идет к отцу, ему хочется расстегнуть куртку, но вдруг ветерок еще откинет в сторону полу — "и желтой звезды не станет видно, а это не по правилам. Нынче в некоторых вещах надо быть осмотрительным". Мир взрослых еще более осмотрителен: жена отца (он в разводе с матерью главного героя) уже заготовила список вещей, которые понадобятся отцу в трудовом лагере; торговцы заготовили нужные товары вплоть до очень красивых желтых звезд (догадались обтягивать тканью картонную форму), не говоря уже о котелках с герметичной крышкой, многофункциональных перочинных ножах и прочих практичных предметах. Трудовой лагерь называется Маутхаузен, но об этом оставшиеся в живых родственники узнают только после войны. А пока они напрягают всю свою мудрость, чтобы придать происходящему какой-то приемлемый смысл. Дядя Вили точно знает, что гонениями на евреев немцы шантажируют державы коалиции, чтобы вытребовать более выгодный мир, — ведь те на что только не пойдут, чтобы спасти евреев! Дядя Лайош призывает смиренно принять извечную еврейскую судьбу и отнестись к испытанию как к наказанию за грехи — но для пацана это как-то слишком абстрактно.

И когда его самого отправляют на работу в Германию, он ощущает что-то даже вроде удовлетворения: "Благодаря этому, как я надеялся, моя жизнь наконец обретет размеренность и упорядоченность, я буду занят полезным делом, у меня появятся новые впечатления, а иногда, конечно, и поводы пошутить, посмеяться", – что им и обещали. Питья, правда, в поезде очень даже не хватало, но знающие люди разъясняли, что шесть-семь дней даже в жаркую погоду можно кое-как протянуть. И они в конце концов действительно прибывают на захолустную станцию "Auschwitz-Birkenau", их встречают какие-то преступники в полосатых робах, так что среди этого гвалта герой ощущает даже некоторое облегчение, увидев немцев в зеленых фуражках: "Аккуратные, подтянутые, чисто выбритые, они олицетворяли в этом столпотворении незыблемость и порядок". И многие взрослые их тоже оценили: надо показать немцам, что мы тут люди разумные, а не какое-нибудь бестолковое стадо! И когда героя переводят в более гуманный Бухенвальд, а оттуда в малоизвестный трудовой "лагпункт", он тоже первым делом хочет показать конвоиру, как хорошо он умеет работать. И лишь натолкнувшись, мягко говоря, на непонимание, он превращается в нормального зэка, то есть сачка.

С какого-то места повествование перенасыщается выражениями вроде "само собой", "надо признать", "если подумать" – герой хочет признать естественность этого мира, который еще вчера бы назвал абсурдом, если бы знал это слово, которому еще предстояло сделаться модной пошлостью. Ведь и Кафка вошел в моду, когда мир постановил, что он предсказал концлагеря... Хотя Кафка показал бессилие человека перед мирозданием, каким оно бывает всегда, но пошлякам открывается лишь в мгновения ужаса. Зато Кертес убедительнейшим образом показал, что человека действительно можно убить, но сломить нельзя: люди до последнего мгновения защищаются какими-то иллюзиями, придающими окружающему какой-то смысл, а им самим – какое-то достоинство. Хотя все лагерные ужасы изображаются с почти протокольной простотой: как бороться с грязью, если на тебе башмаки с деревянной подошвой и тряпочным верхом, к тому же приклеившиеся к ноге, сочащейся кровавой жижей, как быть, если во время работы тебя схватит – а это вещь неизбежная – понос, как переносить побои, которые являются привычной практикой концлагеря...

Правда, у доходяг проблем намного меньше: когда их начинают бить, они сразу же падают и засыпают, хоть в луже. А когда в рану набиваются вши, они лишь стараются поменьше об этом думать – "таков порядок вещей в природе".

И все же... "Могу со всей ответственностью сказать: видимо, невозможно накопить в душе столько печального опыта, невозможно впасть в такое абсолютное безразличие, невозможно дойти до такой степени всепонимания и всепрощения, чтобы не дать какой-то шанс и удаче". И когда умирающего старца-подростка привозят обратно в Бухенвальд и сваливают в кучу с прочим отработанным человеческим шлаком, ему все еще немного любопытно, каким образом его прикончат – газом, пулей, ядом или еще как-нибудь. Тем не менее он страстно надеется, что ему будет не больно. И все-таки из гордости он не задает этот вопрос тем, кто толкает тележку с его останками. И все-таки в нем таится безрассудная мечта еще хоть немножко пожить в этом прекрасном концлагере!

Но когда, каким-то чудом оказавшись в больнице, он доживает до освобождения и слышит по радио весть о свободе, он испытывает недовольство: а почему нет ни слова о супе, ведь приближается обеденный час! И когда, уже в Венгрии, прогрессивный журналист просит рассказать о лагерном аде, этот образ кажется ему пустым: ад – это место, где не соскучишься, а в лагере, даже

в Освенциме, могло быть и скучно. А главным врагом человека было время — те громады секунд, каждую из которых надо было как-то прожить. Хотя спасало то, что все эти секунды приходилось проживать по отдельности, а не все разом.

Журналист был симпатичный человек, поэтому юный мудрец выбросил бумажку с его телефоном не у него на глазах.

Впрочем, пора остановиться, потому что упоминания требует буквально каждая строка этой небольшой книжки, которая воистину томов премногих тяжелей. Но что обидно — она мечена тем же самым нобелевским клеймом, что и всего лишь недурная, хотя и очень однообразная Елинек, и умный, но тусклейший Памук. Правда, насчет Памука я готов сделать уступку его поклонникам, вероятно, лучше меня читающим по-турецки: пусть даже во всем виноват переводчик. (Переводы Солженицына на английский, судя по комментариям Чуковского, тоже были чудовищны — но это опять-таки говорит о том, что и он получил премию за "нужность" — и слава богу: раз все равно в ходу фальшивая монета, так пусть на ней хоть раз заработаем и мы. Правда, заработала ли что-то русская литература — большой вопрос.) Так вот, пускай Памука испортил переводчик. Но, если бы на книге не стояло нобелевское клеймо, разве издатели, среди которых есть, несомненно, люди со вкусом, стали бы выбрасывать на рынок полуфабрикат? Разве стали бы его, не задумываясь, покупать сколько-нибудь культурные люди? И разве стали бы дожевывать его до конца, утратив доверие к собственному вкусу? Как видите, даже и в случае этого неправдоподобного допущения Нобелевская премия все равно сделалась двигателем и прикрытием халтуры.

Ей-богу, на месте журнала "Иностранная литература" я бы открыл специальную рубрику — "Пробирная палата", чтобы заново переопределять содержание золота в тех квазидрагоценностях "наилутчего аглицкого сорту", которые спускают на наши головы европейские авторитеты. А в экспертах недостатка не будет — в одном только Петербурге с ходу могу назвать нескольких: Самуил Лурье, Николай Крыщук, Елена Елагина, Валерий Попов. Пожелаете добавки — будет и добавка.

Разумеется, силы слишком неравны, но, если мы хотя бы в своем кругу научимся произносить слова "Нобелевская премия" без почтительного придыхания, уже и это будет неплохо.

А то что это еще за новое Политбюро мы посадили на свою голову!

Или это общий закон — устранение одного деспота открывает дорогу новым? И значит, в наших интересах оберегать Нобелевскую премию — чтобы не нажить худшего зла?

Александр Жолковский

Эссе

Он опыт из лепета лепит
И лепет из опыта пьет.

Недавно мне попалось на глаза признание Тургенева, поразившее своей убедительностью, ибо знакомое по собственному опыту:

> Поэты недаром толкуют о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не внушает им готовых песен, но особенное настроение, похожее на вдохновение, бывает. То стихотворение Фета, над которым так смеялись, в котором он говорит, что — не знаю сам, что буду петь, но только песня зреет, — прекрасно передает это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать — еще не знаешь, что́ именно, но чувствуешь, что писаться будет. Вот именно это-то настроение поэты называют "приближением бога". Я, например: какой я творец?.. <...> Я только подобие творца, но я испытывал такие минуты...

Подобных свидетельств много — особенно по поводу зарождения стихов. Недаром Тургенев говорит о *поэтах, музе, песнях* и в качестве примера приводит хрестоматийный ныне образец "чистой поэзии". Чище действительно некуда: стихотворение Фета, хотя и открывается обращением к собеседнику (*Я при́шел к тебе с приветом*) и картиной солнечного утра, но уже со второй строки и дальше все откровеннее обнаруживает свою нарциссическую сосредоточенность на собственной речи: за *приветом* следует четырехкратное *Рассказать*, замыкающееся сообщением о зреющей *песне*.

Правда, затем Тургенев делится с мемуаристкой своим опытом не поэта, а прозаика — рассказывает о возникновении замысла "Аси" и, значит, говорит об искусстве вообще. Не только поэзию имеет в виду и Пастернак, когда вторит Фету в "Охранной грамоте":

> Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновенье, и лучшие произведенья мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожденье.

Все же типичнее такая зацикленность на себе именно для поэзии — для стихов Фета и Пастернака, а не романов Тургенева и Толстого, где "наиразличнейшего" заведомо больше, чем авторефлексивного. Но есть прозаический жанр, который близок к поэзии своим программным предпочтением внутреннего мира внешнему, нацелен на беспредметные *взгляд и нечто*, питается внутренними соками, плетет шелковую нить из самого себя. Это эссе.

У русского слова *эссе* короткая история. В 1940 году в словаре Ушакова его еще нет[1], хотя уже в 1934 году оно было отмечено в Большой советской энциклопедии, а еще парой лет раньше употреблено в повести П. А. Павленко "Баррикады". Правда, у Павленко оно фигурирует в более экзотическом написании, в заграничном и притом идеологически выдержанном контексте и на всякий случай пока что в кавычках:

1. Правда, задолго до этого, в 1904 г., *ЭССЕ* можно было найти у Брокгауза и Ефрона, но только в качестве реки в Западной Финляндии, она же *ЭХТЯВЯН-ЙОКИ*.

© Александр Жолковский, 2008

"Баррикады" — повесть о Парижской коммуне, и "непревзойденные образцы корреспондентских 'эссэ'" там дает не кто иной, как Энгельс. К 1949 году *эссе* попадает в Словарь иностранных слов, а в 1965-м, наконец, в 17-томный Академический словарь современного русского литературного языка[1].

Основоположником и крестным отцом жанра был Монтень, так и озаглавивший свою многотомную книгу: *Les Essais* (1580). Всего два-три десятка лет потребовалось этому наименованию, чтобы перекочевать в английский — Фрэнсис Бэкон назвал свой капитальный труд *Essayes* (1597—1612), и в 1609 году Бен Джонсон употребил уже и слово *essayist*. Но в немецкий *der Essay* был введен лишь в 1860-е годы (Германом Гриммом, сыном и племянником знаменитых братьев), а в русском название этого жанра ожидала непростая судьба.

Соблазнительно думать, что по-русски книга Монтеня могла бы сегодня называться "Эссе". Однако для нас он бесповоротно остается автором "Опытов", как озаглавливались все переводы, начиная с 1762 года. Оригинальная семантика слова *опыт* придает этому заглавию ауру загадочности, до сих пор располагающую к подражаниям[2].

В современном языке — да, собственно, уже и в пушкинском — *опыты* имеют троякое значение: "испытанные события и переживания"; "научные эксперименты"; "попытки, пробы, в частности литературные". Круг значений французского слова *essai* примерно таков же. С той разницей, что смысловым ядром этого существительного, как и соответствующего ему глагола *essayer* (пытаться, пробовать) является *попытка* — именно *попытка*, будь то житейская или литературная, а не ее интеллектуальное осмысление и эмоциональное переживание, приводящее к накоплению *опыта* (для чего есть слово *expérience*), и не ее осуществление в порядке *опыта* научного (*expériment*).

Монтень имел в виду, конечно, предложить читателю свои *литературные попытки* (*пробы пера, наброски, эскизы, этюды, очерки*), акцентируя их фрагментарность, неокончательность, некатегоричность, субъективность. Эта "пробность" сродни той творческой авторефлексии, с которой мы начали, — повышенному вниманию не столько к изображаемой объективной реальности или хотя бы к объективному результату данной "попытки", сколько к самому процессу письма. Центр тяжести *essai* помещается не между текстом и действительностью, а между автором и его текстом.

В пользу родства *essai* с поэзией говорит, например, пустившее глубокие корни в русском литературном языке название батюшковской книги "Опыты в стихах и прозе" (1817), эпиграфом к которой взяты слова Монтеня: "И если никто меня не прочитает, потерял ли я мое время, проведя столько праздных часов в полезных и приятных размышлениях?", а среди заглавий прозаических опытов есть "Нечто о поэте и поэзии", "Нечто о морали..." и "Похвальное слово сну".

К пробам пера на тему *взгляд и нечто* демонстративная субъективность, чтобы не сказать эгоцентризм, монтеневских "Опытов" не сводится. Речь в них идет в основном именно о личности, переживаниях, воспоминаниях, самонаблюдениях и умозаключениях автора, то есть о его внутреннем *опыте*, чем дополнительно оправдывается русская версия заглавия, хотя во французском идея *expérience* отсутствует. И совершенно уже безосновательно, благодаря неожиданному стечению лексических обстоятельств, в русское заглавие оказывается привнесен элемент "экспериментаторства", и Монтень обретает несвойственные ему черты есте-

1. Характерно, что *эссеист* есть уже у Ушакова. Дело в том, что на русский слух *эссеист* морфологически гораздо прозрачнее и потому проникает в язык и фиксируется в словарях, начиная с первых лет XX века.

2. Ср., например, книгу: Марк Фрейдкин. Опыты (М.: Carte blanche, 1994), один из разделов которой, кстати, озаглавлен "Книга ни о чем".

ствоиспытателя, еще больше усиливающие магию его облика.

В дальнейшем своем развитии французское *essai* и английское *essay* утратили нарциссическую эскизность и стали выноситься в заглавие не только коротких субъективных набросков, но и сколь угодно солидных исследований. Таковы уже *Essays, or Counsels Civil and Moral* Бэкона, переводимые как "Опыты, или наставления нравственные и политические", и двухтомный *Essai sur la littérature anglaise* Шатобриана (1836) – "Опыт об английской литературе". А постепенно русские *Опыты* стали применяться при переводе и тех иностранных названий, в которых не было ни слова *essai* или *essay*, ни вообще чего-либо "пробного".

Так, оригиналом "Новых опытов о человеческом разуме" (в другом переводе – ... "о человеческом разумении") Лейбница являются *Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand* (1703–1704). Немецкое слово *Abhandlung* значит "сочинение, статья, трактат, доклад", и в нем полностью отсутствует идея "попытки". Оно восходит к глаголу *abhandeln* (выторговывать, разрабатывать, обсуждать), в свою очередь производному от *handeln* (действовать, поступать, трактовать, торговать, вести переговоры) и семантически опирающемуся на образ руки (*Hand*) как органа всевозможных действий и взаимодействий, в частности, работы и торговли. Буквальным переводом *Abhandlungen* было бы "разработки, рассуждения".

Магнетическая притягательность "Опытов" в качестве заглавия для престижного иностранного текста приводит иногда к прямым искажениям смысла. Недавно вышел увесистый том Умберто Эко "Сказать почти то же самое. Опыты о переводе" (перев. с итал. А. Коваля. – СПб.: Симпозиум, 2006). Это перевод его книги *Dire quasi la stessa cosa: Esperienze di traduzione*, в подзаголовке которой стоят не *Saggi*, принятый итальянский эквивалент (и этимологический двойник) французского *Essais*, а *Esperienze*. Правильным переводом все равно остаются "Опыты", но уже не в смысле "попыток, эскизов", а в смысле "накопленного опыта". То есть не "Опыты о переводе", а что-то вроде "Из опыта переводчика". Разумеется, "Опыты о переводе" звучат красивее, как гласит известное mot: переводы, подобно женщинам (по-французски и по-итальянски "перевод" – *traduction, traduzione* – женского рода), бывают либо красивыми, либо верными.

Меня, однако, архаизированные *опыты*, наскоро припорошенные патиной времени, влекут меньше, чем откровенно пижонское *эссе*, приблизительным сверстником которого я, оказывается, являюсь. Прочитанный в студенческие годы сборник английских эссе "A Book of English Essays" (ed. W. E. Williams; Penguin, 1954) открыл мне манящую культуру сочинений на вольные темы, практически ни о чем. Навсегда запомнились такие заголовки, как "Несколько мыслей о сне" Ли Ханта, "Защита бессмыслицы" Честертона, "Апология бездельников" Стивенсона, "О ничегонеделании" Пристли. Я даже попытался подражать – произвел на свет эссе о самоубийце, который никак не мог остановиться на совершенном способе покончить с собой, надумал наконец отравиться серой со спичечных коробков и головок, но занявшись ее соскребанием, так хорошо организовал эту работу, так в нее втянулся, что вернул себе чувство самоуважения и забросил мысль о смерти.

Мой опус не сохранился, так что отстаивать его художественные достоинства не приходится, но в замысле как таковом что-то было. Не говоря о чисто эссеистской умозрительности подхода к смерти, тема самоубийства прекрасно согласуется с "эгоцентричностью" эссе, его замкнутостью на себя. Самоубийство – это типичный случай самодостаточности, тем более самоубийство, претендующее на совершенство и осуществление с помощью самодельных средств. В авторефлексивном ключе выдержана и парадоксально сама себя готовящая развязка.

Возвращаясь к названию жанра, нарциссическим совершенством отмечено само слово *эссе* — почти идеальный палиндром, как бы предающийся самолюбованию в собственном зеркале. Идеальный в произношении и в недолго продержавшемся написании *эссэ*, а, впрочем, и в принятом, если учесть графику и название буквы *Э*: "*Э* (или *Е*) оборотное", то есть обратное к обычному *Е*; особенно наглядно это в заглавном варианте: ЭССЕ. Симметрическому совершенству слова *эссе* под стать его несклоняемость — оно всегда равно себе; средний род — центр симметрии, не нуждающийся в Другом; и фонетический средний ряд — е.

Не последнюю роль в придании *эссе* ореола самодостаточности играет его этимологическая непрозрачность: в русском словаре оно стоит совершенно особняком, и если с чем перекликается, то только с элитарными заимствованиями типа *вернисаж, глясе, фойе, шале*, превосходя их, однако, своей зеркальностью. Все вместе это создает ощущение зауми, глоссолалии, самовитости, блаженной бессмысленности. Заодно снимается налет "пробности" — *эссе* приобретает черты некого абсолюта.

Столь безупречный продукт — результат многовекового обтачивания в ходе языковой эволюции. Французское *essai*, фонетически подобное русскому, но графически досадно асимметричное (тем более во множественном числе), достигло своей относительной зеркальности (два *s* в середине, два [*e*] по краям) по мере того, как на устах говорливых галлов с него облетело все то лишнее, чем был обременен его латинский прообраз[1]. *Essai* — потомок позднелатинского *exagium* (весы, вес, гиря, взвешивание, измерение), в свою очередь восходящего к латинскому глаголу *exigo, exegi, exactum, exigere* (знакомому нам по эпиграфу из Горация к пушкинскому "Памятнику" — *Exegi monumentum*).

Глагол *exigo* состоит из приставки *ex-* (из, от) и одного из основных глагольных корней — *ago* (двигать, действовать); в результате он на редкость многозначен. Среди его значений — изгонять, лишать, пускать, пронзать, размахиваться, вывозить на продажу, отвергать, требовать, взыскивать, надзирать, совершать (вот оно горациевское "воздвиг"!), проводить, приспособлять, взвешивать, оценивать, измерять, обдумывать — есть и ведущие к *exagium* и к *essai*. По мере превращения латыни во французский было утрачено несимметричное деление на приставку и корень, а также отяжеляющие взрывные согласные *k* (в *ex*) и g[1]. Завершающей метаморфозой и стала реинкарнация французского *essai* в виде русского *эссе*.

Все эти рассуждения, конечно, бессильны против прочно занявших свою нишу "Опытов". Да моей целью и не было их оттуда выкуривать, поскольку очевидно, что из *essai* развились два не похожих ни друг на друга, ни на своего общего французского предка, по-разному нарциссичных русских слова *опыт* и *эссе*. Мне просто хотелось — в одну из тех "минут, когда чувствуешь желание писать, еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что писаться будет", — дать любимому жанру поговорить о себе.

1. Разумеется, в классической латыни подобное совершенство уже было — в виде инфинитива главного глагола всякого языка — *esse*, "быть", а также указательной частицы *ecce*, "вот". Есть такая глагольная форма и в немецком: *esse* — 1-е л. ед. ч. наст. вр. тоже очень важного глагола *essen*, "есть, кушать" ("я ем").

1. Это *g* сохранилось и даже интенсифицировалось в итальянском *saggio* [sadžo], тогда как начальное *E* пропало. Английское *essay* уклонилось от фонетической симметрии французского *essai* в другую сторону. Ненадолго оно проникло и в русский язык — в виде отчетливо йотированного *эссея*. Однако *эссей*, представленный в Энциклопедическом словаре Гранат (1948) вместо *эссе*, в узусе не закрепился, несмотря на свою вполне русскую морфологическую структуру, как если бы где-то на лингвистических небесах будущее было заранее суждено самовитому *эссе*.

Игорь Померанцев

Моя революционная деятельность в 1968 году

В 1968 году мне было двадцать лет. Я был студентом провинциального университета на Украине и принял посильное участие в бурных событиях 1968 года.

Во-первых, я внес свою лепту, хотя и скромную, в сексуальную революцию. В том году у меня был роман, самый настоящий роман, с моей преподавательницей английского языка. На английской кафедре зачуханного университета это произвело эффект "коктейля Молотова". За революционный поступок пришлось расплачиваться: мою возлюбленную изгнали из университета; правда, тотчас же пригласили на английскую кафедру местного медицинского института. Во-вторых, я напрямую занимался пропагандой Пражской весны. Каким-то чудом у меня оказалась украинская (русинская) газета, выходящая в Словакии. Это был как раз тот номер, в котором напечатали Программу действий чешских и словацких коммунистов. Программа по тем временам казалась апофеозом либерализма, и я читал ее вслух на всех университетских углах и даже на политинформации. На летние каникулы 1968 года я уехал работать в пионерский лагерь воспитателем. О вводе войск узнал по радиорепродуктору, прибитому к самой высокой сосне на поляне сборов. 1 сентября меня вызвали в Особый отдел университета, и старший лейтенант Решетилов спросил меня, как я отношусь к оказанию братской помощи Чехословакии. Я ответил: "Со стыдом и горечью". В течение последующих десяти лет мои отношения с КГБ то слегка портились, то катастрофически портились. Кончилось это отъездом из СССР.

За пропаганду Программы действий чехословацких реформаторов я расплачиваюсь до сих пор. С 1995 года я живу и работаю в Праге, и все эти годы чувствую, как меня не любят. В последний раз мне напомнили об этом летом 2008 года, когда я участвовал в Международном фестивале писателей. На фестивальной афише на Вацлавской площади какой-то доброжелательный русофил закрасил мое имя и слово "Россия". Благодаря местным русофилам я понял, что для внешнего мира мои личные поступки никакой роли не играют. Для чужих — я представитель государства Россия и типичный русский, хотя обладателем британского паспорта стал больше двадцати лет назад. Еще я понял, что все поступки, даже самые что ни на есть публичные, мы совершаем не ради "народа", "родины" и прочего, а в лучшем случае — ради близких, но чаще всего ради себя: чтобы уберечься от распада личности. В этом самом фестивале, посвященном 1968 году, участвовали и американские писатели. Они отважно обличали американскую агрессию во Вьетнаме и с упоением вспоминали о бурной молодости, стычках с полицией ("свиньями") в ходе антивоенных демонстраций, смело проводили параллели между войной во Вьетнаме и Ираке. Еще они говорили о мирных вьетнамских крестьянах, которых выжигали напалмом американские каратели. Ни один из участников дис-

© Игорь Померанцев, 2008

куссии ни разу не произнес слов "Китай", "СССР", "Ханой". Я пытался ненавязчиво напомнить, что в 1968 году демократически настроенная чехословацкая общественность противостояла тому же злу, что и американские солдаты во Вьетнаме: коммунизму. Еще я напомнил, что в войне в Южном Вьетнаме участвовали более ста тысяч северовьетнамских солдат, выдававших себя за вьетконговцев, сотни советских зенитчиков, сбивших тысячи американских самолетов, и десятки военных летчиков из СССР. Моим аргументам собеседники противопоставили веру и человеколюбие. Меня быстро осадили: "Так вы за войну или против?" Я вяло ответил: "Не в этом дело. Эта история не такая простая. В ней замешана не только Америка. А я лишь пытаюсь воссоздать происходившее". Меня не услышали. Американцев интересовал исключительно "американский угол зрения", чешский писатель в ответ на вопрос "Была ли Пражская весна частью революционных событий в Западной Европе и Америке" отделался расплывчатой фразой "У нас были другие задачи". Так что я остался наедине со своими воспоминаниями о радиорепродукторе, который в августе 1968 года сообщил мне и моим пионерам дурной прогноз, как тогда казалось, на всю оставшуюся жизнь.

Мне жаль, что меня не услышали. Мои собеседники, американские писатели, — люди художественно одаренные, красивые, как голливудские актеры, дружелюбные, светские, открытые, просто не люди, а голуби, лишь слегка удивились присутствию ястреба, но от диалога ушли. Впрочем, не совсем. Спустя несколько дней президент фестиваля пригласил меня и трех американцев на ужин в первоклассный пражский ресторан "Palffy Palac". Атмосфера там была действительно дворцовая. Вернувшись домой, я по памяти набросал наш разговор.

"Мы сидели с Великим Американским Поэтом, его женой и Маленьким Американским Поэтом. Маленький сказал: 'У нас сейчас фаистский режим'. Жена ВАПа поддержала его: 'Президент и его команда просто размазали нас'. Я деликатно заметил: 'Кто-кто, а я вас понимаю. Представляю, каких трудов вам стоило уйти от ФБР. Где будете просить политическое убежище? Здесь, в Праге, или в Париже? Я бы на вашем месте просил в Париже'. Повисла тишина (так это, кажется, принято называть). Маленький нарушил ее: 'А разве это не коммерческий фашизм, все эти жалкие киоски и палатки на Староместской площади?' — 'Господа, — радостно воскликнул я, — если мы сейчас дойдем до сокрушительной критики Макдоналдсов и размороженной жратвы на самолетах, то я приглашу официантов принять участие в нашей дискуссии!' Великий Американский Поэт крякнул и сказал: 'Игорь, сядьте поближе. Я понемногу глохну. Вы высказали несколько оригинальнейших идей, и я буду размышлять над ними'. Я пересел поближе. Великий спросил: 'Стихи Аллена, Гэри, Джека, всех нас, битников, в русском переводе звучат?' — 'Знаете, Майкл, у вас есть стихи о том, как американская солдатня в 1954 году у побережья Исландии расстреляла сто китов, так, забавы ради'. — 'А, эти стихи нравились Вознесенскому'. — 'Мне тоже нравятся. Но вот какая незадача: у нас это делали с людьми, и более основательно'. — 'Ага. Я буду размышлять'. — 'Но, если честно, то я перечел ваши стихи и стихи ваших друзей перед нашей встречей. Там так много шаманства, наркоты, завываний, камлания, воплей, потрясающей акустики, и вот что я понял: вы кричали вместе и порознь, потому что боитесь смерти. Орущий — бессмертен. По-английски ведь тоже есть такое выражение *мертвая тишина*?' — 'Я буду размышлять. У меня прежде никогда не было такого разговора'".

У меня тоже.

Прага глазами русского поэта из Черновцов

Выступление в пражском филиале Гёте-института

Поскольку я участвую в нашей научной конференции в качестве поэта, то я позволю себе говорить на ненаучном языке и делать рискованные, если не легковесные, обобщения.

Впервые я услышал в Черновцах о Праге от австрийских евреев, переживших Холокост и ГУЛАГ. В городе их оставалось немного, просто горстка. Они донашивали довоенное тряпье, но все равно были самыми элегантными, самыми изысканными горожанами. Они-то и рассказывали мне, как в начале тридцатых ночным поездом ездили на театральные премьеры в Вену и на концерты классической музыки в Прагу. Так что Прага с самого начала ассоциировалась для меня с музыкой.

Впервые я попал в Прагу сразу после "бархатной революции", в 1990 году. Наш роман начался сразу — я влюбился в город, хотя бытовых оснований к тому не было. Сначала нас с женой из-за наших британских паспортов сняли с ночного поезда на границе, потому что у Британии не было тогда соглашения с Чехией. Нас отвезли на какой-то другой пограничный участок, где мы должны были переночевать и оформить визы. Потом, оформив визы, мы поехали в Прагу, но вновь получилась путаница, мы вышли в Брно и увидели город, словно в первый день после войны, — город, который кто-то долго пытал, корежил, калечил. Поэтому не могу сказать, что в первый раз было, что называется, "добро пожаловать".

До Праги таки добрались, и началась любовь, но не сказать, чтобы взаимная. В первые дни я встретился там с другом, моим бывшим коллегой по Би-би-си Эгоном, впоследствии вице-премьер-министром Чехии. В начале восьмидесятых он работал в словацкой службе, а я — в русской. Мы, как диссиденты, первым делом отправились в диссидентское кафе "Славия". Сели за столик. Мой друг — полиглот, мы болтали по-русски, и потому официанты нас игнорировали. Эгон подозвал официанта и сказал: "Вы не хотите нас обслуживать, потому что мы говорим по-русски? Но этот джентльмен — он показал на меня — политэмигрант, диссидент, и вы могли бы оказать нам снисхождение". Ну тогда нам наконец-то принесли пиво. В тот же визит, влюбившись в этот город, я "заболел" мечтой — вернуться в Прагу, пожить в ней, поработать. Увы, эта мечта осуществилась. Почему "увы"? Потому что в первый раз я увидел город глазами туриста и книгочея. Когда-то алхимики, астрологи, оккультисты, жившие в Праге в конце XVI — начале XVII веков, во времена гениального императора Рудольфа II, воспринимали Прагу как таинственный текст, в котором можно найти разгадку жизни. Этот текст следовало читать глазами и ногами. Для них улицы, дома, площади были словами, главами книги, паролями, благодаря которым можно было найти философский камень, эликсир жизни. (Подробно об этом можно прочесть в книге Питера Маршалла "The Theatre of the World. Alchemy, Astrology and Magic in Renaissance Prague".) Я в тот первый приезд тоже читал Прагу взахлеб. Никогда прежде я не встречал такой концентрации урбанистической красоты. Это была магия.

А потом... Я работаю на радио "Свободная Европа" / "Свобода" и, как маркитантка, еду туда, куда едет радио. Вот нас бросают в Прагу — и Мамаша Кураж отправляется туда же. Но когда я понял, что Прага для меня — это место проживания, а не просто какой-то изумительный туристический город, то стало ясно, что жизнь здесь очень жесткая. Получилось, что я вернулся к людям, чьи судьбы исковерканы десятилетиями лишений — Второй мировой войной,

оккупацией, коммунизмом. Я понял, что жить с этими людьми — с одной стороны, сочувствуя, а с другой, опасаясь их, — не так просто. К тому времени я прожил почти 20 лет в Англии и Германии и отчасти утратил инстинкты выживания. Но оказалось, что все мои советские навыки, которые выработались в условиях, когда тебя обманывают, обжуливают, грубят, угрожают, унижают, во мне живы. Тем не менее я уже тринадцать с лишним лет живу в Праге. Мой роман с городом продолжается. А вот романа с людьми не получилось.

Странным образом я не чувствую себя здесь чужаком. Детство и юность я провел в Черновцах. Помню, когда я поступил в Черновицкий университет, то в роскошном саду университета, бывшей резиденции митрополита, увидел бюст архитектора Йозефа Главки, построившего этот комплекс. Сначала я вообще ополоумел, не поверил своим глазам, решив, что это Кафка или его герой Йозеф К. Главка был одним из крупнейших архитекторов Австро-Венгерской империи во второй половине XIX века. Он много и продуктивно работал в Праге. А первая улица, на которой я поселился в Праге, называлась Шопенова, в районе Виноградов. И рядом с моим домом было несколько корпусов Пражского университета, как раз построенных Главкой. Получилось, что у меня — чего не было в Мюнхене — появилась какая-то другая мотивация, кроме работы: я вернулся на родину. А с родиной у нормального человека сложные отношения — отталкивания и притяжения. И чем дольше я жил в Праге, тем ясней понимал: как раз я, приезжий с черновицкими корнями, и есть пражанин. А большая часть населения Праги, кажется, не имеет отношения к своему городу. И вот это притяжение-отталкивание во мне до сих пор осталось.

Уже тринадцать лет я не перестаю удивляться Праге. Здесь с каждым домом ты можешь разговаривать. Это такие карнизы, балконы, окна, арки!.. Такие курватуры! Остановись и поговори. Я останавливаюсь, замираю и начинаю говорить. Этот бесконечный разговор с городом, его зданиями продолжается до сих пор. Мне есть с кем поговорить. И это достойные собеседники.

Что до стиля жизни, то вынужден признаться в том, что стараюсь жить здесь колониальной жизнью. Это значит, что хожу в места, где приятно, красиво, *дорого*, — иначе я бы здесь не выжил после Мюнхена и Лондона. Откровенно признаюсь в своих буржуазных привязанностях. Мои любимые места — не очень пражские, скорее колониальные. Я помню убогость и мизерность советской жизни, когда очагами цивилизации были гостиницы "Интуриста". Там можно было увидеть виски, коктейли, какую-то подсветку цивилизации. А все свое было таким бедным, жалким. И вот в первые годы в Праге я вдруг оказался втянутым в это неказистое прошлое. Ты идешь в гостиницу "Хилтон", потому что город невзрачный, темный, грязный. Отчасти возвращение в Прагу и было возвращением домой, по Пастернаку: "Ты рядом, даль социализма".

Что до излюбленных мест, то я живу в замечательном районе, на улице Катержинской, в кружеве переулков, где не бывает туристов. Это район психиатрических лечебниц. Я чувствую себя в нем очень уютно. Да, на Катержинской не бывает туристов, но хочу уточнить. Обычно туристы раздражают, мешают. А как раз в Праге туристы меня радуют. Они хорошо одеты, они сыты, они совпадают с городом. Потому что город был задуман людьми фантастически богатыми, людьми с буйным воображением, с сильными эротическими инстинктами. Этот город не чешский — надо прямо сказать. Когда-то он был столицей Священной Римской империи. Вот тогда-то его и задумали. Эта проекция империи конца XVI — начала XVII веков не выдохлась до сих пор.

Вот что я заметил: когда в Прагу переезжают жить люди с Востока — из Украины, России, — им все нравится, они потрясены. Когда приезжаешь из Украины, даже из Польши — в Праге ты чувствуешь себя свободным. Но когда приезжаешь с Запада с другим опытом жизни... Я не жалуюсь, я искренне делюсь. Прага пережила колоссальные социальные ка-

таклизмы. Эмиграция десятков тысяч людей — самых инициативных, самых творческих — обескровила город. Люди, уехавшие в 1968-м, замечательно работают во французской, немецкой, американской культурах. И говорю я о драме, о трагедии Праги.

Когда-то Прага была столицей империи. Поэтому думать о ней надо исторически. Конечно, правильно сравнивать Прагу с самыми красивыми итальянскими городами. Но есть разные образы Праги. Три выдающихся немца — Шеллинг, Гёте и Шопенгауэр — разными словами утверждали, что архитектура — это застывшая музыка. Я слушаю Прагу постоянно, причем слушаю разные оркестры. Это и классика, и католические песнопения, и протестантские гимны, и православный распев — но не только, иначе получится слишком помпезный образ. Есть еще и ар-нуво — это уже чарльстон, фокстрот, и ты можешь идти по Праге, пританцовывая. А вот советские новостройки — вообще попсня. Лучше бы она не "застывала". Из-за того, что я работаю на радио, у меня обостренный слух. Я хожу по Праге, словно мимо разных оркестров. Так что черновицкие евреи меня не обманули.

Мне кажется, что культура имеет, пусть опосредованное, отношение к кристаллографии. Я уже упомянул о Священной Римской империи времен Рудольфа II — это был веселый шабаш мистиков, астрологов, алхимиков. Прага была тогда космополитским центром. Здесь в конце XVI века собралась тогдашняя элита Европы — оккультисты, шарлатаны, дуэлянты, ведьмаки, знахари. Тогда-то и был заложен этот фундамент, тогда-то появились первые кристаллы культуры, которую мы теперь отождествляем с Кафкой или Майринком. Четыре века назад по Праге бродили вещуны в сопровождении карликов и распускали слухи о том, что еврейские женщины рожают медвежат. Думаю, что эта мифология напрямую связана с превращением Грегора Замзы. Так что Кафка и Майринк родились в Праге 400 лет назад. То, что в начале XX века в Праге снова появились гении, — это работа космоса: вдох и выдох. Это как в Англии Елизаветинская эпоха — эпоха Шекспира и Джона Донна — потом аукнулась в Эзре Паунде, в Элиоте. Глубокий вдох — а потом мощный выдох. О Кафке, Майринке часто говорят как о сновидцах, их прозу сравнивают со снами. Да, так и есть. Это современные сновидения из эпохи Рудольфа II.

Я встречаюсь в Праге не с людьми, а с облаками, с цитатами, которые плывут по небу... Майринк, его роман "Голем" — это действительно район Юзефов — бывшее еврейское гетто. Если по нему идешь ночью — угадываешь этот роман, видишь привидения и персонажей, встречаешься, говоришь с ними. А вот Кафка — это для меня совершенно другие районы. Есть такой район Жижков. Однажды я очутился там в августе. Была жара, градусов 30, ни души на улице, тротуары — в плевках, блевотине, газетах, шелестящих и буквально дымящихся на солнце. И вот ты идешь по этому Жижкову и понимаешь, какими улицами шел герой "Процесса" на свою казнь. Неромантичная история.

Когда мы приехали в Прагу, моему сыну было лет семнадцать. Он познакомился с чешскими мальчишками, и они его водили по своим тайным местам, рассказывали, что в 1968 году, когда приехали танки, то оккупанты ничего не знали про закоулки, ходы, какие-то подъезды, целые кварталы, что якобы была своя тайная жизнь у Праги, недоступная оккупационной администрации. Вот эта живая новая мистика города, которая передается из уст в уста, волнует меня. Современному писателю трудно жить в Праге. Потому что ему ничего не оставили. Уже все описано, облизано. Прага — тщательно темперированный клавир в писательском смысле. Но я для себя придумал выход. Я вижу себя в ряду персонажей, а не писателей. Я сижу с пьющими пиво героями Гашека в потных майках, просыпаюсь в компании Грегора Замзы — героя рассказа Кафки "Превращение". Я не писатель, а персонаж. Персонаж книги о Праге. И поделом. Я — автор, придумавший массу персонажей. Я был высокомерен по отношению к ним, и вот теперь должен расплатиться за это — сам стал персонажем в Праге.

"Если дали тетрадь в линейку, пиши поперек"

Хуан Рамон Хименес *Испанцы трех миров* (Избранная проза, стихотворения) / Перевод с испанского Анатолия Гелескула; Составление, предисловие и комментарии Натальи Малиновской. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008

XX век позади — пора его открывать. Открытие идет медленней, чем хотелось бы, — полвека спустя после смерти лауреат Нобелевской премии 1956 года Хуан Рамон Хименес только еще на пути в Россию. Да и не в Нобелевской премии дело: сколько лауреатов ныне забыто, какие великаны не удостоились лауреатства! Фигура Хименеса — из крупнейших в европейской культуре. В поэтическом мире Испании Мачадо и Хименес — "старшие боги" минувшего века, учителя и авторитеты для блестящего поколения Лорки, так называемого поколения 27 года.

Из обширного литературного наследия Хуана Рамона русскому читателю известно не так уж много. Стихи его выходили некогда в испанском томе БВЛ и отдельной книгой "Избранное". И что за стихи! О том, что это перевод, вовсе не вспоминалось. Читалось как родное.

Детство! Луг, колокольня,
зеленые ветки,
разноцветные стекла
высоких террас.
Как огромная бабочка
смутной расцветки,
вечер ранней весны опускался
и гас.

Перевод А. Гелескула

Или:

Беззвучное чье-то впотьмах
приближенье,
и сердце сжимается вдруг
поневоле,
и в зеркале смотрит на нас
отраженье
глазами чужими и полными боли.

Перевод А. Гелескула

Это была живая поэзия. Высокие перепончатые стекла террас и старые потемневшие зеркала были такими узнаваемыми — почти нашими дачными, подмосковными. И все же то была другая, дальняя земля:

Я наземь лег — и, ярко догорая,
вечерняя заря передо мною
слилась в одно
с осенней желтизною
в кастильском поле без конца
и края.

Перевод А. Гелескула

И вот мы вновь убеждаемся, что Хименес большой поэт. Убеждаемся, читая его прозу. Часть стихотворений включена и в новое издание, но в основном это книга прозы. В нее вошли маленькая повесть "Платеро и я", фрагменты лекций, дневниковые записи, эссе из разных книг: "Дневник молодожена", "Тетради 1900—1952", "Испанцы трех миров".

Повесть "Платеро и я", жанр которой определен автором как "андалузская элегия", — вещь почти детская. В том смысле, в каком можно назвать детским "Маленького принца" Экзюпери. Она полна щемящей красоты, необоримой жалости ко всему живому и скорее не мудрости, рождающейся в общем-то из разочарований, а глубокого душевного целомудрия, дающего возможность увидеть мир целым, не расколотым на фрагменты, вызывающие восторг или отвращение. Жизнь Андалусии — естественная,

простая, прекрасная, нищая, а то и жестокая со своей застарелой простонародной дикостью — в маленьких главках, каждая из которых законченное, готовое к независимому существованию стихотворение в прозе, бабочка, слетающая с ладони. Необычен ракурс увиденного: художник или фотограф, вздумавшие проиллюстрировать "Платеро", не изобрели бы ничего лучше, чем поместить печальный андалузский пейзаж, "слёзную Андалусию" в пространстве меж серых бархатистых ушей ослика.

Ослик Платеро — лицо, если так можно выразиться, не вымышленное. В молодые годы, отпутешествовав в столицу и поварившись в литературном котле, где с бульканьем кипело специфическое мадридское варево, поэт с радостью возвратился в родной захолустный Могер и завел себе друга — маленького серого ослика. Впрочем, нет, не просто серого: Платеро в переводе значит "серебристый". Странствия человека и ослика, их "беседы" и, скажем так, совместные наблюдения и сделались канвой этой очаровательной книги. На склоне лет, когда, уже эмигрантом, Хименес посетил Аргентину, школьники задарили его своими рисунками к "Платеро..." — и, похоже, никакая премия не могла бы обрадовать его больше, чем это простодушное подношение, немедленно украсившее собой стены его комнаты.

"Меня упрекают: пишите веселей. Но... я не писатель" — в этом весь Хименес. В эссе, дневниковых записях, лекциях он не раз повторяет: то, чем он занимается, не писательство, не литература, а нечто совсем иное. Здесь он перекликается с Кокто: "Поэт — это писатель, который не пишет". Хименес поясняет: "Поэт — переводчик несказáнного. На какой язык? На скольких языках говорит Бог?" И еще: "Поэзия, что бы ни твердили политики, есть лишь самозабвенное насыщение красотой, магия заклинаний. И счастье или несчастье поэта — расколдовывать мир пением".

Любители тонких афоризмов несомненно получат от книги свою долю удовольствия и убедятся, что искусство Шамфора и Ларошфуко живо. Отточенные максимы Хименеса чаще всего обращены к одной теме — искусству. Он боится и избегает академических размышлений по этому вопросу, а вот молниевая вспышка мысли — дело другое.

Таковы же особенности его заметок о литературе и, конечно порой шаржированные, портреты поэтов и художников — "сто слепящих фотографий" — в книге "Испанцы трех миров".

Хуан Рамон Хименес — уроженец Старого Света. Он родился в 1881 году на юге Испании. После франкистского мятежа, как и многие испанские интеллектуалы, эмигрировал в Америку — в Новый Свет. Но искусство шире географии — есть еще и богатый гениями прошлого "тот свет". Там великие — скажем, Гойя. Туда же, увы, переселился волею судеб и кое-кто из любимых современников — композитор Гранадос, например. "Испанцы трех миров" — о творцах Старого, Нового и того света. Среди них и гении мирового масштаба, и знаменитости чисто национальные, и малоизвестные персонажи, чем-то поразившие автора.

Хименес — прирожденный поэт одиночества. Тропка в поле говорит ему больше шумной компании. Рильке заметил как-то, что Рембрандт пишет портрет как пейзаж: не скулы — скалы, не морщины — ущелья. То же можно сказать и о хименесовских портретах. Выхватим наугад любой. Вот историк испанской литературы, знаток фольклора, энциклопедист Рамон Менендес Пидаль. "Его беспримесные цвета, охристый и черный, — это сгустки его натуры. Ничего шаткого, никаких тебе и да, и нет. Да — это четкое 'да', охра и уголь. Как говорится, это человек, вспаханный доброй сталью. Он напоминает муравейник римской крепости, построенной впрок. И его труды, его детища тоже долгожите-

ли, как наши испанские замки на скалах, багряные на закате, словно второе солнце".

Чем не пейзаж? Случай, впрочем, в литературе не единичный. О Гоголе не без ехидства замечали, что он пишет обнаженную женщину как воображаемую экзотическую страну, никогда близко не виданную: какие-то каскады, водопады, манящие выпуклости рельефа — всё с высоты птичьего полета и без лишних подробностей.

Человек-пейзаж у Хименеса увиден под особым углом; он повернут относительно нашего удивленного хрусталика, как предметы на полотнах кубистов.

В эссе о Гойе у Хименеса сказано: "...под этой тонкой живописью нет холста, как у англичан, а вместо того, как у некоторых монстров с полупрозрачной кожей, пульсирует живой организм". Нетрудно заметить, что за полупрозрачными чертами каждого портрета, созданного Хименесом, пульсируя, проступает Испания.

Вот такая многослойная книга ложится к нам на стол. От обнаженного лиризма "Платеро..." ("Всегда пишите так же просто", — напутствовал Хименеса умирающий философ Франсиско Хинер де лос Риос) до скалистых напластований "Испанцев трех миров".

Нечего и говорить, что от переводчика такая работа потребовала даже не просто виртуозности — соразмерности поэтического дыхания. Анатолий Гелескул — классик перевода. Он дал нам услышать голоса испанских поэтов от раннего Возрождения до кровоточащей современности. Его Леоном Фелипе восхищалась Анна Ахматова: она случайно встретила небольшую подборку этого поэта на страницах журнала и тотчас принялась расспрашивать — и об авторе, и о переводчике. Настоящим потрясением для читателя стал Гарсиа Лорка в переводах Гелескула: нам распахнулась новая, неведомая русской поэзии вселенная, открылась стихия — невиданная и родственная, пограничная чему-то неподвластному логике, но ощущаемому кожей. Стихи перуанца Сесара Вальехо прозвучали как боль, почти непереносимая. Много сделал Анатолий Гелескул и для того, чтобы донести до нас дух польской поэзии: его переводы Мицкевича, Стаффа, Галчинского и других замечательных поляков заставляют влюбиться в страну и народ, подаривший миру такое Слово. Два сборника "Избранных переводов" Анатолия Гелескула стали праздником для почитателей поэзии в России, жаль только, на всех не хватает — тиражи-то невелики. В последние годы читатель все больше узнает Гелескула как прекрасного переводчика прозы. Это и эссе Гарсиа Лорки, и блестящие очерки Ортеги-и-Гассета, и вот теперь Хуан Рамон Хименес.

Книга несомненно интересна всем, кто увлекается литературой вообще и испанской литературой в частности: повезло подрастающим испанистам — какой материал под рукой, да еще и по-русски! Но что еще важнее — это книга для всякого, кто хотел бы обновить душу, подышать чистым воздухом живого слова. Прекрасное предисловие Натальи Малиновской и ее богатейшие комментарии делают издание еще более ценным. Образ Хименеса как далекого от жизненных катаклизмов чистого эстета рушится на глазах. Чего стоит хотя бы такое: двенадцать детей-сирот, взятых поэтом в дом во время гражданской войны. Двенадцать беспризорников — шутка ли? Впрочем, Хименес и сам отчасти чувствовал себя ребенком, немного растерянным, с ощущением сиротства — душевного, эмигрантского:

Я как бедный ребенок,
которого за руку водят
по ярмарке мира.
Глаза разбежались
и столько мне, грустные, дарят...

И горше всего,
что уводят ни с чем!

Единственный недостаток книги, на мой взгляд, отсутствие портрета. Когда еще удастся увидеть такую тонкую, благородную мужскую красоту — средневекового идальго кисти Эль Греко!

Наталья Ванханен

Фобии, мании и фетиши

Марио Варгас Льоса *Похвальное слово мачехе* / Перев. с исп. Александра Богдановского. — М.: Иностранка, 2007

Марио Варгас Льоса *Тетради дона Ригоберто* / Перев. с исп. Екатерины Матерновской. — М.: Иностранка, 2008

Не знаю, как обстоят дела с оригинальным изданием, а на русском языке "Похвальное слово мачехе" (1988) перуанца Марио Варгаса Льосы издали просто по-царски: на белой мелованной бумаге, с цветными репродукциями шедевров мировой живописи. Такую книгу не то что читать — просто в руки взять приятно. Возможно, таким элегантным образом наши издатели извинились перед автором, чьи прежние книги выходили у нас без особых оглядок на авторские права. Серия, затеянная "Иностранкой", — первый "лицензионный" Варгас Льоса в нашей стране.

Роман "Похвальное слово мачехе" был переведен на русский еще в начале 90-х — тогда его напечатали с продолжением в малотиражном журнале "Латинская Америка", доступном, в основном, узкому кругу специалистов. Помню свое — близкое к шоку — состояние, когда, еще будучи школьником, прочел небольшой отрывок в газете "Книжное обозрение". Разве об *этом* можно писать? Да еще *так*? Нет, автор не злоупотреблял пикантными подробностями, почти не прибегал к открытому тексту, укутывая сюжет в полупрозрачную шаль метафор и эвфемизмов. И тем не менее история грехопадения добродетельной доньи Лукреции и ее несовершеннолетнего пасынка Фончито показалась мне тогда едва ли не более скандальной и провокационной, нежели рассказ о юной Долорес Гейз и ее отчиме Гумберте Гумберте. Впрочем, о сложной взаимосвязи романов Набокова и Варгаса Льосы стоит поговорить отдельно.

На первый взгляд, "Мачеха" — просто остроумная, озорная пародия на "Лолиту". Что было бы, окажись Гумберт женщиной, а его падчерица — очаровательным, преждевременно созревшим мальчуганом? Точнее даже не так: герои "Лолиты" просто меняются возрастами: Ло становится сорокалетней дамой, а ее отчим — двенадцатилетним сорванцом. С "точностью до наоборот" воспроизводится и стиль: суховатый, выверенный, почти лишенный эмоций слог Набокова уступает место жизнерадостной, подчеркнуто чувственной и не слишком точной манере изложения. "Безжалостную критику среднего класса", признаки которой усматривали в "Лолите" многие исследователи (в частности, сам Варгас Льоса, автор данной формулировки), сменяет столь же целеустремленное его воспевание и т. д. Вообразили себе всю эту вивисекцию? Ну, стало быть, некоторое представление о "Мачехе" вы уже получили.

Идея создания подобной анти-Лолиты вполне могла послужить для Варгаса Льосы чем-то вроде отправной точки, первоначального импульса. Показать язык и вместе с тем отдать должное великому писателю, старшему собрату по перу, о чьем творчестве перуанец неизменно отзывался в самых превосходных степенях (а в 2002 году еще и премии его имени был удостоен), — чем не цель для автора, чьи

амбиции с годами если и меняли свой масштаб, то исключительно в сторону увеличения?

"'Лолита' сделала Набокова богатым и знаменитым, — заметил однажды Варгас Льоса в своем эссе '*Лолите* тридцать лет'[1], — но скандал, сопровождавший ее появление, окружил роман туманом непонятости, который не рассеялся и до наших дней. И сегодня, когда прекрасная нимфетка приближается — о ужас, ужас! — к своему сорокалетию, пора наконец во всеуслышание сказать, что она может претендовать на место среди самых тонких и сложных литературных творений нашего времени, сохраняя за собой при этом, естественно, и репутацию книги скандальной. Но тот факт, что первые читатели разглядели только это последнее, а отнюдь не ее достоинства — сегодня очевидные для всякого мало-мальски восприимчивого человека, — весьма поучителен".

Впрочем, сам Варгас Льоса поучению явно не внял. Он не был бы самим собой, если б ограничился одной лишь литературной игрой, стилизацией, демонстрацией своих возможностей. Рискуя остаться непонятым, писатель "перемигнулся" с русско-американским классиком и заговорил о вещах совершенно серьезных — о том, в частности, можно ли "спрятаться от жизни, подменить кошмарную реальность пленительной фантазией". Перекличка же с "Лолитой", провокационная тема и прочее были вовсе не целью, но средством — своего рода морковкой или пучком соломы на шесте, побуждающим ослика сюжета тянуть тележку повествования.

Для того чтобы пробиться к читателю сквозь скорлупу его представлений о мире, чтобы пробудить ото сна повседневности, писатель нередко вынужден нарушать правила: удивлять, эпатировать, даже пугать... "Лолита" в свое время спровоцировала сексуальную революцию (опять-таки, по мнению Варгаса Льосы), однако сегодня запретный плод сам по себе никого не пугает и не удивляет, простое повторение набоковского опыта (если б таковое было возможно) не дало бы эффекта полувековой давности. Варгас Льоса, на мой взгляд, нашел собственное средство "раскачать" инертного читателя, вывести его из сонного равновесия. Средство это... раздражение. По крайней мере именно такое чувство не покидало меня на протяжении первых глав "Мачехи", когда — через пятнадцать лет — я решил освежить в памяти текст романа.

Раздражало буквально все: и донья Лукреция, с периодичностью и упорством заводной куклы наступавшая на одни и те же грабли, и ее напыщенный, экстравагантный супруг дон Ригоберто, столь поглощенный собой любимым, что в одночасье проморгал и жену, и сына, и, разумеется, сам злой гений этой истории — маленький Фончито, как-то уж совсем неправдоподобно акселерированный, слащавый и откровенно фальшивый.

Неприятный осадок оставался и от языка. Обилие уменьшительно-ласкательных суффиксов, безусловно, способствовало воспроизведению бытовой лексики представителей среднего класса, однако превращало чтение в поглощение чего-то приторного и вязкого. На общем фоне даже вставные новеллы, в которых в витиевато-фривольной манере обыгрывались сюжеты картин (тех самых, репродукции которых украшают издание), казались по-спартански сдержанными, если не строгими. Из этих новелл, уводящих читателя в мир тайных сексуальных фантазий героев, где Лукреция запросто могла предстать в образе богини Дианы кисти Франсуа Буше, а дон Ригоберто перевоплощался в жутковатого монстра-мутанта с полотна Френсиса Бэкона, сплетался второй — параллельный — слой повествования. И чем сложней и противоречивей складывались у героев дела в повсе-

1. "ИЛ", 1997, № 5.

дневности, тем раскованней и ярче становились их грезы. Варгас Льоса не уточняет, где тут причина, а где — следствие, но явно дает понять: оба этих мира не просто связаны между собой, но и влияют друг на друга самым непосредственным образом.

Постепенно манера письма меняется: "сюсюкающие" суффиксы попадаются все реже, диалоги героев приобретают осмысленность, а поступки — логичность и последовательность. Как будто автор, хорошенько раздразнив, разозлив читателя и убедившись, что привлек его внимание, отложил красную тряпку в сторону и сказал: "Ну а теперь давайте поговорим серьезно". Однако серьезного разговора не получилось: роман достиг своей сюжетной кульминации и закончился. Из эпилога "Мачехи" мы узнаем, что в реальной жизни герои потерпели поражение: семья распалась, каждый замкнулся в собственном одиночестве, воображаемый мир не выдержал испытания повседневностью.

Подобная развязка — вполне закономерная, если вспомнить участь большинства мечтателей, — устраивала Варгаса Льосу на протяжении без малого десяти лет. Однако затем он решился на то, чего авторы его уровня, как правило, стараются избегать, — вновь вернуться к своим героям. Так на свет появились "Тетради дона Ригоберто" (1997) — роман, который можно рассматривать и как самостоятельное произведение, но читать все-таки лучше после "Похвального слова мачехе", так как он не только продолжает, но также и дополняет, расширяет, углубляет его и так далее.

В "Лолите" третьего лишнего — мать Ло — Набоков без особых церемоний спровадил под колеса автомобиля. Варгас Льоса с лишним углом любовного треугольника — отцом Фончито — поступил иначе: не прогнал за кулисы, но вывел на авансцену, хорошенько осветил со всех сторон и предоставил полную свободу действий и высказываний. Первой из них герой не воспользовался, предпочтя позицию мудрого индейца, сидящего на берегу реки до тех пор, пока мимо не проплывет труп врага. Зато правом слова, пожалуй, даже злоупотребил: добрую треть книги составляют выдержки из его тетрадей, в которых он фиксировал свои мысли и переживания. Эти записи играют в романе ту же сюжетообразующую роль, что и вставные новеллы в "Мачехе".

Какую цель преследовал автор, обратив внимание читателя именно на дона Ригоберто, этого эстетствующего буржуа, директора страховой компании, сложившего дома специальный камин, чтобы сжигать надоевшие картины и книги? Одним из ответов на этот вопрос мог бы быть такой: дон Ригоберто — связующее звено между двумя мирами (реальным, который олицетворяет в романе донья Лукреция, вполне земная и здравомыслящая женщина, и воображаемым, воплощением которого, безусловно, является Фончито). Этот инфернальный купидон так и не удостоился черт живого человека, ребенка, но остался символом, знаком, богом из машины, вершащим чужие судьбы, но собственной судьбы не имеющим.

Впрочем, на вопрос о роли дона Ригоберто в романе можно ответить и по-другому: в лице своего героя Варгас Льоса все-таки заклеймил — вслед за Набоковым — пресловутый средний класс, довольствующийся внешними проявлениями духовной жизни и не способный проникнуть в ее глубины. Вот дон Ригоберто с упорством и страстью героя Сервантеса атакует мельницы повседневности, отстаивая право человека на полет воображения: "Свободный человек может создать — сообразно собственным пристрастиям, фетишам, маниям, фобиям, вкусам — воображаемый (а порой и настоящий, как это бывает со святыми и олимпийскими чемпионами) мир, в котором недостижимый идеал совпадает с реаль-

ностью". И тут же в герое просыпается осмотрительный, законопослушный буржуа: "Свою собственную жизнь и жизнь своей семьи я обустроил так, чтобы оставаться в рамках общественных приличий..."

Дон Ригоберто смел и категоричен там, где речь идет о его собственном благе: "Согласно моей философской концепции, эгоизм — подлинная добродетель". Некий защитник флоры, фауны и живописных ландшафтов удостаивается от него суровой отповеди: "Природа, не преображенная кистью или пером, природа как таковая, с москитами, крысами, тараканами, блохами и болотной тиной, — враг того, кто знает толк в изысканных наслаждениях, заботится о личной гигиене и любит хорошо одеваться". Так же требовательно и самодовольно судит герой и об искусстве: "Книги и фильмы существуют для того, чтобы меня развлекать".

Впрочем, его потребительское отношение распространяется не только на неодушевленные предметы. "Каждая вещь обязана служить счастью: вещи, не служащие счастью, бесполезны или попросту вредны", — цитирует он Борхеса и затем развивает эту мысль в традиционном для Латинской Америки мачистском духе: "А что, если вместо 'вещи' поставить 'женщину', что тогда?"

Варгас Льоса ни единым словом не осуждает своего героя, ни в чем не упрекает его — просто дает ему высказаться, — не будем же и мы уподобляться коллегии присяжных заседателей. В конце концов приговор дону Ригоберто выносит сама логика повествования. И пусть по сюжету он остается в выигрыше, пусть получает то, к чему стремился, только вот так ли нужны ему плоды этой победы? Победы незаслуженной, ради которой он пальцем о палец не ударил. Ведь если на одну чашу весов положить примирение с супругой, а на другую — тайный страх перед собственным отпрыском, который он отныне всегда будет испытывать, что останется у нашего заносчивого мечтателя, кроме воспетых им фобий, маний и фетишей?

Дмитрий Померанцев

О евреях, и не только

Серия "Проза еврейской жизни", выпускаемая с 2005 года издательствами "Текст" и "Еврейское слово" при поддержке издательской программы "Дварим", заслужила признание рецензентов и читателей как один из самых успешных проектов в сфере еврейского книгоиздания на русском языке. К настоящему времени вышло почти три десятка книг, каждая тиражом от 5 до 10 тысяч экземпляров. Цель серии — представить еврейскую прозу во всем ее содержательном и формальном многообразии: романы и рассказы, трагические и комические, написанные только что или сто лет назад, в Израиле и в диаспоре всемирно известными нобелевскими лауреатами и малоизвестными писателями.

Главную свою задачу кураторы серии определили как показ еврейской жизни со всех сторон и отход от стереотипа еврейской книги как книги обязательно израильской, непременно написанной на одном из еврейских языков или пропитанной еврейскими религиозными традициями. На самом деле окончательной ломки этого стереотипа не произошло. Да, в рамках "Прозы еврейской жизни" действительно выходили книги, которые могли бы попасть и в серию финской или венгерской прозы, однако таких все же меньшинство. Бóльшая же часть книг серии написана либо в Израиле, либо в диаспоре, но всегда — на идише.

Разрушен оказался скорее другой, хотя и "близкородственный" первому, стереотип: после знаком-

ства с книгами серии невозможен взгляд на еврейскую литературу как на этнографический кунштюк, представляющий интерес только для самих евреев и тех, кто по долгу службы или из праздного любопытства изучает это странное племя с причудливыми обычаями и традициями. Еврейская проза предстает в "текстовских" книгах достойной сестрой европейских литератур (русской в том числе), и герои ее мучаются теми же "общечеловеческими" вопросами, что и персонажи прозы английской или французской. Важнейший принцип составителей "Прозы еврейской жизни" — в серию включаются по преимуществу книги, авторов которых интересует не еврей, а человек как таковой.

Вероятно, самый яркий пример здесь "Без судьбы" Имре Кертеса или "Периодическая система" Примо Леви: европейские романы, взращенные традицией экзистенциалистской прозы XX столетия и отсылающие к Камю и Сартру в гораздо большей степени, нежели, например, к Шолом-Алейхему или И.-Л. Перецу. (Сходный феномен литературы еврейской по содержанию, но формально никак с привычными образцами еврейской прозы не соотносящейся, существует и в русско-еврейской словесности: достаточно назвать имя Владимира Жаботинского, чей главный роман "Пятеро" уместно сопоставлять с произведениями Куприна или Осоргина, но отнюдь не с идишской классикой.)

В рамках серии "Проза еврейской жизни" выделяются два "собрания сочинений": четыре тома Исаака Башевиса Зингера и три — Меира Шалева. Если книги первого выходили на русском и раньше, то Шалев практически не был известен отечественному читателю. Между тем это без преувеличения ключевая фигура для современной израильской словесности. Пусть официальным "писателем номер один" считается А.-Б. Йегошуа, а за пределами Израиля наиболее популярен Амос Оз, но именно к Шалеву сводится любая дискуссия о судьбах сегодняшней израильской прозы. Когда в конце 2006 года Израиль был страной-гостем московской книжной ярмарки интеллектуальной литературы "non-fiction", имя Шалева чаще других звучало на пресс-конференциях и круглых столах: его хвалили, его ругали, над ним подтрунивали, но так или иначе упоминал его практически всякий выступавший.

Шалев — из тех характерных для эпохи глобализации авторов, которых принято определять через соотнесение с более известными зарубежными "коллегами". Ярлык "израильского Маркеса" (в несколько осовремененной версии — "израильского Павича") приклеен к нему рецензентами давно и в значительной степени справедливо. Шалев создает специфически израильский вариант "магического реализма", вместо латиноамериканской мифологии используя в качестве строительного материала Библию. Сам он, впрочем, числит в своих учителях Мелвилла и Стейнбека, что тоже оправдано: эпическая интонация и ориентация на масштабность полотна, описывающего, как правило, жизнь нескольких поколений, определяет творчество Шалева в не меньшей степени, нежели любовь к плетению кружев из летающих ослов и пеликанов-почтальонов.

Основная тема Шалева — угасание в сыновьях и внуках героического духа первопроходцев. Его романы — это романы-матрешки, где на внешнем уровне веселые чудеса и волшебные превращения, слоем глубже — философские и даже теологические отступления (нередко избыточные), дальше — тонкий психологический рисунок, перипетии, извивы, загадки любви, а в глубине — самый что ни на есть традиционный социальный реализм, пристальное вглядывание в историю Израиля от эпохи основания первых киббуцев до наших дней. Так построено, в частности, едва

ли не самое знаменитое произведение Шалева — "Русский роман" (название отсылает и к "русскому" происхождению героев, прибывших в Палестину со Второй алией, и к гоголевско-булгаковской традиции, на которую ориентируется автор). Из тех же компонентов составлен и важнейший для понимания творчества Шалева роман "Эсав".

Романы Зингера состоят отчасти из сходных элементов, но распределены они противоположным образом. Социальный слой находится здесь на самой поверхности, дальше следуют магические метаморфозы, и лишь затем открывается сложный мир зингеровского богословия. В соответствии с ключевой для понимания Зингера хасидской традицией его теология — это теология вопрошания.

Ярче всего это проявляется в романе "Раскаявшийся" — одном из лучших произведений Зингера. Герой романа Иосиф Шапиро бросает свой успешный бизнес, отрекается от "языческой культуры нашего времени" и осознает себя "евреем Талмуда, евреем Гемары". Но и после этой метаморфозы он остается наедине со своими неразрешенными сомнениями и неотвеченными вопросами. И автор специально снабжает роман послесловием, где солидаризуется со своим героем и поясняет, что вера в Бога в современном мире неотделима от бунта против Него, что в вере человек находит не успокоение, а новые тревоги духа.

Другой образ бунтовщика, человека, выламывающегося из заданных рамок и установленных канонов, создан Зингером в самом популярном его произведении — романе "Раб". Талмудист Яков во времена хмельничины продан в рабство, его родные погибли. Дочь хозяина, малограмотная польская девушка Ванда, влюбляется в раба и становится его женой. В результате Яков и Ванда становятся чужими и для еврейской среды, недоброжелательной и завистливой, и для католической Польши, где им грозит смертная казнь.

Зингер вновь актуализирует ключевую проблему хасидской теологии: что важнее — безукоризненное исполнение заповедей или любовь к ближнему? Вот только заходит он в поисках ответа дальше, нежели предполагается любой богословской системой: любовь оказывается несравненно выше каких бы то ни было религиозных предписаний, выше всяких перегородок между людьми и конфессиями, которые, согласно известному афоризму, не достают до небес. Собственно, любовь, наравне с бунтом, — единственно возможный в мире Зингера религиозный акт.

В наиболее чистом виде богословские размышления Зингера воспроизведены в романе в новеллах "Папин домашний суд" (название трудно для перевода на русский, но предыдущий вариант — "В суде у моего отца" — кажется все же более оправданным). Как ни парадоксально, Талмуда, Онкелоса и Тосефты[1] в этой автобиографической книге о варшавском детстве больше, чем порванных штанов и плиток шоколада. Роман в значительной части состоит из рассуждений о конфликте холодной логики и пламенной веры, хасидов с мисснагедами, о талмудической эрудиции и праведности. Впрочем, происходит все это на фоне чудесного и бесконечно обаятельного мира, где по улицам водят индюков, стены кухни выкрашены в розовый цвет, в спальне за кроватью шебуршит сверчок, а в кондитерской Эстер продают мармелад и карамель. Темный лес кишит зверями и разбойниками, а на пустыре живут злые духи, которые ночами ловят мальчиков и заставляют их жениться на ведьмах.

1. Онкелос — согласно Вавилонскому талмуду, прозелит, переведший во II в. н. э. Библию на арамейский язык; Тосефта — собрание не вошедших в Талмуд высказываний израильских законоучителей первых веков н. э.

Другой "варшавский" роман Зингера "Семья Мускат" этого магического флера лишен. "Семью Мускат", как и любое произведение подобного рода, принято сравнивать с "Сагой о Форсайтах" Голсуорси, однако сходство между текстами двух нобелевских лауреатов если и есть, то весьма поверхностное. Прежде всего, роман Зингера отнюдь не семейная сага в традиционном понимании. За историей нескольких поколений одной семьи стоит, как всегда у Зингера, религиозная проблематика, которая Голсуорси не слишком интересовала. Нет у Голсуорси и эсхатологизма, ощущения неизбежности близящейся катастрофы, которое в романе Зингера появляется ближе к финалу и стремительно нарастает: действие заканчивается в 1939 году, варшавские евреи еще не знают, что их ждет, но это знает читатель, как бы дописывающий текст за автора.

"Семья Мускат" — самый мрачный роман Зингера, и теология его здесь сгущается до полной беспросветности и беспощадности. Загадочная последняя фраза книги "Мессия грядет... Мессия — это смерть. В этом все дело" породила десятки трактовок. Среди них одной из наиболее правдоподобных является такая: Катастрофа — это расплата за грех ассимиляции, за массовый отход от еврейства. Таким образом безжалостное богословие великого писателя вновь демонстрирует свою связь с хасидско-каббалистической традицией.

"Собрание сочинений" Зингера по справедливости можно назвать высшим достижением серии "Проза еврейской жизни". Но это не отменяет необходимости указать и на другие достойные книги, вышедшие в ее рамках, а также на некоторые наметившиеся тенденции.

Разумеется, еврейская проза XX века (романы Зингера в том числе) во многом создана под знаком Холокоста. Книги о Холокосте и его последствиях составляют значительную часть "текстовской" серии. Но если упоминавшиеся выше произведения Кертеса и Леви — это художественно значительные свидетельства очевидцев, то романы израильтян Давида Гроссмана "См. статью 'Любовь'" и Лиззи Доron "Почему ты не пришла до войны?" описывают фрустрацию выживших в Катастрофе и их потомков — по сути дела, фрустрацию всего современного израильского общества, так до конца и не изжившего кошмар Катастрофы, а потому долгое время пытавшегося вытеснить ее на периферию сознания.

Наконец, нельзя не упомянуть о благородной деятельности "Текста" по заполнению пробелов читательских представлений о творчестве классиков литературы XX века — не только еврейской. Речь идет прежде всего о трех книгах: "Америка" Шолома Аша, "Фокус" Артура Миллера и "Давид Гольдер" Ирен Немировски. Ни одно из этих произведений не является ключевым в творчестве своего автора, но каждое добавляет ту или иную краску к портрету создателя.

Роман "Фокус", написанный тридцатилетним Миллером в 1945 году, остался едва ли не единственным прозаическим опытом знаменитого драматурга. Сюжет книги незамысловат и притчеобразен. Главный герой, Лоренс Ньюмен, антисемит, хотя и не из агрессивных, работает в преуспевающей компании "кадровиком". Среди прочего в его должностные обязанности входит отсев цветных, евреев и прочих "атипичных" американцев. Но однажды он надевает очки и превращается в глазах начальства и соседей в Янкеля, которого надо выгнать с работы и выжить из престижного квартала.

Для российского читателя роман едва ли станет художественным открытием. Скорее его поразит, насколько реальным в Штатах середины 1940-х годов было предощущение неизбежности погромов после возвращения с фронта десят-

ков тысяч безработных и неуверенных в будущем молодых людей — и с какой скоростью Америка прошла путь от страны откровенно расистской и ксенофобской к обществу толерантности и политкорректности.

"Давид Гольдер" — также произведение раннее, почти юношеское. Ирен Немировски, погибшая в 1942 году в Освенциме, не дожив до сорока лет, до войны успела опубликовать девять книг, из которых "Давид Гольдер" была первой. Посмертно вышли еще несколько, в том числе самая знаменитая — "Французская сюита". Достаточно традиционный для эпохи между мировыми войнами жесткий антибуржуазный текст, демонстрирующий моральный и личный крах крупного финансиста из-за разлагающей власти денег, интересен скорее как первый подступ к центральному произведению Немировски, нежели сам по себе.

То же касается "Америки" Шолома Аша. Идишский классик, очень популярный в России в начале XX века, Аш безусловно заслуживает переизданий. Однако повесть "Америка", составившая основу "текстовского" сборника, едва ли оптимальный выбор для знакомства сегодняшнего читателя с крупным еврейским литератором. Для этой цели скорее подошли бы драма "Бог мести", где модернистское внимание к "проблеме пола" сочетается с религиозными мотивами и библейской символикой, или "роман с ключом" "Мэри", в котором под прозрачными "псевдонимами" выведены виднейшие персонажи русско-еврейского литературно-театрального Петербурга начала XX века.

"Америка", построенная на характерной для творчества Аша в целом идеализации традиционного быта восточноевропейского еврейства, сентиментальна и схематична. Однако в рамках серии "Проза еврейской жизни" она выполняет важную роль, позволяя проследить эволюцию еврейской литературы за сто лет: чем та была и чем стала, как далеко отошла от того понимания еврейского, которое полностью господствовало всего лишь век назад.

Михаил Майков
Давид Гарт

У книжной витрины

с Михаилом Визелем

Бланка Бускетс *Свитер* / Пер. с каталанского Екатерины Гущиной. — М.: Иностранка, 2008. — 320 с. — 7000 экз.

Восьмидесятипятилетнюю Долорес разбил инсульт, и ей волей-неволей пришлось все-таки переехать в дом дочери. Потеряв речь, она не может ясно дать понять близким, что по-прежнему прекрасно видит, слышит и, главное, понимает происходящее. Но кое-какие плюсы в этом бедственном положении тоже обнаруживаются. Семья — дочь, ее муж и двое детей — не обращает на нее внимания, как на мебель, и бабушка Долорес узнает немало того, что ей знать не полагалось. Впрочем, ей не привыкать: секреты, романтические и не очень, в ее жизни появились давным-давно, и она прекрасно с ними справлялась. А теперь, поневоле следя за чужими проблемами, она — и читатели вместе с ней — могут убедиться: нет ничего нового под луной. Хотя сама Долорес получила строгое католическое воспитание, ее внучка Сандра — современная шестнадцатилетняя девчонка, которую даже зимой невозможно заставить не ходить с голым пупком. И бабушка может выразить ей свое одобрение только одним способом — связать теплый свитер.

Том Стоппард *Лорд Малквист и мистер Мун* / Пер. с англ. Петра Молчанова. — СПб.: Азбука-классика, 2008. — 240 с. — 8000 экз.

История двух лондонцев, в 1966 году разыгрывающих из себя: один — смесь знаменитого доктора Сэмюэла Джексона с высокомерным Джорджем Бруммелем, другой — смесь верного Босуэлла с несчастным Леопольдом Блумом. Впрочем, история как таковая в этом единственном романе будущего знаменитого драматурга имеет второстепенное значение. Гораздо важнее стиль, пародирующий (или продолжающий?) традиции британского абсурдизма и британского же потока сознания, и цайтгайст, дух времени и места — Лондона середины 60-х, уже готового стать "свингующим Лондоном", кратковременным центром мира.

Халед Хоссейни *Тысяча сияющих солнц* / Пер. с англ. Сергея Соловьева. — М.: Фантом-Пресс, 2008. — 480 с. — 20000 экз.

После успеха автобиографического романа "Бегущий за ветром" доктор медицины Хоссейни резонно решил не останавливаться на достигнутом и продолжает знакомить западного читателя с экзотическими нравами и обычаями далекой полудикой страны Афганистан. И то, что автор пишет о них с изрядного расстояния (богатая семья успела уехать в США, когда сам Халед был еще ребенком), — только облегчает задачу. На сей раз в центре повествования не история двух мальчиков, барчука и слуги, а двух девочек, разнесенных по таким же ступеням социальной лестницы (а в традиционном обществе эти ступени практически непреодолимы). И соответственно место вопросов чести и предательства занимает любовь и верность. Причем в самом своем пышном восточном обличии. Так что индийское кино, на которое страстно мечтает попасть героиня в

начале книги — деталь, можно сказать, знаковая.

Катарина Хакер *Бедолаги* / Пер. с нем. Марии Зоркой. — М.: Текст, 2008. — 367 с. — 3000 экз.

История семейного разлада добропорядочной супружеской четы за тридцать: вроде все есть, а счастья нет... Пытаясь понять, в чем же дело, Изабель и Якоб, вместе и по отдельности, вспоминают прошлое, вытаскивают на свет детские комплексы, прежние романы. "Изюминка" (да простится мне это игривое словечко) заключается в том, что герои решают пожениться 11 сентября 2001 года, буквально глядя на экраны с рушащимся Всемирным торговым центром, а Якобу предлагают пойти на повышение... вместо погибшего в ВТЦ коллеги. Параллелизм рушащегося семейного мирка и рушащихся представлений о мире может показаться слишком очевидным; но опытному автору хватает такта подать его деликатно и сдержано.

Шань Са *Александр и Алестрия* / Пер. с фр. Елены Клоковой. — М.: Текст, 2008. — 285 с. — 5000 экз.

Для своего восьмого по счету романа живущая во Франции и пишущая по-французски тридцатишестилетняя китаянка Шань Са избрала тему, весьма далекую и от Китая, и от проблем повседневности: взаимоотношения Александра Македонского с Алестрией — созданной воображением писательницы предводительницы амазонок. Поначалу подобная эпическая фантасмагория вызывает недоумение, но оно быстро рассеивается. Достаточно вспомнить "Гомер. Илиада" Барикко, чтобы понять, что Шань Са просто умело следует европейскому тренду. И не только темой, но и подачей: повествование попеременно ведется от лица разных героев. А превосходное умение складывать сюжет, отличавшее Шань Са с первых произведений, не изменяет ей и сейчас.

Пауль Целан *Стихотворения. Проза. Письма* / Пер. с нем.; Сост. Татьяны Баскаковой и Марка Белорусца. — М.: Ad Marginem, 2008. — 734 с. — 1600 экз.

Компендиум, объединяющий под одной обложкой *всё* творческое наследие Целана. И тем самым восполняющий зияющую брешь в корпусе русских текстов (стихи даются с параллельными текстами на языке оригинала) одного из крупнейших немецкоязычных поэтов XX века, которому русская литература и без того немало "задолжала" как переводчику Лермонтова, Хлебникова, Есенина, Блока... Об этом и о многом другом составители книги рассуждают в послесловии, выполненном не в виде статьи, а в виде свободного диалога.

Владимир Шляпентох *Современная Россия как феодальное общество* / Пер. с англ. Юрия Гольдберга. — М.: Столица-Принт, 2008. — 328 с. — 2000 экз.

Конечно, считать книгу Владимира Эммануиловича Шляпентоха, одного из основоположников социологии в СССР, "иностранной" — некоторая натяжка. Но совсем небольшая. Не только потому, что она переведена с английского, а ее автор с 1979 года живет и работает в Мичигане. А потому, что манера изложения ясно показывает: написана она в первую очередь для западного читателя. И благодаря такой "двойной призме" возникает эффект остранения, еще сильнее оттеняющий парадоксальные мысли автора, суть которых ясно отражена в названии книги. Впрочем, парадоксальными их можно назвать, только глядя с того же Запада. У всякого же живущего в России и сколь-нибудь думающего человека едва ли вызовут изумление такие главы, как, например, "Отсутствие гарантий сохранения частной собственности в современной России и в Средние века" или "Личные отношения как основная особенность феодализма".

Джон Дербишир *Простая одержимость* / Пер. с англ. Алексея Семихатова. — М.: КоЛибри, 2008. — 560 с. — 5000 экз.

Арман Леруа *Мутанты. О форме, изменчивости и ошибках человеческого тела* / Пер. с англ. Елены Годиной. — М.: КоЛибри, 2008. — 560 с. — 10000 экз.

Этими двумя книгами издательство "КоЛибри" начинает программу издания научно-популярных книг, отобранных экспертным советом созданного Д. Б. Зиминым (создателем "Билайна", чтобы было понятно) просветительского фонда "Династия".

Автор первой из них — англо-американский математик и популяризатор Дербишир — задался целью в одной книге доступно изложить знаменитую среди математиков гипотезу Римана о простых числах и рассказать о весьма непростых людях, с этой гипотезой (занявшей после доказательства Последней теоремы Ферма место главного недоказуемого утверждения в математике) связанных. Среди них — не только сам Риман, Гаусс и Леонард Эйлер, но и Петр I, Бирон и даже Дрейфус. Последний — не без натяжки. Но это не помешало книге получить эйлеровскую премию за лучшее популярное изложение математической проблемы. И действительно: автору удалось рассказать о математическом анализе, комплексной переменной и т. д., *почти* не прибегая к математическому аппарату. Обратите внимание на это "почти".

Вторая же книга, написанная новозеландским биологом и автором телепрограмм, объясняет, почему мы все выглядим примерно одинаково, а некоторые — совсем по-другому, и дает впечатляющие примеры того, как именно "по-другому" может выглядеть человеческое тело из-за ошибок генов. В 2004 году она получила премию газеты "Гардиан" за лучший дебют.

Книги для запуска серии словно специально отобраны так, чтобы обозначить широту охвата "Библиотеки Династии". В дальнейших планах издателей — геология, биология, астрофизика. Кроме того, "Династия" намерена выдавать гранты на написание научно-популярных книг русским авторам. Это явно выходит за рамки данного обзора, но не может не радовать.

Информация к размышлению
Non-fiction

с Алексеем Михеевым

Два впечатления из прошлого. Фото из учебника по истории партии: на одном из первых съездов РСДРП рядом сидят главный революционер всех времен и народов Ленин и какой-то неизвестный Мартов. Круглые очки, черные волосы, борода, умный взгляд — облик, казавшийся тогда, в 70-е, вполне современным и значительно более "актуальным" (чем-то напоминал Джона Леннона), нежели навязший в глазах растиражированный образ Ильича. Мартов и Ленин были на съезде лидерами двух основных фракций; сторонники Ленина по основным вопросам набрали больше голосов и именно поэтому стали "большевиками" (всего делегатов на том съезде было около полусотни, то есть большевиков оказалось больше человек на десять). Значительно позже кто-то из аналитиков предположил, что одна из главных причин победы большевиков в революции — лингвистическая: мол, народ пошел за большевиками, потому что "больше" в массовом сознании ассоциируется с "лучше". В любом случае, фигура Юлия Мартова вызывала невольный интерес: во-первых, почему про него так мало известно, а во-вторых, зачем казалось бы умный человек смирился с заведомо проигрышным ярлыком "меньшевика"?

И второе, из еще более далекого прошлого. Тоненькая книжка с оторванной обложкой; на титульном листе название — "Палле один на свете". Щемяще-трогательная сказка о мальчике, который, проснувшись, обнаруживает, что в городе, кроме него, никого нет. Вначале это вроде бы здорово: в магазине можно взять сколько угодно конфет, а в трамвае — даже залезть в кабину вагоновожатого. И тем не менее вскоре героя охватывает скука, постепенно переходящая в тоску с маячащим впереди ощущением беспредельного вселенского одиночества. В дошкольном возрасте, в конце 50-х, — одна из моих любимых книжек (на имя переводчика я внимания, конечно же, тогда не обращал).

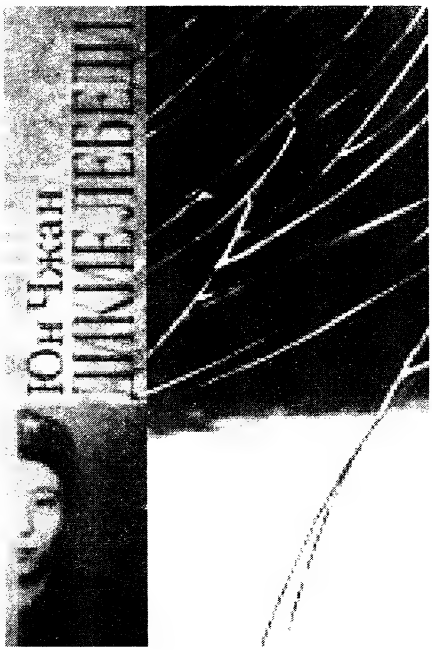
Теперь два впечатления соединились благодаря академическому изданию *Из архива семьи Цедербаум* (сост. В. Л. Телицын, Ю. Я. Яхнина, Г. Г. Животовский. — М.: Собрание, 2008). Этот сборник мемуаров и документов охватывает полтора столетия (!) из жизни большого рода, в генеалогическое древо которого вошли за это время несколько десятков (почти сотня) имен. И оказалось, что ту самую датскую сказку полвека назад перевела Юлиана Яковлевна Яхнина, которая тому самому Мартову приходится родной племянницей. В неожиданную цепочку сложились начало XX века, его середина и день сегодняшний.

Впрочем, известна Юлиана Яковлевна прежде всего, конечно,

не по "Палле...", а по многочисленным переводам скандинавской и французской прозы (ее работы на протяжении нескольких десятилетий регулярно появлялись в "ИЛ"); скандинависты благодарны ей также за многолетнее руководство переводческим семинаром при отделе культуры посольства Швеции. Кончина Юлианы Яхниной четыре года назад была большой потерей и для нашего журнала, и для всего переводческого сообщества. А работа над этим архивным томом стала одним из заключительных аккордов ее блистательной творческой биографии.

Фундамент книги, ее основа и "отправная точка" — мемуары деда Ю. Я. Яхниной, Иосифа Александровича Цедербаума, у которого было десять детей (двое умерли в младенчестве). Он работал над воспоминаниями в Петербурге в 1902—1903 годах, но не завершил их, успев описать короткое детство в Люблине, переезд семьи в Одессу и работу в Крыму; но, увы, не рассказал о Константинополе, где Иосиф Александрович служил в Обществе пароходства и торговли и откуда уехал в 1877 году после начала русско-турецкой войны. Второй большой по объему мемуарный блок связан с его дочерью Лидией Иосифовной (1878—1963): это фрагменты ее воспоминаний "Семья" и интервью 1960 года под названием *Жили мы в обывательской интеллигентской русско-еврейской среде...* Воспоминания членов семьи перемежаются документальными материалами: письмами, донесениями Департамента полиции, биографическими справками; присутствует даже стенографический отчет с одного судебного процесса; много интересных фотографий.

Ясно, что такого рода изданию не суждено стать бестселлером; более того, доступно оно будет лишь весьма узкому кругу читателей (тираж книги — всего 300 экз.). Однако для тех, кого волнует происходившее в XX веке, — это поистине бесценный томик. Благодаря таким книгам возникает шанс увидеть, как большая история преломляется в судьбах конкретных людей и как эти люди сами делают историю. Вот и революционная деятельность Мартова во многом вдохновлялась детской идеей — мечтой о придуманном им *городе Приличенске*, где жизнь будет устроена справедливо и правильно. И корни РСДРП можно отыскать отчасти и в этой семейной забаве.



Однако шансы стать бестселлером у документальной книги, повествующей о XX веке в коммунистической стране, все же есть. В начале 90-х "Британской книгой года" стали *Дикие лебеди* китаянки **Юн Чжан**; впоследствии книга была издана на тридцати двух языках (но не на китайском; в Китае она до сих пор запрещена) общим тиражом 12 миллионов экземпляров. Второе издание вышло в 2003 году; два года спустя главы из книги были опубликованы в "ИЛ" (2005, № 9[1]), а теперь появился полный текст (перевод с английского **Романа Шапиро**. — СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2008). Русское издание, впрочем, вовсе не претендует на грандиозный успех, о чем свидетельствует стартовый тираж — 3000 экз.

1. Фамилия автора в публикации "ИЛ" звучит как Чжан Жун.

Оно и понятно: в западном мире такого рода мемуары воспринимаются как леденящий кровь "ужастик", грандиозное и жестокое реалити-шоу, от участия в котором читатель надежно застрахован, — описания чужих страданий для него лишь подчеркивают ценность собственного спокойного и комфортного существования. Для нас же ГУЛАГ — это часть и собственной истории, и литературы, да и в реальности никто не гарантирует невозможности рецидивов; поэтому и потенциальных читателей у книги о Китае на несколько порядков меньше.

А жаль. Ведь часто именно при сопоставлении близких, по сути, эпизодов проскакивает искра: "похожее" осознается как "бывшее возможным", как вариант реально происходившего. Мы с автором практически ровесники (полгода разницы), и некоторые ее переживания воспринимаются мной как свои. Мне тоже знакомо внушенное в раннем детстве представление о том, что мы живем в лучшем из миров: как же жалко было тех, кто на капиталистическом Западе не понимал своего несчастья и был врагом нашего земного рая! Ощущение "сходства" возникает и при чтении воспоминаний о начале 70-х, когда Юн Чжан отправили на трудовое перевоспитание в далекий горный район; именно в эти годы я, будучи студентом, летом в подмосковных деревнях месил раствор для строительства коровников, на собственном опыте постигая прелести неустроенной сельской жизни и примитивного физического труда. Да и отцы наши были из "номенклатуры": у Юн Чжан — партийный чиновник, у меня — журналист одной из газет ЦК КПСС.

Однако на этом сходство кончается. Мне трудно вообразить себя на месте героини, доставляющей, например, на пахотное поле удобрение вот таким способом: *Я водрузила тяжелую корзину на спину и еле-еле поползла в гору на четвереньках. Навоз уже подсох, но все равно просачивался через хлопковую куртку и нижнее белье до самой спины. Через край корзины он пачкал мне волосы.* А родители ее в это время работали в других дальних лагерях, причем в разных: *По всему Китаю построили сотни таких лагерей. Они назывались "школами кадров", но не говоря уж о том, что школами они не были, они предназначались не только для чиновников. Сюда же направлялись писатели, ученые, учителя, врачи и актеры, ставшие "бесполезными" для невежественного режима Мао.* При этом сама Юн Чжан за три года до этого, в четырнадцатилетнем возрасте, в самый бурный период "культурной революции", была активной хунвэйбинкой: на фотографии 1966 года она радостно улыбается на площади Тяньаньмэнь: *На руке у меня повязка "красного охранника"; я в мамином "ленинском пиджаке" и заплатанных брюках – чтобы выглядеть "по-пролетарски". Все мы в стандартной позе того времени держим цитатники.* Их приехавшая в Пекин группа *была очень серьезной и горела одним желанием – увидеть председателя Мао.*

Когда читаешь о невообразимых подробностях издевательств подростков над своими учителями, когда узнаешь, с какой легкостью жгли антикварные книги и уничтожали тысячелетней давности памятники архитектуры, а семейные кастрюли и сковородки бросали в специальные дворовые печи, чтобы увеличить общую выплавку стали по стране, то сначала предполагаешь, что причиной всего этого может быть только массовое помешательство (наше собственное драматичное прошлое на этом фоне выглядит каким-то санаторно-вегетарианским). Однако если безумие становится регулярным и повсеместным, то в нем, наверное, следует искать систему. И тут понимаешь, что мы имеем дело все-таки с другой цивилизацией, основанной на иной совокупности социальных ценностей, где понятия типа "свобода", "демократия" или "права человека" просто неприменимы, потому что для них здесь нет адекватных смыслов. Но при этом общество тем не менее работает, выживает и самовоспроизводится, а лозунг Мао "Разрушайте, а построится все само" парадоксальным образом воплощается в жизнь.

Даже таская жидкие фекалии, Юн Чжан порой *позволяла себе витать в облаках и писала стихи в классической манере. Работая в поле, часто самозабвенно сочиняла что-нибудь, что делало работу сносной, а временами даже приятной.* А десять лет спустя, пройдя через работу на машиностроительном заводе, окончив университет и отправившись продолжать обучение в Англию, осталась в Лондоне, где написала свой грандиозный разоблачительный "самоотчет". Можно, конечно, поиронизировать насчет того, что коммунистическое трудовое перевоспитание дало, мол, свой эффект: ведь написать и эту книгу, и биографию "Неизвестный Мао" (см. аналогичный обзор в "ИЛ" 2008, № 8) — это действительно большой труд. Однако здесь мы все-таки имеем дело скорее с ситуацией не "благодаря", а "вопреки".

И в завершение — еще одна "эмигрантская" книжка. Эмигрант из России, художник, написал об эмигранте из Германии, практически неизвестном в России кинорежиссере: **Юрий Анненков** *Макс Офюльс* / Перевод с французского **И. Обуховой-Зелиньской** и **Д. Полякова**. — М.: МИК, 2008. Автор и его герой встретились во Франции, где в 50-е годы сняли несколько фильмов (Анненков работал как художник по костюмам). Это третья книга в проекте "Юрий Анненков: Жизнь и творчество", выпущенная при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках федеральной целевой программы "Культура России" (автор проекта — И. Обухова-Зелиньская). В 20-е годы Юрий Анненков стал широко известен после выхода двух альбомов с портретами советских вождей (один из альбомов был вскоре отовсюду изъят и запрещен), а затем уехал на Запад, где за 40 лет (сохраняя до 1947 года советское гражданство) как художник принял участие в работе над более чем пятьюдесятью фильмами (от немецкого "Фауста" 1926 года до итало-израильско-французского "Только не в субботу" 1964 года). Замечательно выглядит именной указатель книги, где *Троцкий Лев Давидович* соседствует с *Трюффо Франсуа*: "перманентная революция" благодаря Анненкову плавно перетекает в "новую волну".

Во всех трех упомянутых книгах можно усмотреть общую линию развития: некий процесс, начинаясь как сомнительная политическая инициатива, завершается как успешная художественная практика. Анненков и Юн Чжан партийным чиновникам предпочли кино и литературу, а самой известной из семейства Цедербаумов стала переводчица художественной прозы Юлиана Яхнина. Вот какое высказывание Макса Офюльса поставил эпиграфом к своей книге Юрий Анненков: *Представьте себе поток, несущий корабль нашей жизни, это огромное судно, где актеры и режиссеры разыгрывают свои пьесы. Это не электрический и не атомный поток, на его берегах живут поэты. Это поток воображения. Наш долг, долг кинематографистов, – уберечь от высыхания этот поток поэзии, который был до нас, есть вокруг нас и который возродится завтра.* Уточним: не только кинематографистов.

По материалам зарубежной прессы

GÜNTER GRASS *Die Box.* – Berlin: Steidl Verlag, 2008, 216 S.

Книга "Фотокамера" нобелевского лауреата Гюнтера Грасса продолжает автобиографию "Луковица памяти" ("ИЛ", 2008, № 3), возобновляя рассказ о жизни писателя там, где "Луковица" закончилась – годом издания самого известного романа Грасса "Жестяной барабан". Название этой книги, как и первой части автобиографии, заключает в себе главную метафору произведения – метафору памяти. Фотокамера – надежный хранитель прошлого, и именно ее способностью сохранять для будущих времен достоверные и детальные картины времени ушедшего пользуется Грасс.

Обозреватель газеты "Цайт" Андреас Майер указывает на особенности структуры и языка "Фотокамеры". Так, писатель обращается к библейским мотивам, поднимая в первой же главе тему первородства (и даже готовя на страницах книги чечевичную похлебку), а также вызывая в памяти читателя образ Иакова, прозванного Израилем, и его двенадцати детей. Беседа отца (конечно, Грасса, хотя его имя ни разу не произносится) с детьми – один из основных элементов "Фотокамеры", причем беседа эта дана фактически как стенограмма непосредственного и живого разговора.

Дети самого Грасса, фигурирующие в книге, – впрочем, их образы выписаны не вполне фактографически, с долей вымысла, – предстают не только как живые люди, члены его семьи, но и как своего рода маски, из уст которых писатель надеется услышать рассказ о себе самом – без лицеприятия. Исследование себя, беспристрастное, порой беспощадное, – главнейший элемент обеих частей автобиографии Гюнтера Грасса, и новые образы книги "Фотокамера" во многом сходны с образцами "Луковицы памяти", заключает А. Майер.

PHILIP ROTH *Indignation.* – Boston: Houghton Mifflin, 2008, 256 p.

Вышедший в сентябре текущего года роман "Негодование" лауреата Пулицеровской премии, автора всемирно известных "Людского клейма" и "Американской пасторали" Филипа Рота, по сообщениям его издателей, – "история о неопытности, недальновидности, смелости и об ошибках". В этом романе Ф. Рот снова обращается к теме университетской жизни, однако показывает ее на сей раз с точки зрения не профессора, как, например, в "Людском клейме", а студента. Главная тема книги – взросление, становление личности; герой романа, второкурсник Маркус Месснер, бежит из родного Ньюарка, штат Нью-Джерси, и продолжает учебу за много миль от дома, в Огайо, не желая подчиняться отцу, установившему над ним мелочную опеку.

Негодование юноши вызвано тем, что отец убежден: окружающий мир опасен для взрослеющего сына. Мать, не имеющая в семье права голоса, пытается объяснить Маркусу, что отец поступает так из любви к нему, но это лишь усиливает гнев юноши. Он решает поступить вопреки чаяниям родителей и самостоятельно исследовать мир, от которого они так стараются его оградить. Маркус переводится в другой колледж и делает тем самым первый шаг к новой жизни – и к тому, чтобы понять себя.

Leon de Winter *Het recht op terugkeer*. – Amsterdam: De Bezige Bij, 2008, 458 p.

Роман Леона де Винтера "Право на возвращение" вышел весной 2008 года и ознаменовал собой возвращение писателя в нидерландскую литературу после шестилетнего молчания. Обозреватели нидерландских газет сразу же назвали его сенсационным. Роман вошел в пятерку бестселлеров крупнейшей в стране сети книжных магазинов "Селексиз".

Известный своими антимусульманскими взглядами, де Винтер снова обращается к проблематике конфликта на Ближнем Востоке, на этот раз в жанре "гипотетической истории". Действие романа перенесено в недалекое будущее, в 2024 год. Территория Израиля уменьшилась до размеров города-государства Тель-Авива. Бóльшая часть населения эмигрировала в Россию и другие страны. В этой связи стоит упомянуть, что именно эмиграцию писатель в недавнем интервью немецкому журналу "Шпигель" назвал негативной тенденцией в развитии израильского общества.

Главный герой романа – ученый Брам Маннхейм, один из немногих, кто не уехал. Он заботится о своем отце, нобелевском лауреате, страдающем болезнью Альцгеймера. Двадцать лет назад Брам был преуспевающим преподавателем в Принстоне, но бесследное исчезновение четырехлетнего сына Бенни нарушило привычный ход его жизни. Теперь он руководит небольшим агентством по поиску пропавших детей и одновременно работает в госпитале. Однажды Брам узнает, что исчезновение сына связано с подготовкой исламских террористов-камикадзе, и принимает решение найти Бенни во что бы то ни стало.

При том, что автора нередко упрекают в однозначности оценок, обозреватель газеты "Фрей Нейдерланд" Йерун Фюллингс особо отмечает "идеологическую полифонию" романа "Право на возвращение", которая позволяет читателю сформировать собственную точку зрения.

Per Olov Enquist *Ett annat liv*. – Stockholm: Norstedts förlag, 2008, 534 s.

В своей недавно вышедшей автобиографии "Другая жизнь" известный шведский прозаик и драматург Пер Улов Энквист пишет, что у писателей есть три профессиональных заболевания: "лень, паранойя и пьянство". Сам Энквист в свое время страдал последним из трех, о чем откровенно рассказывает в новой книге, где называет период тяжелого алкоголизма "черными годами". Автобиографию Энквист начал писать вовсе не для публикации и лишь по прошествии некоторого времени решил все же завершить ее – по крайней мере так утверждает он сам.

"Другая жизнь" рассказывает о детстве и молодых годах писателя, о его первых литературных успехах в 60-е и 70-е годы – романе "Легионеры" и ранних пьесах, о кризисе и творческой немоте "черных лет" и о возвращении к творчеству в 90-е, когда он начал работу над романом "Библиотека капитана Немо". Автор подробно описывает свое взросление: он рано потерял отца, и воспитывала его мать, приверженка скандинавского пуританства. В интервью газете "Дагенс нюхетер" Энквист признает, что так никогда и не рассказал матери о своем алкоголизме – возможно, из-за того, что все же "решил выжить" и победить порок. Так и случилось: долгий кризис, из которого его не могло вывести даже многомесячное лечение на родине и за рубежом, был все же преодолен. Энквист вернулся в литературу, завоевав еще большее признание. На возвращении писателя к творчеству и заканчивается автобиография "Другая жизнь".

Luca La Rovere *L'eredità del fascismo. Gli intellettuali, i giovani e la transizione al postfascismo (1943–1948)*. – Torino: Bollati Boringhieri, 2008, 384 p.

"Наследие фашизма. Интеллектуалы, молодежь и переход к постфа-

шизму (1943–1948)" – новая книга Луки Ла Ровере, профессора новейшей истории университета Перуджи, вышедшая в июне 2008 года. Это исследование охватывает один из неоднозначных периодов истории Италии – свержение режима Муссолини и переход к демократии.

Традиционно журналисты, писатели и историки, говоря об освобождении от диктатуры, называют конкретную дату – 25 июля 1943 года. Но, как отмечает обозреватель Антонио Джулиано на страницах газеты "Аввенире", в своей работе Ла Ровере стремится показать, что переход к демократическому обществу был совсем не таким быстрым, как принято считать. Исследуя общественное сознание послевоенного времени, автор показывает совершенно иное восприятие диктатуры и ее последствий современниками. Именно это, по его мнению, следует прежде всего учесть, чтобы выяснить, каково в действительности было отношение итальянцев к фашистскому прошлому, и оценить, как долго наследие тоталитарного режима оказывало воздействие на итальянское общество. Основное внимание Ла Ровере уделяет молодому поколению интеллектуалов, которое более других слоев населения подверглось влиянию фашисткой педагогики, и его попыткам освободиться от стереотипов, навязанных воспитанием. Обратив взгляд читателя на "долгий путь" молодых интеллектуалов к освобождению от лозунгов и мифов фашистской идеологии, книга внесла большой вклад в исследование того, как класс, с самого начала создававшийся, чтобы служить фашистскому "Новому государству", совершил нелегкий переход к демократическому мышлению.

REINER STACH *Kafka: Die Jahre der Erkenntnis.* – Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag, 2008, 726 S.

В 2002 году, когда вышла первая часть фундаментальной биографии "Франц Кафка. Годы решений" немецкого литературоведа Райнера Штаха, рецензия на книгу в газете "Цайт" начиналась так: "Удивительно – еще не было написано ни одной биографии Кафки на немецком. Еще удивительнее – теперь такая биография есть. Удивительнее всего – она великолепна". Шесть лет спустя, к 125-летнему юбилею писателя, Р. Штах завершил свой гигантский труд, выпустив второй том биографии – "Франц Кафка. Годы признания".

"Годы признания" охватывают время с 1916-го по 1924 год, когда к Кафке пришла известность; в эти же годы развилась его болезнь. В труде Р. Штаха представлена многокрасочная картина жизни писателя на фоне событий тех лет. Немецкий исследователь всю жизнь занимается творчеством Кафки и является автором множества статей и эссе о писателе; он открыл ряд неизвестных ранее документов, повествующих о жизни Кафки и Фелиции Бауэр.

Немецкая критика отмечает своеобразие стиля этого исследования. Р. Штах прибегает к приемам кинематографа, уже известным в европейской документальной прозе, и оформляет некоторые фрагменты своей книги как киносценарий. Беллетризованные эпизоды – близкие к драме или строго прозаические – чередуются с главами, написанными в виде эссе или научной статьи. Этот прием позволяет читателю увидеть жизнь одного из крупнейших писателей XX века с разных точек зрения, а исследователю – избежать сухости и однобокости.

Подготовили Е. ЗАХАРОВА, И. МОКИН

Новый литературный сезон во Франции (осень 2008)

VALENTINE GOBY *Qui touche a mon corps je le tue.* — P.: Gallimard, 2008, 135 p.

Как известно, во Франции большинство литературных премьер приходится на осень, эта горячая пора называется "rentrée littéraire", — начало литературного сезона. В этом году среди богатого, если не качеством, то количеством урожая французских романов можно отыскать произведение молодой писательницы Валентины Гоби (р. 1974) с угрожающим названием "Убью всякого, кто тронет мое тело". Литературное творчество Валентины Гоби, участницы гуманитарных миссий на Филиппинах и во Вьетнаме, уже неоднократно удостаивалось наград, в том числе Премии за первый роман (2002). В своем новом произведении она обратилась к казалось бы уже решенной проблеме абортов (во Франции искусственное прерывание беременности разрешено с 1975 года), но подошла к ней широко: насколько свободно человек может обращаться со своим телом, будучи сам зависим от общества. Действие романа происходит в 1943 году в Париже и укладывается в двадцать четыре часа. Тело — главный персонаж романа — представлено тремя "голосами": Люси Л., женщины, решившейся на подпольный аборт; Мари Ж. — исторического лица, "фабрикантши ангелов" (так французы называли женщин, незаконно занимавшихся абортами), которая за свое ремесло в прямом смысле поплатилась головой — была гильотинирована; а также голосом Анри Д., палача, — он один обладает легальной властью не только над своим телом, но и над чужими, ведь общество наделило его правом убивать. Чувства, ощущения, мысли героев переданы внутренними монологами, местами переходящими в их крайнюю по субъективности форму — "поток сознания".

Во время презентации книги в сети книжных магазинов "ФНАК" (запись можно посмотреть в Интернете: http://www.fnaclive.com/videos/28386) писательница рассказала, что долго работала над последним текстом, что все ее предыдущие пять романов были своего рода подготовительной работой на пути к этой — главной — книге и что важнейшая проблема, которую решает литература, по мнению Гоби, это поиск основ человеческого бытия, проходящего между двумя телами — тем, которое нас породило, и тем, которое порождаем мы.

PASCAL QUIGNARD *Boutès.* — P.: Galilée, 2008, 92 p.

Украшением нового литературного сезона стала новелла "Бут" гонкуровского лауреата Паскаля Киньяра, которую критики в один голос называют "одой музыке". Страсть к музыке у писателя наследственная: Киньяр родился в семье органистов, учился играть на многих инструментах и даже в мае 1968-го бросил философский факультет, решив-таки пойти по родительским стопам. Однако музыка удержала перебежчика лишь три недели, после чего вернула в строй мастеров слова на радость французской литературе. В "Буте", согласно обозревателю газеты "Монд", Киньяр возвращается к судьбоносному выбору сорокалетней давности и вновь сталкивает музыку и словесность.

Главный герой новеллы — участник похода аргонавтов Бут, который в отличие от Орфея (или, уже в другом мифе, — Одиссея) решает не со-

противляться пению сирен, а наоборот – насладиться им в полной мере, несмотря на смертельную опасность. Киньяр противопоставляет безудержный, естественный порыв, диссидентство Бута рациональной предусмотрительности Одиссея, размеренному пению Орфея, задающего темп морякам, "которые только и делают, что гребут, гребут, гребут". Бут, как и сам писатель в свое время, решает окунуться в музыку с головой, поддаться ее древней, могучей силе, ведь "там, – пишет Киньяр, – где мысль в страхе отступает, музыка думает. Музыка появляется еще до звука и столь же ловко 'исчезает', не боясь собственного небытия. Музыке... незачем прятаться за образами, за переплетением слов, незачем тонуть в бреду или в мечтах. Почему музыка способна так глубоко проникать в страдание? Потому что она из него рождается". Неизвестно, какой из Киньяра вышел бы музыкант, но в том, что писатель он несравненный, критики единодушны.

MARTIN PAGE *Peut-être une histoire d'amour.* – P.: Ed. de l'Olivier, 2008, 204 p.

Молодой французский писатель Мартен Паж (р. 1975), известный нашему читателю по роману "Как я стал идиотом". ("ИЛ", 2005, № 7), в очередной раз высмеял героя нашего времени. Виржиль, главное действующее лицо "Истории, быть может, о любви", как замечает критик на страницах издания "Нувель обсерватёр", – типичный персонаж современных романов. Ему 30 лет, весит он 62 килограмма, носит темные вельветовые штаны, пуловер с V-образным вырезом, клетчатую рубашку и английские ботинки, знаком с сочинениями Левинаса и не расстается с томиком "Размышлений" Марка Аврелия. И какие бы оправдания Паж ему ни придумывал: трудное детство, родители работают в цирке, папа каждый вечер на арене упражняется в метании ножей в ассистентку-маму, да еще и все соседки – проститутки, – привычки взрослого Виржиля выглядят не менее карикатурно. Ежедневные сеансы йоги, цикорий вместо кофе, соевое молоко и неизменный сушеный инжир по утрам. О политике ему сказать особо нечего, зато он может часами разглагольствовать о йогурте, так как работает копирайтером в парижском рекламном агентстве. В любви ему не везет, женщины бросали его так часто, что "довели" до психоаналитика – еще одного неизбежного атрибута современного человека. Одним словом, наш современник – это хорошо воспитанное, культурное и образованное животное. Дальше о злоключениях такого героя можно было бы и не читать, если бы автоответчик не сообщил Виржилю: "Привет, Виржиль, это Клара. Думаю, нам лучше расстаться". Здесь начинается интрига: со своей участью "брошенного" горе-герой Пажа давно смирился, вот только никакой Клары у него никогда не было. Виржиль, конечно же, мчится к психоаналитику, тем более, что такие "отрывы от реальности" с ним уже случались. Кто же эта Клара, если она вообще существует? Затем, как и надлежит порядочному привидению, "Клара" преследует Виржиля до тех пор, пока преследуемый не начинает тосковать по собственной навязчивой идее. В общем, благодаря писательскому мастерству Мартена Пажа становится ясно, что работнику "креативного" труда в наши дни живется несладко, а была ли Клара, читатель "Истории, быть может, о любви" не узнáет до самого конца.

Подготовила А. ЛЕШНЕВСКАЯ

Дорогой читатель!

И снова мы обращаемся к Вам с нашими вопросами. Нас очень интересует Ваше мнение. Надеемся на Ваш отклик.

1. С какого года Вы читаете "ИЛ"?

2. Считаете ли Вы, что за последние годы журнал стал: лучше, хуже...
(Подчеркните нужное или, по возможности, дайте свое определение. Прокомментируйте Ваше мнение.)

3. Предполагаете ли Вы выписывать наш журнал и впредь?

4. Какие публикации двух последних лет (2007—2008), в том числе и малых форм — новеллы, стихи, эссе, — Вы считаете наиболее удачными?

5. Назовите наши наименее удачные публикации.

6. И немного о себе: возраст, пол, образование, профессия и все, что сочтете важным и интересным.

7. И в завершение, дорогой читатель, — небольшой конкурс.

Взгляните на наши панно, вглядитесь в эти лица. Это все наши постоянные авторы, но — в неформальной обстановке. Мы пригласили их на виртуальную вечеринку в "Иностранную литературу", и они охотно откликнулись на приглашение. Правда, некоторые наши гости, как-то быстро сгруппировавшись, сразу направились в курилку, к остальным они присоединятся чуть позже. Как видите, все они чувствуют себя здесь совсем неплохо, и прогулка по вечернему городу — им тоже в удовольствие.

Если Вы сориентировались в этом виртуальном пространстве и Вам удалось "опознать" хотя бы половину из тех, кто на наших панно, Вы можете рассчитывать на приз: среди читателей, приславших письма с правильными ответами, мы разыграем пятнадцать бесплатных подписок на второе полугодие 2009 года.

Итак, наши гости:

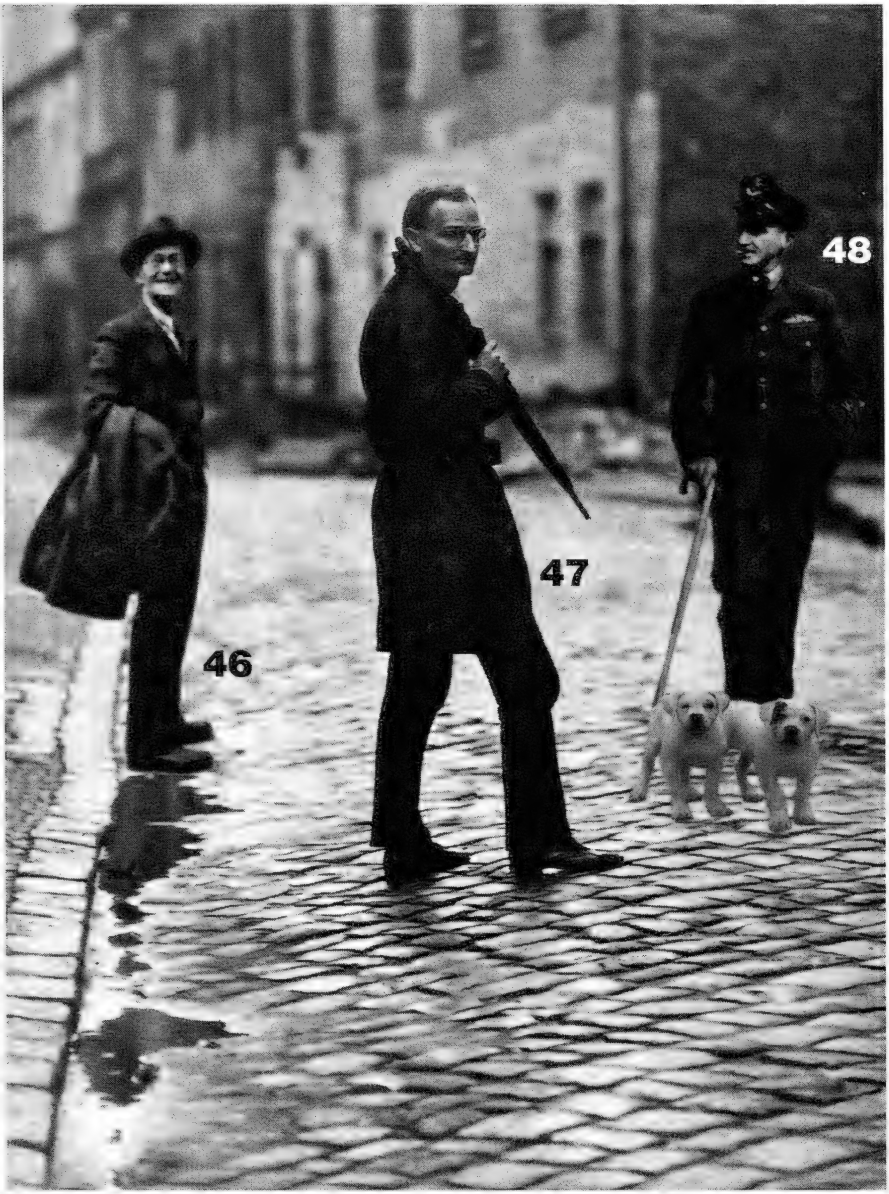
1. _____	17. _____	32. _____
2. _____	18. _____	33. _____
3. _____	19. _____	34. _____
4. _____	20. _____	35. _____
5. _____	21. _____	36. _____
6. _____	22. _____	37. _____
7. _____	23. _____	38. _____
8. _____	24. _____	39. _____
9. _____	25. _____	40. _____
11. _____	26. _____	41. _____
12. _____	27. _____	42. _____
13. _____	28. _____	43. _____
14. _____	29. _____	44. _____
15. _____	30. _____	45. _____
16. _____	31. _____	46. _____

Заполненную анкету нужно вырезать и отправить в редакцию; если же Вы, например, читаете журнал в библиотеке, мы охотно примем Ваши ответы и без анкетного бланка, как, впрочем, и ответы на конкурсное задание.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45



Благодарим вас за участие.
Оставайтесь с нами.
И счастливого Нового года!

Кормак Маккарти
Cormac McCarthy
[р. 1933]. Американский писатель. Лауреат Пулицеровской премии [2007], старейшей английской премии Джеймса Тейта [2007] и др.

Автор романов *Хранитель сада* [*The Orchard Keeper*, 1965], *Дитя Всевышнего* [*Child of God*, 1974], *Пересечение* [*The Crossing*, 1994], *Старикам здесь не место* [*No Country for Old Men*, 2005] и др. В *ИЛ* опубликован его роман *Кони, кони...* [1996, № 10].
Публикуемый перевод выполнен по изданию *The Road* [New York: Vintage Books, 2006].

Клод Эстебан
Claude Esteban
[1935–2006]. Французский поэт, переводчик, эссеист, преподавал испанскую литературу в Сорбонне, возглавлял отдел поэзии издательства *Фламарион*. Лауреат премии Академии Малларме, Большой поэтической премии Сообщества литераторов, Гонкуровской премии за поэзию и др.

Автор многих поэтических сборников, в том числе *Земли, труды сердца* [*Terres, travaux du coeur*, 1979], *Имя и жилище* [*Le Nom et la Demeure*, 1985], *Семь дней вчера* [*Sept jours d'hier*, 1993], *На последней пустоши* [*Sur la dernière lande*, 1996], *Чужой у двери* [*Etranger devant la porte*, 2001], *Едва написанный день* [*Le jour à peine écrit*, 2006] и др.
Перевод стихов выполнен по книге *Обрывки неба, почти ничего* [*Morceaux de ciel, presque rien*. Gallimard, NRF, 2001].

Итало Кальвино
Italo Calvino
[1923–1985]. Итальянский писатель и эссеист. Лауреат премий Риччионе [1947], Сент-Винсент [1952], Багутта [1959], Саленто [1960], Вейон [1963], Фелтринелли [1973], Австрийской государственной премии по европейской литературе [1976], премии фестиваля в Ницце [1982].

Автор романов *Тропа паучьих гнезд* [*Il sentiero dei nidi di ragno*, 1947], *Раздвоенный виконт* [*Il visconte dimezzato*, 1952], *Барон на дереве* [*Il barone rampante*, 1957], *Несуществующий рыцарь* [*Il cavaliere inesistente*, 1959], *Замок скрестившихся судеб* [*Il castello dei destini incrociati*, 1969], *Невидимые города* [*Le città invisibili*, 1972], *Если однажды зимней ночью путник...* [*Se una notte d'inverno un viaggiatore...* 1979], повести *Паломар* [*Palomar*, 1983], сборника *Итальянские сказки* [*Fiabe italiane*, 1956], сборников рассказов *Космикомические истории* [*Le cosmicomiche*, 1965], *Т нулевое* [*Ti con zero*, 1967], *Под солнцем ягуара* [*Sotto il sole giaguaro*, 1986], сборника автобиографических эссе *Дорога на Сан-Джованни* [*La strada di San Giovanni*, 1993].
На русском языке вышел трехтомник Итало Кальвино [СПб: Симпозиум, 2000–2001].
Рассказ *Lo specchio, il bersaglio* взят из сборника *Пока ты не отозвалась* [*Prima che tu dica "Pronto"*. Milano: Oscar Mondadori, 1993].

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликована ее статья *Три "Гранде"* [2008, № 4] и перевод фрагмента пьесы *Обратная сторона Луны* Робера Лепажа [2008, № 11].

Сергей Николаевич Зенкин
[р. 1954]. Литературовед, критик, переводчик, доктор филологических наук. Награжден французским

Автор книг *Работы по французской литературе* [1999] и *Французский романтизм и идея культуры* [2002]. В его переводах издавались книги Р. Барта, Ж. Бодрийяра, А. Компаньона, Р. Кайуа и др. Его статьи и переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

орденом Академической пальмовой ветви. Дважды лауреат премии имени А. Леруа-Больё [1996, 1999–2000].

Жорж Нива
Georges Nivat
[р. 1935]. Французский славист, публицист, критик, переводчик, профессор Женевского университета.

Автор первой монографии об Александре Солженицыне [Soljénitsyne, 1980; рус. перев. 1985 и 1990], сборника статей о русской литературе *Возвращение в Европу* [*Russie-Europe, la fin du schisme*, 1993; рус. перев. 1999] и др.
Статья *Les Érinyes de Littell – juges ou jugées?* написана специально для *ИЛ*.

Элисон Лури
Alison Lurie
Американский прозаик и филолог, профессор университета Корнелла. Лауреат Пулицеровской премии [1985].

Автор ряда романов, в том числе *Любовь и дружба* [*Love and Friendship*, 1962] и *Внешние сношения* [*Foreign Affairs*, 1984], а также исследований, посвященных детской литературе, фольклору и семиотике моды.
Статья *Pottery* печатается по публикации в *The New York Review of Books* [September 27, 2007].

Александр Мелихов
[р. 1947]. Прозаик, литературный критик, публицист, кандидат физико-математических наук. Лауреат *Набоковской премии* СП Санкт-Петербурга [1993], а также премий петербургского ПЕН-клуба [1995], имени Гоголя [2003], правительства Санкт-Петербурга [2006].

Автор романов *Исповедь еврея* [1993], *Горбатые атланты* [1995], *Любовь к отеческим гробам* [2001], *Чума* [2003], *В долине блаженных* [2006] и др., многих сборников рассказов и нескольких сот журнально-газетных публикаций.

Александр Константинович Жолковский
[р. 1937]. Филолог, прозаик, профессор Университета Южной Калифорнии [Лос-Анджелес]. Живет в Санта-Монике.

Автор работ о Пушкине, Пастернаке, Ахматовой, Бабеле, инфинитивной поэзии. Среди его последних книг – *Избранные статьи о русской поэзии* [2005], *Михаил Зощенко: поэтика недоверия* [2007], *Звезды и немного нервно. Мемуарные виньетки* [2008].

Игорь Померанцев
[р. 1948]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий имени П. А. Вяземского [1996] и журнала *Октябрь* [2006]. С 1978 г. живет в Западной Европе [Лондон, Мюнхен, Прага], работает на радио *Свобода*.

Автор книг стихов *Стихи разных дней* [1993], *NEWS* [1998], *Почему стрекозы?* [1999], *Семейное положение* [2002], *Те, кто держали нас за руку, умерли* [2005] и др., а также четырех книг прозы и эссеистики, радиопьес.

Наталья Юрьевна Ванханен
Поэт, переводчик с испанского. Лауреат премии *Иностранка* [2000].

Автор книг стихов *Дневной месяц* [1991], *Зима империи* [1998]. В ее переводе публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Ф. Гарсиа Лорки, А. Сторни и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Дмитрий Александрович Померанцев [р. 1974]. Писатель, журналист. Ведущий колонки книжных рецензий в журналах *Прием* и *Крупный план.*

Стихи и проза публиковались в журналах *Нижний Новгород, Urbi, Техника – молодежи* и *Юный техник.* В *ИЛ* опубликовано его послесловие к роману Ж. Сарамаго *Слепота* [2008, № 3].

Михаил Майков Филолог, журналист.

Печатался в газете *Пределы века* и в *Русском журнале.* В *ИЛ* публикуется впервые.

Давид Гарт Филолог, критик.

Постоянный автор интернет-издания *Букник*, печатался в *Книжном обозрении, Еженедельном журнале, Русском журнале, Новом очевидце, Лехаиме* и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Михаил Яковлевич Визель [р. 1970]. Книжный обозреватель, музыкальный критик, колумнист, издатель, переводчик с итальянского.

Создатель интернет-проекта *Невидимые города on-line* по роману Итало Кальвино [calvino.lib.ru]. В его переводе вышли два романа Дж. Куликкьи и сборник газетных заметок У. Эко.

Алексей Васильевич Михеев [р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также опубликованы его статьи *МакКультура* [1996, № 1], *Неотмеченные юбилеи...* [1997, № 5], *До последней капли алфавита* [1997, № 6], *Вокруг, около и вместо...* [1999, № 5].

Игорь Викторович Мокин [р. 1986]. Переводчик с английского и скандинавских языков, преподаватель. Аспирант филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В *ИЛ* опубликован его перевод рассказа Р. О. Фримена *Послание со дна моря* [2008, № 1].

Екатерина Захарова Студентка филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Переводчики

Юлия Борисовна Степаненко Переводчик с английского, историк. С 1994 г. живет в США.

В *ИЛ* в ее переводе опубликованы главы из книги Б. Уайт *Мама делает выбор, или Какие опасности подстерегают вас на Юге* [2007, № 7] и новелла Т. Корагессана Бойла *Клык и коготь* [2008, № 8].

Михаил Давидович Яснов [р.1946]. Поэт, переводчик классической и современной

Автор шести книг лирики, сборников стихов для детей, а также статей о русской и французской поэзии. Составитель и комментатор сборников произведений Сирано де Бержерака, П. Верлена, Г. Аполлинера, П. Валери, Ж. Превера, Ж. Кокто, Э. Ионеско,

французской поэзии. Обладатель многих литературных премий, в том числе премии имени Ваксмахера [2002], Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге [2002].

А. Рембо, книги *Проклятые поэты: Тристан Корбьер, Шарль Кро, Жермен Нуво, Жюль Лафорг* и др. В *ИЛ* в его переводах печатались стихи Ж. Шарпантро [1994, № 12], Г. Аполлинера [1998, № 4], Ж. Рубо [1999, № 8], М. Уэльбека [2003, № 3], С. П. Тибодо [2008, № 11], Э. Дорион [2008, № 11], Ж.-Э. Риопеля [2008, № 11], стихи французских сюрреалистов [2002, № 5], поэма В. Равалека *Апельсин на автостоянке* [2006, № 9], *Поэтические тексты* П. Пикассо [2007, № 10].

Наталия Александровна Ставровская
Переводчик с итальянского, французского, английского языков. Лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков в категории *Теория и история кино* [2001] и премии *Гринцане Кавур* [2005].

Переводила произведения Дж. Леопарди, Г. Д'Аннунцио, Б. Кроче, К. Э. Гадды, Э. Моранте, Л. Шаши, И. Кальвино, Г. Паризе, А. Табукки, Дж. Манганелли и др., сценарии фильмов Ф. Феллини и Л. Висконти, искусствоведческие (в частности, киноведческие) работы. Выступила (вместе с Г. Киселевым) составителем трехтомника сочинений И. Кальвино [Симпозиум, 2000—2001]. Автор ряда обзоров и рецензий.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Мария Львовна Аннинская [Иванова-Аннинская]
Переводчик с французского и итальянского языков.

В ее переводах выходили произведения Ж. Кокто, С. де Бовуар, Ж.-Ж. Арно, Р. Гари, Т. Ландольфи, А. Жида, Алена [Эмиля Шартье]. В *ИЛ* в ее переводе печатались избранные новеллы Д. Буцати [1994, № 12], роман Б. Виана *Осень в Пекине* [1995, № 3], фрагменты *Мемуаров* А. Моруа [1998, № 6], главы из книги Оливье Тодда *Жизнь Камю* [2000, № 4], пьеса Н. Саррот *Иссм* [2006, № 9], поэтическая проза Э. Мартеля *Соло для поэта с оркестром* [2006, № 11], новелла К. Пьерсанти *Взрослая любовь* [2008, № 10].

Герман Евгеньевич Власов
[р. 1966]. Поэт, переводчик с английского, член СП Москвы.

Автор поэтических сборников *1 1/2* [1998], *Второе утро* [2003] и др.; его стихи регулярно печатаются в журналах *Знамя, Новый берег* и др. В *ИЛ* в его переводе опубликованы две статьи М. Чейбона *"Игра началась!"* [2008, № 1].

Содержание журнала *Иностранная литература* за 2008 год [1—12]

Специальные номера

Итальянская литература в поисках формы [10]
Квебек: "Я помню" [11]
Полнозвучие греческой лиры [2]
Сэр Артур Конан Дойл [1]

Романы, повести, рассказы, пьесы

Алекси Шерман — *И залог твой я выкуплю.* Перевод с английского Василия Арканова [8]

Аллен Грант — *Рубины Реманетов.* Рассказ. Перевод с английского Юлии Клименовой [1]
Американская новелла. XXI век [8]
Антология рассказа [2]
Антология современной новеллы [10]
Антология франкоканадской новеллы [11]

Бельфёй Норман де — *Из книги "Ваш звонок важен для нас".* Перевод с французского И. Волевич [11]

Бенни Стефано — *Контролер.* Новелла. Перевод с итальянского Наталии Ставровской [10]

Биксель Петер — *Рассказы.* Перевод с немецкого Е. Суриц. Послесловие Петера фон Матта. *Читатель. Повествование.* Пятая Франкфуртская лекция. Перевод с немецкого А. Егоршева [5]

Бошмен Ив — *Ночлег в гостинице.* Перевод с французского И. Волевич [11]

Вальтинос Танасис — *Айстратиг – святой полководец.* Рассказ. Перевод с греческого Евгении Смагиной [2]

Вийкмарк Карл-Хеннинг — *Современная смерть. Человек у последней черты.* Драма. Послесловие автора. Перевод со шведского А. Афиногеновой. Борис Юдин. *Кто там у последней черты?* [5]

Галлант Мейвис — *Рассказы.* Перевод с английского Анны Асланян. Зиновий Зиник. *Телефонный разговор с Мейвис Галлант* [7]

Годбу Жак — *Консьержка Пантеона.* Роман. Перевод с французского Людмилы Пружанской [11]

Грасс Гюнтер — *Луковица памяти.* Главы из книги. Перевод с немецкого и послесловие Б. Хлебникова [3]

Гунциг Томас — *Куру.* Роман. Перевод с французского и вступление Нины Хотинской [4]

Гуэрра Тонино — *Листик против молний.* Поэма в прозе. Перевод с итальянского Геннадия Киселева [10]

Д'Амброзио Чарльз — *Игра в кость.* Новелла. Перевод с английского Василия Арканова [8]

Дойл Артур Конан — *Автопародии.* Перевод с английского Даниила Дубшина и Светланы Семиной. Публикация Даниила Дубшина [1]

Дойл Артур Конан — *Долина страха.* Повесть. Перевод с английского И. Бернштейн. Вступление Антона Лапудева [1]

Дойл Артур Конан — *Подлинная история о привидениях Горсторпской усадьбы.* Рассказ. Перевод с английского Ольги Новицкой. Публикация и вступление Антона Лапудева [1]

Дюран Фредерик — *Мания.* Новелла. Перевод с французского Е. Леоновой [11]

Елинек Эльфрида — *облака.дом.* Пьеса. Перевод с немецкого, вступление и комментарии Т. Баскаковой [9]

Зиник Зиновий — См. Галлант Мейвис [7]

Иоанну Георгос — *Эвтихула.* Рассказ. Перевод с греческого Владимира Потапова. Под редакцией Ирины Ковалевой [2]

Каваццони Эрманно — *Кратчайшие жизнеописания сирийских пустынножителей.* Новелла. Перевод с итальянского Наталии Ставровской [10]

Кадарэ Исмаиль — *Прощальный подарок Зла.* Новелла. Перевод с албанского и послесловие В. Тюхина. *Интервью для читателей "Иностранной литературы".* Запись беседы, вступление и перевод с албанского В. Тюхина [6]

Кальвино Итало — *Зеркало-мишень.* Перевод с итальянского Наталии Ставровской [12]

Кент Майкл — *Юность пианиста.* Новелла. Перевод с английского А. Нестерова [8]

Кляйн Георг — *Либидиссо.* Роман. Перевод с немецкого Анатолия Егоршева. Послесловие Т. Баскаковой [6]

Кокис Сержио — *Полустанок.* Роман. Перевод с французского М. и Е. Кожевниковых [11—12]

Корагессан Бойл Т. — *Клык и коготь.* Новелла. Перевод с английского Юлии Степаненко [8]

Кумандареас Менис — *Бледный юноша.* Рассказ. Перевод с греческого Владимира Потапова [2]

Лалонд Робер — *Исчезающие виды.* Новелла. Перевод с французского Е. Леоновой [11]

Ланцетта Пеппе — *Прожигать жизнь. Н*овелла. Перевод с итальянского Ивана Семенова [10]

Ледюк-Леблан Жереми — *Вальс гусениц.* Новелла. Перевод с французского И. Волевич [11]

Лепаж Робер — *Обратная сторона Луны.* Фрагмент пьесы. Перевод с французского и вступление А. Лешневской [11]

Маккарти Кормак — *Дорога.* Роман. Перевод с английского Юлии Степаненко [12]

Макьюэн Иэн — *Чизил-Бич.* Роман. Перевод с английского В. Голышева [7]

Мари Микеле — *Синьор Курц и его мячи.* Новелла. Перевод с итальянского Анны Ямпольской [10]

Махи Маргарет — *Пространство памяти.* Роман. Перевод с английского и вступление Н. Демуровой [5]

Мариас Хавьер — *Рассказы.* Перевод с испанского Н. Мечтаевой [6]

Михалопулу Аманда — *Лермонтов.* Рассказ. Перевод с греческого Ирины Ковалевой, Антона Нестерова [2]

Николаи Альдо — *Железный класс. Осенняя история.* Пьеса в двух действиях. Перевод с итальянского Николая Живаго [10]

Ноллас Димитрис — *Кутья на земле.* Рассказ. Перевод с греческого Ирины Ковалевой [2]

Пру Моник — *Из книги "Монреальские рассветы".* Перевод с французского Е. Леоновой [11]

Пьерсанти Клаудио — *Взрослая любовь.* Новелла. Перевод с итальянского Марии Аннинской [10]

Рассо Ричард — *Чем дальше...* Новелла. Перевод с английского Инны Стам [8]

Серени Клара — *Годовщина.* Новелла. Перевод с итальянского Фридэнги Двин [10]

Спарк Мюриэл — *Не беспокоить.* Роман. Перевод с английского и вступление Е. Суриц [9]

Тахцис Костас — *Третий брак.* Роман. Перевод с греческого Анны Ковалевой [2]

Тонделли Пьер Витторио — *Тоже либертины.* Новелла. Перевод с итальянского Михаила Визеля [10]

Трамбле Мишель — *Из книги "Рогатый ангел с жестяными крыльями".* Перевод с французского Людмилы Пружанской [11]

Трюдель Жан-Себастьен — *Замеры.* Новелла. Перевод с французского И. Волевич [11]

Фрешетт Кароль — *Кожа Элизы.* Пьеса. Перевод с французского Н. Хотинской [11]

Фримен Ричард Остин — *Послание со дна моря.* Рассказ. Перевод с английского Игоря Мокина [1]

Хадра Ясмина — *Теракт.* Роман. Перевод с французского Е. Ляминой [8]

Шиклер Дэвид — *Ямайка.* Новелла. Перевод с английского Ольги Новицкой [8]

Щепанский Ян Юзеф — *Ланч в Гарварде.* Рассказ. Перевод с польского К. Старосельской [3]

Эггерс Дейв — *Как мы чувствуем голод.* Новелла. Перевод с английского Светланы Силаковой [8]

Юдин Борис — См. Вийкмарк Карл-Хеннинг [5]

Дебют

Макбрайд Шон — *Зелень. Трава. Благодать.* Роман. Перевод с английского Никиты Михайлина [3—4]

Сигнальный экземпляр

Сарамаго Жозе — *Слепота.* Фрагмент романа. Перевод с португальского А. Богдановского. Послесловие Дмитрия Померанцева [3]

Стихи

Анагностакис Манолис — *Стихи.* Перевод с греческого Ирины Ковалевой [2]

Антология современной поэзии [10]

Бельфёй Норман де — *Из книги "Шествие слепого без собаки"*. Перевод с французского И. Кузнецовой [11]

Борисов Георги — *Стихи.* Перевод с болгарского Натэллы Горской. Вступление автора. Послесловие Евгения Попова [8]

Боровский Тадеуш — *Стихи.* Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула [9]

Вагенас Насос — *Стихи.* Перевод с греческого Антонины Калининой, Ирины Ковалевой [2]

Ганас Михалис — *Стихи.* Перевод с греческого Ирины Ковалевой [2]

Димула Кики — *Стихи.* Перевод с греческого Евгении Смагиной [2]

Дойл Артур Конан — *Стихи.* Перевод с английского Марины Бородицкой. Публикация и комментарии Даниила Дубшина [1]

Дорион Элен — *Из книги "Коридоры времени"*. Перевод с французского М. Яснова [11]

Из франкоканадской поэзии [11]

Ковалева Ирина — *От "поколения титанов" к "поколению уединенной лампады": греческая поэзия второй половины XX века* [2]

"На солнце речи". Из поэзии наших дней. Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича [10]

Неллиган Эмиль — *Из полного собрания стихотворений.* Перевод с французского Р. Дубровкина. Вступление И. Кузнецовой [11]

Нове Альдо — *Мария.* Фрагмент поэмы. Перевод с итальянского Алексея Прокопьева. *"Вызов всякому, кто убил в себе ребенка"*. Анна Ямпольская беседует с Альдо Нове о поэме *Мария* [10]

Павчек Тоне — *Стихи.* Перевод со словенского Жанны Перковской. Вступление Надежды Стариковой. *Ленинградская встреча с Бродским.* Эссе. Перевод со словенского Татьяны Жаровой [6]

Пилон Жан-Ги — *Из книги "Как пойманная вода"*. Перевод с французского И. Кузнецовой [11]

Поэтическая антология [2]

Прованше Жан — *Из книги "Спутанный человек"*. Перевод с французского М. Яснова [11]

Риопель Жан-Эрик — *Из книги "Строптивые бабочки"*. Перевод с французского М. Яснова [11]

Сахтурис Мильтос — *Стихи.* Перевод с греческого Р. Гузя, Ирины Ковалевой [2]

Тибодо Серж Патрис — *Из книги "Перемещение льдов"*. Перевод с французского М. Яснова [11]

Хуаррос Роберто — *Стихи.* Перевод с испанского и вступление Эсмиры Серовой [4]

Эстебан Клод — *Стихи из книги "Обрывки неба, почти ничего"*. Перевод с французского и вступление Михаила Яснова [12]

Литературное наследие

Ариосто Лудовико — *Неистовый Орланд* [Песнь шестая, октавы 17—56]. Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича [10]

Из классики XX века

Футуризм, экспрессионизм, сюрреализм [10]

Бонтемпелли Массимо — *Бурная жизнь. Книга авантюрных романов.* Фрагменты. Перевод с итальянского и вступление Ирины Заславской [10]

Маринетти Филиппо Томмазо — *Манифест футуристической кухни.* Перевод с итальянского Анны Ямпольской [10]

Палаццески Альдо — *Противоболь.* Манифест футуризма. *Два стихотворения.* Перевод с итальянского Анны Ямпольской [10]

Руа Габриэль — *Горечь и очарование.* Фрагменты автобиографии. Перевод с французского и вступление Л. Семеновой [11]

Сеферис Георгос — *Стихи.* Перевод с греческого Ирины Ковалевой и Антона Нестерова [2]

Стивенс Уоллес — *Стихи.* Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова [5]

Тоцци Федериго — *Новеллы.* Перевод с итальянского и вступление Екатерины Степанцовой [10]

Элитис Одиссеас — *Стихи.* Перевод с греческого Ирины Ковалевой, Софьи Ильинской. Вступительная статья Ирины Ковалевой [2]

Ямпольская Анна — *Футуристический бунт: Маринетти, Филлиа, Палаццески* [10]

Литературный гид

Восточная Европа. XXI век [7]

Славомир Мрожек [6]

Драгоман Дёрдь — *Белый король.* Главы из романа. Перевод с венгерского и послесловие Ю. Гусева [7]

Лаппо Ирина — *Мрожек на русской сцене* [6]

Масловская Дорота — *Двое бедных румын, говорящих по-польски.* Пьеса. Перевод с польского и послесловие Ирины Лаппо [7]

Мрожек Славомир — *Валтасар. Автобиография.* Фрагменты. Перевод с польского Вадима Климовского [6]

Нанков Никита — *Стихи.* Перевод с болгарского и вступление Евгения В. Харитонова [7]

Не вижу оснований оскорблять человека. Со Славомиром Мрожеком беседует Ежи Кёниг. Перевод с польского К. Старосельской [6]

Павич Милорад — *Бумажный театр.* Фрагменты книги. Перевод с сербского Ларисы Савельевой. Вступление автора [7]

Поэтический фестиваль в Загребе, ноябрь 2007 года [7]

Человек глазами Славомира Мрожека. Карикатуры [6]

NB

Роман Джонатана Литтелла "Благоволительницы" [12]

Зенкин Сергей — *Джонатан Литтелл как русский писатель* [12]

Лешневская А. — *"Казнить нельзя помиловать"* [12]

Нива Жорж — *Эринии Литтелла – судьи или судимые?* Перевод с французского Марии Аннинской [12]

In memoriam

Курт Воннегут [7]

Воннегут Курт — *Два рассказа.* Перевод с английского А. Перекреста [7]

Воннегут Курт — *Человек без страны.* Фрагменты книги. Перевод с английского Анны Парра [7]

Ливергант Александр — *Курт Воннегут: "служба оповещения"* [7]

Биография

Сташауэр Дэниел — *Рассказчик: Жизнь Артура Конан Дойла.* Фрагменты книги. Перевод с английского И. Бернштейн, Э. Драйтовой [1]

Документальная проза

"Во время наводнения больше всего не хватает питьевой воды". С Роберто Савьяно беседуют Даниела Броджи и Паола Чони. Перевод с итальянского Татьяны Баскаковой [10]

Канетти Элиас — *Факел в уже.* Фрагменты автобиографии. Перевод с немецкого и вступление Анны Шибаровой [9]

Савьяно Роберто — *Гоморра.* Фрагменты книги. Перевод с итальянского Яны Арьковой [10]

Сеферис Георгос — *Страницы из дневника (Т. С. Элиот).* Перевод с греческого Ирины Ковалевой [2]

Из будущей книги

Стихи английских поэтов-кавалеров и "Краткие жизнеописания" Джона Обри. Перевод с английского и вступление Марины Бородицкой [3]

Шишкин Михаил — *Как сделан рай.* Отрывок из книги "Монтрё—Миссолонги—Астапово. По следам Байрона и Толстого. Литературная прогулка от Женевского озера в Бернские Альпы". Перевод с немецкого Ольги Козонковой [7]

Эпистолярий

Во Ивлин — *Письма Джорджу Оруэллу и Грэму Грину. Из записных книжек, 1960–1964 годы.* Перевод с английского А. Ливерганта [5]

Фольклор

Дюпон Жан-Клод — *Легенды Новой Франции.* Перевод с французского и вступление Александра Садецкого [11]

Кодер Ивон — *Сказки и тайны леса.* Вступление автора. Перевод с французского Екатерины Белавиной [11]

Нация и язык

Акен Юбер — *Элементарное двуязычие.* Перевод с французского Елены Богатыренко. Михаил Башкиров. *Разорванное знамя квебекской литературы* [11]

Мирон Гастон — *За деколонизацию языка.* Перевод с французского Елены Богатыренко [11]

Статьи, эссе

Андерсон Роберт — *Шерлок Холмс: детектив с точки зрения Скотленд-Ярда.* Перевод с английского Степана Поберовского [1]

Борисенко Александра — *Не только Холмс* [1]

Вацулик Людвик — *Эссе.* Переводы с чешского Нины Фальковской, Юзефа Преснякова. Вступление Сергея Скорвида [9]

Годбу Жак — *Как возникла квебекская литература.* Перевод с французского Людмилы Пружанской [11]

Клех Игорь — *Сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое...* [3]

Лури Элисон — *Поттериана, или Горшочек каши.* Перевод с английского Германа Власова [12]

Магрис Клаудио — *Литература и право: противоположные подходы ко злу.* Перевод с итальянского Валерия Любина. Под редакцией Т. Баскаковой [10]

Макридж Питер и Елени Яннакакис — *Греческая литература в эпоху глобализации.* Перевод с английского Игоря Мокина [2]

Мауро Альберто ди — *Обращение к российскому читателю* [10]

Оден Уистен Хью — *"Антоний и Клеопатра".* Перевод с английского Марка Дадяна [8]

Рихлер Мордехай — *Что заставляет меня писать.* Перевод с английского Светланы Силаковой [11]

Томас Роналд Р. — *"Негативные" образы в рассказе "Скандал в Богемии".* Перевод с английского Александры Борисенко

Чейбон Майкл — *"Игра началась!"* Перевод с английского Германа Власова [1]

Чернов Светозар — *Адам Уорт – прототип профессора Мориарти* [1]

Яннакакис Елени — См. Макридж Питер [2]

Мнение политика

Ведрин Юбер при участии Адриена Абекассиса и Мохамеда Буабдаллаха — *Продолжить историю.* Главы из книги. Перевод с французского Елены Клоковой [8]

Круглый стол

Культура и медиа [9]

Путешествуя по Квебеку

Токвиль Алексис де — *Дневник. Письмо к аббату Лезюэру Олбани.* Перевод с французского Веры Мильчиной [11]

Кубертен Пьер де — *Британская Канада и Французская Канада.* Перевод с французского Нины Кулиш [11]

Киплинг Редьярд — *Письма из путешествий.* Фрагменты книги. Перевод с английского и послесловие Светланы Силаковой [11]

Квебек—Россия

Мажор Андре — *Улыбка Чехова.* Фрагменты книг "Улыбка Антона, или Прощание с романом" и "Переменчивое сознание". Перевод с французского и вступление Людмилы Пружанской [11]

Ничего смешного

Гуарески Джованнино Оливьеро — *Рассказы из книги "Дон Камилло".* Перевод с итальянского и вступление Ольги Гуревич [10]

Кук Кеннет — *Страуса любить невозможно.* Рассказ. Перевод с английского Тины Васильевой [6]

Шабуров Александр — *Живее всех живых. Заметки о Шерлоке Холмсе* [1]

Трибуна переводчика

Ковалева Ирина — *Гаспаров в зеркале Сефериса / Сеферис в зеркале Гаспарова: "Три тайные поэмы"* [2]

Лешневская Александра — *Три "Гранде"* [4]

Чандлер Роберт — *"Очуждать или осваивать": по следам переводческого семинара.* Перевод с английского Ю. Клименовой. Под редакцией А. Борисенко [6]

Писатель и общество

Мелихов Александр — *Фабрика фальшивого золота* [12]

Carte blanche

Жолковский Александр — *"Красотка очень молода..."* [6]

Жолковский Александр — *Эссе* [12]

Рансмайр Кристоф — *Признания туриста.* Допрос. Перевод с немецкого Н. Федоровой [4]

Зрительный зал

Катынь в Москве [7]

Любельский Тадеуш — *Смерть отца.* Перевод с польского М. Алексеевой [7]

Пресс-конференция Анджея Вайды в Польском культурном центре [7]

Разговор с Анджеем Вайдой [7]

Старосельская Наталья — *"Мы – не врачи..."* [8]

Письма из-за рубежа

Ливергант Александр — *С кем вы, мастера культуры, или Трудно быть писателем в Квебеке* [11]

Померанцев Игорь — *Моя революционная деятельность в 1968 году. Прага глазами русского поэта из Черновцов* [12]

Стариковский Григорий — *По Ирландии.* Записки путешественника [7]

Культурная инициатива

Мавлевич Наталья — *Начало традиции* [9]

Скороденко В. — *Как пропагандировать духовное достояние* [7]

Анкета "ИЛ"

На вопросы "ИЛ отвечают квебекские писатели. Подготовила Людмила Пружанская [11]

Наши интервью

Наука моды. Беседу с шеф-редактором журнала "Теория моды" Людмилой Алябьевой ведет Светлана Силакова [5]

"Открыть для себя изучаемый мир, добиться взаимного понимания..." Интервью с Татьяной Могилевской, директором межвузовского научно-учебного центра "Москва—Квебек" [11]

"Россия мне нравится потому, что она пугает..." Запись и перевод с итальянского беседы с Паоло Нори Анны Ямпольской [10]

Литературные премии мира

Арькова Яна — *Литературные премии Италии* [10]

Среди книг

Адельгейм И. — *Неизбежность любви* [8]
Айзенберг Михаил — *Философия в легком жанре* [6]
Бродская Е., Нестеров А. — *Творящая Пустота* [3]
Ванханен Наталья — *"Если дали тетрадь в линейку, пиши поперек"* [12]
Венедиктова Татьяна — *"Тому, о ком я сейчас и не думаю..."* [5]
Визель Михаил — *О пользе различений* [4]
Гандлевский С. — *Обратная связь* [3]
Гарт Давид — См. Майков Михаил [12]
Ермонский А. — *Перевод как исповедь* [4]
Зенкин Сергей — *Парадоксы лжеца* [5]
Клименова Юлия — *Рыцари со страхом и упреком* [1]
Костырко Сергей — *Феномен Рышарда Капущинского* [6]
Лапудев Антон — *В начале был Холмс, и Холмс был у Дойла...* [1]
Мавлевич Наталья — *"Откуда-то приходят к нам слова..."* [6]
Майков Михаил, Давид Гарт — *О евреях и не только* [12]
Мельников Николай — *Прогулки с Мартином Эмисом* [7]
Мурашкинцева Елена — *Портрет писателя в юности* [11]
Нестеров А. — См. Бродская Е. [3]
Померанцев Дмитрий — *Фобии, мании и фетиши* [12]
Рапопорт Алекс — *"Избранное" от избранных* [9]
Сонькин Виктор — *Занимательное викторианство* [1]

БиблиофИЛ

У книжной витрины с Михаилом Визелем [6, 8, 9, 10, 12]

Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым [7, 8, 9, 10, 12]

По материлам зарубежной прессы. Подготовили А. Лешневская, И. Мокин [4, 5, 6, 7, 8, 9]

По материлам зарубежной прессы. Подготовили Е. Захарова, И. Мокин, А. Лешневская [12]

По материлам зарубежной прессы. Подготовила Яна Арькова [10]

Библиография

Греческая литература на страницах "ИЛ" [2]

Итальянская литература на страницах "ИЛ", (1994–2007) [10]

Наша почта

Фосфор или фосфо́р [7]

Анкета "ИЛ" [12]

Авторы номера [1—12]

Алфавитный указатель авторов журнала "Иностранная литература за 2008 год [12]

Алфавитный указатель авторов журнала *Иностранная литература* за 2008 год [1—12]

Адельгейм И. [8]
Айзенберг Михаил [6]
Акен Юбер [11]
Алекси Шерман [8]
Аллен Грант [1]
Алябьева Людмила [5]
Анагностакис Манолис [2]
Андерсон Роберт [1]
Ариосто Лудовико [10]
Арькова Яна [10]
Баскакова Татьяна [6, 9]
Башкиров Михаил [11]
Бельфёй Норман де [11]
Бенни Стефано [10]
Биксель Петер [5]
Бонтемпелли Массимо [10]
Борисенко Александра [1]
Борисов Георги [8]
Боровский Тадеуш [9]
Бородицкая Марина [3]
Бошмен Ив [11]
Броджи Даниела [10]
Бродская Е. [3]
Вагенас Насос [2]
Вайда Анджей [7]
Вальтинос Танасис [2]
Ванханен Наталья [12]
Вацулик Людвик [9]
Ведрин Юбер [8]
Венедиктова Татьяна [5]
Вийкмарк Карл-Хеннинг [5]
Визель Михаил [4, 6, 8, 9, 10, 12]
Во Ивлин [5]
Воннегут Курт [7]
Галлант Мейвис [7]
Ганас Михалис [2]
Гандлевский С. [3]
Гарт Давид [12]
Гелескул Анатолий [9]
Годбу Жак [11]
Грасс Гюнтер [3]
Гуаресски Джованнино Оливьеро [10]
Гунциг Томас [4]
Гуревич Ольга [10]
Гусев Ю. [7]
Гуэрра Тонино [10]
Д'Амброзио Чарльз [8]
Демурова Н. [5]
Димула Кики [2]
Дойл Артур Конан [1]
Дорион Элен [11]
Драгоман Дёрдь [7]
Дубшин Даниил [1]
Дюпон Жан-Клод [11]
Дюран Фредерик [11]
Елинек Эльфрида [9]
Ермонский А. [4]
Жолковский Александр [6, 12]
Иоанну Георгос [2]
Заславская Ирина [10]
Захарова Е. [12]
Зенкин Сергей [5, 12]
Зиник Зиновий [7]
Кавальцони Эрманно [10]
Кадарэ Исмаиль [6]
Кальвино Итало [12]
Канетти Элиас [9]

Кент Майкл [8]
Кёниг Ежи [7]
Киплинг Редьярд [11]
Клех Игорь [3]
Клименова Юлия [1]
Кляйн Георг [6]
Ковалева Ирина [2]
Кодер Ивон [11]
Кокис Сержио [11—12]
Корагессан Бойл Т. [8]
Костырко Сергей [6]
Кружков Григорий [5]
Кубертен Пьер де [11]
Кузнецова Ирина [11]
Кук Кеннет [6]
Кумандареас Менис [2]
Лалонд Робер [11]
Ланцетта Пеппе [10]
Лаппо Ирина [6, 7]
Лапудев Антон [1]
Ледюк-Леблан Жереми [11]
Лепаж Робер [11]
Лешневская А. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12]
Ливергант Александр [7, 11]
Лури Элисон [12]
Любельский Тадеуш [7]
Мавлевич Наталья [6, 9]
Магрис Клаудио [10]
Мажор Андре [11]
Майков Михаил [12]
Макбрайд Шон [3—4]
Маккарти Кормак [12]
Макридж Питер [2]
Макьюэн Иэн [7]
Мари Микеле [10]
Мариас Хавьер [6]
Маринетти Филиппо Томмазо [10]
Масловская Дорота [7]
Матт Петер фон [5]
Мауро Альберто ди [10]
Махи Маргарет [5]
Мелихов Александр [12]
Мельников Николай [7]
Мирон Гастон [11]
Михалопулу Аманда [2]
Михеев Алексей [7, 8, 9,10, 12]
Могилевская Татьяна [11]
Мокин И. [4, 5, 6, 7, 8, 9, 12]
Мрожек Славомир [6]
Мурашкинцева Елена [11]
Нанков Никита [7]
Неллиган Эмиль [11]
Нестеров А. [3]
Нива Жорж [12]
Николаи Альдо [10]
Нове Альдо [10]
Ноллас Димитрис [2]
Нори Паоло [10]
Обри Джон [3]
Оден Уистен Хью [8]
Павич Милорад [7]
Павчек Тоне [6]
Палаццески Альдо [10]
Пилон Жан-Ги [11]
Померанцев Дмитрий [3, 12]
Померанцев Игорь [12]
Попов Евгений [8]
Прованше Жан [11]
Пру Моник [11]
Пьерсанти Клаудио [10]
Рансмайр Кристоф [4]
Рапопорт Алекс [9]
Рассо Ричард [8]
Риопель Жан-Эрик [11]
Рихлер Мордехай [11]
Руа Габриэль [11]
Савьяно Роберто [10]
Садецкий Александр [11]
Сарамаго Жозе [3]
Сахтурис Мильтос [2]
Семенова Л. [11]
Серени Клара [10]
Серова Эсмира [4]
Сеферис Георгос [2]

Силакова Светлана [5, 11]
Скорвид Сергей [9]
Скороденко В. [7]
Солонович Евгений [10]
Сонькин Виктор [1]
Спарк Мюриэл [9]
Старикова Надежда [6]
Стариковский Григорий [7]
Старосельская Наталья [8]
Сташауэр Дэниел [1]
Степанцова Екатерина [10]
Стивенс Уоллес [5]
Суриц Е. [9]
Тахцис Костас [2]
Тибодо Серж Патрис [11]
Томас Роналд Р. [1]
Тонделли Пьер Витторио [10]
Тоцци Федериго [10]
Трамбле Мишель [11]
Трюдель Жан-Себастьен [11]
Тюхин В. [6]
Фрешетт Кароль [11]
Фримен Ричард Остин [1]
Хадра Ясмина [8]
Харитонов Евгений В. [7]
Хлебников Б. [3]
Хотинская Нина [4]
Хуаррос Роберто [4]
Чандлер Роберт [6]
Чейбон Майкл [1]
Чернов Светозар [1]
Чони Паола [10]
Шабуров Александр [1]
Шибарова Анна [9]
Шиклер Дэвид [8]
Шишкин Михаил [7]
Щепанский Ян Юзеф [3]
Эггерс Дейв [8]
Элитис Одиссеас [2]
Эстебан Клод [11]
Юдин Борис [5]
Ямпольская Анна [10]
Яннакакис Елени [2]
Яснов Михаил [12]

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО:
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использована картина американского художника Бена Шана [1898–1969] *Красная лестница* [1944].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести: в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4; в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино по адресу: Николоямская ул., д. 1.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12.00 до 17.30.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

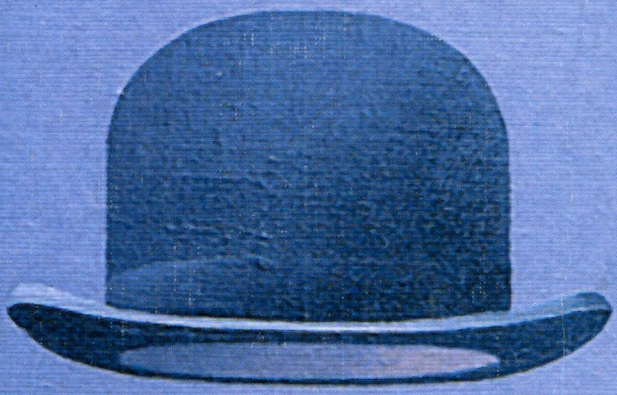
Подписано в печать 15.11.2008
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2452.
Тираж 9 700 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Информационная поддержка

[1] 2009

РОМАН ЭДГАРА ЛОРЕНСА ДОКТОРОУ “МАРШ” / ПЬЕСА ВАЦЛАВА ГАВЕЛА “УХОД” / АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ В РУБРИКЕ “ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА” / ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД: “ПОЛЬСКИЙ РЕПОРТАЖ” / “КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ”: ДЖОН РЁСКИН, ДЖОН АПДАЙК И САША ДАГДЕЙЛ ОБ УИЛЬЯМЕ ТЁРНЕРЕ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала "Иностранная литература" :
г.Москва, ул.Пятницкая, д.41

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2008, №12, 1-288

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 08012
9 770130 654770